Новый Журнал



THE NEW REVIEW

Нью-Йорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1957.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 898 Memorial Dr., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 516 Orange St., New Haven 11, Conn.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semiweekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 4 day of September, 1958. Irving Light, Notary Public, State of New York, No. 31-2362800, Qualified in New York County, Com., Expires March 30, 1959.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

Восемнадцатый год издания

КН. LVI
1959

Редактор М. М. КАРПОВИЧ
Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, March 1959
Quarterly, No. 56,
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price $7. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Алексей Ремизов — Плачужная канава 5
Н. Ильинская — Вовина весна 55

СТИХИ:

Георгий Иванов — Посмертный дневник (136), *Лидия Алексеева* (135), *Ирина Одоевцева* (140), *Виктор Ляпин* (141).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. Александрова — Тургенев в Америке 146
М. Коряков — Афиногенов и Пастернак 159
Ф. Степун — Б. Л. Пастернак 187

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

И. С. Ильин — Революция 207
В. Ледницкий — Вокруг Маклакова 222
И. Цитрон — В. Г. Короленко под судом 251

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Б. Двинов — Ленинский Интернационал 259
Н. С. Тимашев — Реформы в советском уголовном праве .. 278
М. Карпович — Е. Д. Кускова 288

БИБЛИОГРАФИЯ:

Роман Гуль — В. Н. Муромцева-Бунина «Жизнь Бунина». *М. Карпович* — М. Алданов «Самоубийство». *М. Вишняк* — The Waist-High Culture by Thomas Griffith 295

Printed by Rausen Bros., 142 East 32nd Street, New York

ПЛАЧУЖНАЯ КАНАВА*

ПЛЕТЕНИЦА

1. Человеки

Доктор Задорский принадлежал к тому редкому кругу лиц, которые обязаны исключительно своему и дару и воле. Сам своей головой завоевал он положение и славу, какой заслуженно начинал пользоваться. Никакого подлаживания под прихоть пациентов и начальствующих у него не было. И его боялись и ценили.

Детство прошло не здесь, в провинции. Большая семья — жизнь нелегкая. В Петербург приехал уж взрослым. Мечтою его была наука. А пришлось заняться практикой. Несколько лет ушло на незаметную работу незаметного человека. Какой-то удачный случай — так всегда бывает — и пошла молва.

К уловкам он тоже не прибегал.

А есть много всякого, поражающего воображение пациентов, что создает славу.

Не без пользы, например, во время визита рассказать пациенту о своем диагнозе вразрез с мнением признанных авторитетов.

Не мешает завести книжку, в которой расписать визиты наперед недели на две и, конечно, вымышленными пациентами.

А то тряхнуть стариной: в прежнее время жаждущий славы доктор нанимал извозчиков и в часы приема выстраивал около своей квартиры, — пусть всякий видит и чувствует, как ломится народ.

---

* См. кн. 48 и кн. 51 Нов. Журнала.

Copyright 1959, by "New Review". All rights reserved.

Очень помогает жениться на богатой.

Но самую большую услугу могут оказать дамы: сумеешь покорить — займешь прочное место — раздуют как свиной пузырь.

Доктор Задорский был вне всяких обычных домогательств и слава шла к нему за исключительный дар.

Правда, в его практике был какой-то счастливый случай, который переоценили, но без этого не обходится никакая слава.

И стали записываться на прием.

Знаменитостью он еще не считался. Имя его не произносилось в пустые минуты. Про него пока говорили, как о молодом докторе, у которого большое будущее, сурьезном и внимательном.

И обыкновенно, когда к профессорам и утвердившимся знаменитостям не было средств попасть, обращались к Задорскому.

Так пошла к Задорскому Маша.

Маша считала себя совершенно здоровой. И только по настоянию отца пошла она на исследование.

Но что она скажет доктору?

По-настоящему она должна была бы всё выложить ему по всей правде — весь свой несчастный замужний год. Памятливая — ей ничего не стоит восстановить день за днем со всей своей болью и отчаяньем.

*

Маша вышла замуж неожиданно и совсем неудачно.

И за что ей такая судьба выпала издевательская?

Пылинин, муж ее, это полная противоположность: совсем другая душа и другое устремление.

Маша всегда правдивая и ответственная за свое, в нем же одна безответственность и голое бесстыдство.

И насколько Маша решала всё с большим душевным напряжением, его решения, как и поступки, были всегда воздушны: пообещать и не исполнить — ему ничего не стоило;

или сегодня сказать одно, завтра по-другому или подписаться под противоположным одновременно.

Машу всё мучило, и не только настоящее, но и прошлое по ее необыкновенно живой памятливости, для него же всё было и ясно и просто — просто задуматься не о чем — и что бы ни случилось, как с гуся вода — безмятежностью и забвением отличался он удивительными. Его можно было оскорбить с последней беспощадностью, а он только облизнется и больше ничего.

И не от всепрощающего сердца, и не от сердца мудрого, презревшего тщету хвалы и порицания, а от бездушности всего существа и бездумья.

И если у Маши душа, у него — надо сказать: пар.

И вот при всем этом заносчивый выступ — стать неприкосновенная.

Лишенный всякого дара, по своему бездушью и бездумью — воздушности, как моль, он, кажется, всё мог: Пылинин был и литератором — писал рассказы, сочинял стихи и драмы, и в философии, и по всяким религиозным вопросам, везде как свой, и писал он самым пригвожденным истасканным словом и на самые избитейшие темы и, само-собой, общедоступно или, попросту говоря, на дурака. Пылинин был музыкантом — играл на рояли и свои сочинения, конечно и чужие с треском и ужасно упрощая, и уж без всякого слуха заслушаешься.

Пылинин и пел и рисовал: пел всегда под кого-нибудь, а рисовал с той слащавостью, которая прельщает безглазье, ну а на безглазье мир стоит!

Появление Пылинина в обществе всех очаровывало.

И про это он знал.

И уж что любил и чего искал, то, пожалуй, только этого — только легких успехов.

Молиное существо его, уверенное в своем всемогуществе и чарах среди низких душ, рвалось к орлиным полетам. И он ничем не стеснялся, и где можно и где нельзя урывал назоем.

Такие зарождаются чаровые — такая моль в пламенном

плаще, и среди низких душ, бездушья и безглазья могут прослыть даже за гениальных, а уж само собою за приятных собеседников, благо неумолкаемы — многоязычны и ничуть не скучны: чего-нибудь да сотворит! — скучающими или унылыми таких не встретите.

Кипучесть прямо стрекозиная. А находчивость беспримерна.

При всяких обстоятельствах они на своем месте: посади в тюрьму, сладит и в тюрьме, сошли в ссылку и в ссылке обернется, совсем изгони в тартарары и там будет свой, — везде найдется и устроится по своей именно особой и беспримерной воздушности — молиной!

В обществе приятные люди, кажется, и слава Богу, приятные, значит безвредные.

Но это совсем не так, — так только кажется, — пустотой, воздушностью, беспечалием своей жизни и безответственностью дел и слов своих несут большое горе и соблазн.

И скажу вам, в смутные годы — в потрясения общественные рядом со смелостью и безумием безумцев и такие легколетные взлетают на самые верхи, примазываются к власти и, пользуясь всеми житейскими приемами своего бездумья и безответственности, сеют величайшее зло, соблазняя простое доверчивое сердце золотыми посулами — раем земным.

Во рву-то львином, в тощете и отчаянии нашем и вдруг — рай!

Сердце у Маши доверчивое, как и глаза ее.

А ему до нее, до ее тяжелой души и доверчивости, никакого дела. Она ему просто понравилась. А понравилась, почему не жениться?

Так мог бы он жениться на сотне, на тысяче. Понравилась и готово.

Но Маше, — чем он мог ей показаться?

А у таких, знаете, есть свое очарование: ведь моль в пламенном плаще!

И еще бескорыстность, нестяжательность, и никакой намеренности, а всё так — ведь с этим легко жить и беззаботно.

И еще уменье лгать и убеждать в своей лжи.

Маша поверила и вышла замуж.

И с первых же дней обнаружилось —

И эта легкость, какой наполнено было всё его существо, камнем легла на ее душу.

Само собой он нисколько не подумал разорвать свои прежние связи. Что ж тут такого? И чему мешает? — о ней ведь он совсем не подумал.

А когда это обнаружилось, а произошло это на третий день свадьбы, ее это просто убило.

А на все упреки он отвечал так легко, как всегда и на всё, словно ничего особенного не было.

Ну, что ж тут такого? Ну, а если он виноват, — только он совсем ненамеренно, — он винится.

И разжалобил.

Маша простила.

Забыть она никогда не забудет, и примириться не может, а так на время — до первой памяти.

Временно вина его пропала, но не исчезла.

Тут он ей всяких клятв — для него, как и всё, ничего не стоило! — и еще больше сгладил.

А всё-таки наскочил, — это-то он понял, — совсем не ожидал, что Маша так примет: надо быть осторожнее!

И принялся за старое, только с хитрецой и обходом.

Жизнь у них шла бесшабашная.

Дом их — постоялый двор.

И никому невдомек: казалось, и лад, и полная чаша.

И немудрено: самый бессовестный поступок свой он так умел скрасить, не задумаешься, и всякую фальшь выдаст за чистую монету.

И почему Маша тогда еще, в первые дни медового месяца, не уехала от него, ведь он был весь, как на ладони!

Или, видно, захочет Бог отнять разум у человека и отнимет.

Или судьба?

И за что ей такая судьба выпала издевательская?

И с год протянула она постоялую жизнь.

Только случай решил.

Однажды он заявил Маше и с той же легкостью своей и беспечностью, с какой всё делал, что он болен.

Когда всё сообразила, в душе ее не осталось и тени чувства, одна гадливость.

И она уехала к отцу.

И уж тут, живя с отцом и, проклиная свой год замужний, она впервые почувствовала, что с сердцем у нее что-то делается: она его чувствовала.

И в такие минуты тоска находила темная — места не найти.

*

Маша пересмотрела всё, что было в приемной.

Приемная, как у всех, показная — «для всех»: мебель под красное дерево и картины в золотых рамах — лес и охота, как полагается. А на столе журналы с картинками.

Перелистав какой-то сатирикон, села в уголок.

«Как на исповеди, — подумала, — всё надо сказать без утайки»!

Про отца ей нечего рассказывать, худого она ничего не видела, напротив: он только и жил для нее. Разные они: она сама по себе, он сам по себе. В нем много покорности и уступчивости, а в ней та гордость, в которой он мало что понимал и часто осуждал. А гордость ее заключалась в том, что она любила, чему верила, и эту веру свою так не могла дать на растоптание, ни за что, — любовь ее в своем высшем, в вере своей, и делала ее гордой и крепкой.

Робость и покорность отцовская ее не заразили. Всегда смелая. А смелых опасность не загоняет, а тянет. И это только теперь она как-то оробела вдруг.

Или после западни замужней?

Когда она училась, она мечтала о какой-то большой жизни и светлой. Она готова была всем верить. И дурного от людей ничего не ждала, напротив.

А вот жизнь ее и хряснула.

Она никогда не представляла себе, чтобы жизнь была так зла, именно зла, злорадна.

Или судьба ее такая издевательская?

Сколько вероломства, предательства, а все эти уколы и царапины от мелких слабостей и грешков человеческих — неверное, легкоданное слово, зря данное обещание!

Но что ее больше всего поразило, когда попала она в черный круговорот, это б е з д у м ь е — такое ужасное свойство человеческое, которое гибельнее всякого порока.

Можно бороться и карать вероломство, можно клеймить всякую подлость человеческую, но с бездумьем, что вы поделаете? Самое на вид безобидное, а внутренне страшнее всякого страха, потому что безобидно, скрытно и неуловимо.

«А я этого и не знал!»

«А я и не подумал!»

«Вот не думал, что так выйдет!»

Негодяй, да ты думай наперед, а потом делай, а не наоборот, нагадишь, а когда потычут, и схватишься!

Маша всё это испытала на себе, и ни одно разочарование так больно не ударило ее, как этот бездумный удар.

Любовь пришла к ней по тайным путям — такая уж судьба! — и повела ее не для того, чтобы открыть ей светлую сторону, а одну беду жизни, проклятие жизни и пропад.

И во всем винила она обольстившее ее бездумье.

И об этом она должна сказать доктору?

Да, да, да, она всё скажет.

Да еще вот что она вынесла из этого своего года — не на кого ей положиться!

И вся ее жизнь сгублена.

И утешенья нет нигде.

Говорят, что и другим плохо, да еще и как плохо! Но чужая беда — не утеха.

Ее беда заполнила всё существо ее с краями.

И утешенья нет нигде.

И об этом она должна сказать доктору?

Да, да, да, всё скажет.

Очередь дошла, наконец, до Маши.

Она поднялась и вся загорелась — ну никак не поверишь, что больная.

«Господи помоги!» — мысленно перекрестилась Маша и переступила порог.

*

Доктор встретил обычными вопросами.

Маша слышала его голос, но лица не замечала.

И одно она почувствовала, что отец был прав, посылая ее к доктору, — по голосу поняла она, что может ему всё рассказать.

И ничего не сказала.

И ничего не сказала о своем горьком горе, а стала с подробностями рассказывать о сердце, как сердце у нее — то вдруг замрет, а потом, как птичка.

Маша думала, что болезнь ее исключительная и редко у кого есть.

И вдруг заметила, что доктор, всё время записывавший в книгу, и перестал писать. И что-то нетерпеливое почудилось ей. И она заторопилась кончить свои подробные описания.

Доктор попросил раздеться.

— Надо выслушать.

Маша сняла кофточку.

— Вы замужем?

— Да.

Маша страшно смутилась: ведь, должно быть, сейчас и надо начать исповедь о горьком годе и бездумье.

— А дети у вас есть?

— Нет.

— Почему же у вас нет детей?

— Так.

Доктор пристально посмотрел. И она увидела глаза —

И загорелась вся.

«Неужто всё рассказывать и зачем это он спрашивает?» — подумала она уж с досадой.

А он наклонился к ней совсем близко и она почувствовала крепкий запах табаку и светящиеся глаза.

И после постукивания, когда она одевалась, она всё еще чувствовала и этот крепкий запах и глаза — —

«Ничего слащавого, — вдруг подумала она, — самое противное слащавость»!

Но почему это она подумала?

А в ответ ей только сердце тихонько забилось, не больно.

Доктор написал рецепт и был строгий, даже суровый, а из-под опущенных век светилось — —

2. Чародей

Баланцев большой выдумщик на всякие затеи.

Тусклая одинокая жизнь приятеля его Антона Петровича Будылина только и красилась выдумками Баланцева, а то лишенная всяких происшествий так и захрясла бы на единственном событии: жил-был великий мыслитель и философствовал с брандмауером!

В Казанском соборе, где Антон Петрович был так уверен, что встретит Машу, Маши не оказалось, а был один Баланцев.

Баланцев, видя разочарование приятеля, постарался уверить его, что Маша еще подойдет, а скорее всего пришла уж и стоит где за колоннами невиданно для них.

И Антон Петрович успокоился.

А когда певчие — одни дети — запели «Верую», даже растрогался.

Внешнюю красоту церковного богослужения Антон всегда любил и недаром в московские шалопайные свои годы обегал все сорок сороков московских, не пропуская храмовых праздников с протодиаконом, жандармами и карманниками.

— Вы обратите внимание на часы: сейчас бить будут, удивительно! — Баланцев шептал приятелю, нагревая растроганное Будылинское сердце.

Антон Петрович не раз слушал и не без удовольствия как звонили часы в Notre Dame в Париже, и в старых нюрнбергских соборах, — часы он любил и теперь насторожился.

И как это раньше-то не заметил, что в Казанском соборе тоже есть часы и бьют. И даже не думал никогда, что висят часы в соборе и не простые?

Серебряный звон пролился по собору, собирая колонны, образа и детское «Верую» вместе в одно струящееся серебро — в е р у ю.

— Марья Александровна не пришла — грустно сказал Будылин — чудесные часы! А, может, стоит где невидимо?

— Нет, поздновато, Антон Петрович. А какая чудная у нее душа. И какая тяжелая история в ее жизни. За что такое валится на человека? А как это всё выносит человек?

— Она тоскует?

— Не в этом дело: сердце у нее что-то. Александр Николаевич очень беспокоится. Есть один удивительный доктор, все о нем говорят.

— Какой доктор?

— Задорский доктор, молодой еще. Очень хвалят. Может, и поможет.

Антону Петровичу вдруг стало неприятно: какой-то доктор может что-то исправить, а вот он и при всех его знаниях — ничего, да еще чего доброго, Маша влюбится в доктора?

К кресту не пошли прикладываться: и за теснотою да и не любил Будылин.

— Ослюнявят, а ты изволь прикладываться.

Так и пошли к выходу, расправляясь и подталкивая. Баланцев вызвался проводить.

*

Дорогой разговорились и само собой о Маше.

Кроме Антона Петровича, допускавшего разговоры с Баланцевым, — правда, Баланцеву, слушавшему Будылинские рассуждения о той обойденности и о злом проклятом круге, нельзя было и слова вставить, — был еще Тимофеев, бухгалтер — и это единственный дом, где Баланцев и сам мог о своем высказывать, и куда заходил он по субботам вечером

чай пить: Маша была его слабостью и пристрастием и ни с кем он не мог ее сравнить.

— Много о вас говорили, — начал Баланцев.

Будылин от удовольствия сопел.

— Она считает вас самым умным человеком, ни на кого не похожим и очень странным.

— Ничего не понимаю, — дико отозвался Антон Петрович, очень довольный.

— Да нечего и понимать! Вы ее очаровали. И знаете, доктор доктором, а такая веселая сделалась.

Распустив лопухом уши, Будылин остановился и тупо уставился в витрину корсетной мастерской.

— Какой вы счастливый. Антон Петрович.

Остановился и Баланцев.

— Я не признаю никакого счастья. И не может быть на земле никакого счастья! — Антон Петрович зверски скривился, и в то же время довольная улыбка горела на его лице.

— Признавать не признавайте — это дело философии, а сразу бы лет на тридцать помолодели. Давайте-ка сейчас в Пассаж к Орлову!

Будылин испугался:

— Неудобно. На смех подымут.

— Кто подымет? Да и стоит ли обращать внимание. Ну, сначала поговорят, посмеются, а потом и привыкнут. Сами знаете, человек ко всему привыкает. А ей Богу, лет на тридцать станете моложе.

— Только не сразу, — замахал Будылин, — ради Бога не сразу. Я подумаю.

И оторвался от корсетной витрины.

И уже пошел с одной думой о усах бритых.

Оторвался от витрины и Баланцев.

Шли по Невскому молча.

Баланцев, не обращая внимания на спутника, бормотал себе под нос и чего-то смеялся: должно быть, затея смехотворная была у него в голове и вот уж он ее видел осуществленной и смеялся.

Антон Петрович, остервенело хватаясь за колючие ничшеанские усы, смотрел куда попало.

— Почему вы убеждены, что Мария Александровна в меня влюбилась?

Будылин вдруг схватил за руку Баланцева и лицо его сделалось и зверским и жалким непомерно:

— Мучитель!

Или догадывался он, что это только одна из затей приятеля, для развлечения и затеянная? А в то же время отказаться от мысли, что и на самом деле Маша в него влюблена, он не имел силы: ведь, это было теперь его заветной мечтой и делом — любовь Маши.

Баланцев даже растерялся: ведь, он ничего подобного и не говорил, он только еще собирался сказать, чтобы развлечь приятеля, почерневшего от черноты своих глаз, и сказал бы, но не такими словами.

Баланцеву стало очень жаль Будылина.

— Она считает вас самым умным человеком и самым знающим. Вы должны, по ее мнению, всё понимать. Вы очаровали ее своим разговором.

Будылин выпустил Баланцевский рукав.

«Так это правда: он покорил Машу!»

И от счастья, не имея больше сил сдерживать своего чувства, Будылин — счастливец! — всхлипнул:

— И знаете, Антон Петрович, я вчера был у них, она только что вернулась от доктора. И когда я заговорил о вас, глаза у нее так и горели и она улыбалась, — поддал пару Баланцев, — чудесное превращение, не узнать! Только одна любовь так красит человека. И старик оживился и его не узнаешь.

Баланцев продолжал расхваливать Машу, вливая похвалой отраву в Будылинское взмученное сердце.

Так совсем незаметно очутились они на Суворовском проспекте.

*

От неровной походки, а главное от непривычки, шнурки у ботинок развязались — Будылин и почувствовал это и заметил, но поправляться на улице не решился.

И шел, шмыгая, чтобы как не запутаться и не оборвать.

И вдруг перед его глазами стал медвежонок: медвежонок хапал пастью и махал глазами.

Путаясь в шнурках, бросился Антон Петрович на ту сторону.

Сердце его так билось, точно кто нарочно напугал его из-за угла, и он долго не мог отдышаться.

Баланцев, ничего не понимая, тоже поспешил и стал было прощаться.

Но, где там! Антон Петрович ни за что не хотел отпустить: и праздник и торопиться некуда, а главное —

— Одному в праздник особенно скучно.

*

В комнатах на Таврической, куда благополучно добрались приятели, разговор продолжался о Маше.

Размечтавшийся Баланцев горы городил, отравляя взмученное сердце.

Овсевна старуха на свой страх стряпала, Бог знает что.

Отравленный Баланцевской мечтой, размечтался и сам Антон Петрович.

В комнатах ему было свободно и душа его, не разрываемая хлывом уличных вещей, могла свободно сновать свои мечты.

А размечтался Будылин о женитьбе, как он женится на Маше —

— Но как же всё это произойдет?

Ведь, он же не умеет и самых обыкновенных вещей делать: он как следует, по человечески не может ни умыться, ни высморкаться, и ест, чорт знает как, и притом же м е т е о р и з м, а лицо —

— У меня лицо флуоресцирует. Как сахарная голова или керосин. Голубчик, Алексей Иванович, научите!

Антон Петрович хныкал охваченный нетерпением.

— На счет лица не ручаюсь. От метеоризма верное средство касторка. А в остальном научу. Слушайтесь и подражайте. Согласны?

— Согласен. И на счет лица —

*

Баланцев все показывал на себе: слушайтесь и подражайте!

Ходили в ванную комнату и там плескались.

Не раз Баланцев заставлял повторять умывальные свои приемы, но толку не было — Будылин по прежнему перетирал пальцы.

Потом, желая научить сморкаться, Баланцев запрокидывал голову и смотрел в потолок —

Антон же Петрович, взгромоздившись на табуретку, перебирал на верхней полке самые пыльные книги, чтобы пылью вызвать чёх.

И оба чихали.

— Вот так! зажмите нос платком — учил Баланцев, — та-ак!

А толку никакого не выходило: платок был сам по себе, а нос сам по себе.

Оставалась еда: надо было показать, как есть без чавка и всхлипа.

Но эта съестная наука отложена была до обеда.

Что же касается лица, — без пудры ничего не поделаешь.

— Надо прежде всего обзавестись тальком и одеколоном! А ни талька, ни одеколону у Будылина не водилось.

— И поверьте, Антон Петрович, женские руки и любящий глаз все исправят и всему научат! — утешал Баланцев бестолкового и безнадежного приятеля.

*

После обеда, который долго тянулся и по беспричинному позабытию Овсевны, — старуха ничего не соображала! — и

за трудной съестной наукой, после всех проб и примеров, сели пить чай.

Время философствовать —

Но какая же тут философия, когда решалась судьба.

И притом Баланцев...

Антон Петрович украдкой кивнул брандмауеру: «Не могу, мол, на людях, извини!»

Чем же занять время?

Как чем? День особенный, надо было подумать о вечерних развлечениях.

— Такого дня больше никогда не задастся! — так и сказал Антон Петрович, чувствуя, что вступает в новую полосу жизни, — а может, на немножечко прикурнуть?

— Я решительно против, — оборвал Баланцев, — а женитесь, с этим придется расстаться навсегда.

— И когда-то еще!

Антон Петрович, довольный, отхлебывал чай.

Баланцев, в глазах которого играли самые невозможные затеи, не спускал глаз с приятеля.

— Антон Петрович, что я подумал? Знаете что? Вам следует для большей начальственности переименоваться.

— Как переименоваться?

— Ну переделайте себя, по крайней мере из Антона в Антония.

— Что-то монашеское. Я не хочу.

— Да кто же говорит про монашеское, — наоборот. А то что такое Антон? Антон Горемыка, Антон Рубинштейн, Антон Чехов, — то ли дело Антоний, — Антоний Будылин.

— Если для нее так приятней, я согласен. Да, я согласен — и подумал: «Antonio Deo Sancto, памятник на Сытном рынке, гранит!» — а фамилию-то как же? Я готов, если нужно, и фамилию. Фамилия у меня не особенная: дед был Бадулин, отец переменил в Будылина, и, может, мне переделаться?

— В Быкова, — перебил Баланцев, — Антоний Быков, чудесно!

Будылин сразу не мог сообразить, хорошо это Быков или насмешка.

— Быков! Конечно, Быков! Подать на Высочайшее и утвердят. Антоний Петрович Быков!

Баланцев, и сам не зная чему, радовался.

— Ладно, — поддался Антон Петрович, — всякая перемена, как новое рождение. Я вновь войду в мир, любопытно! Плохо вот только: на Высочайшее подать — Антоний Быков — огласка, напечатают в газетах.

— Не напечатают, зачем?

Подходил вечер.

Как же им провести вечер?

Итти на Офицерскую в Луна-парк?

Будылин был как-то и даже с американских гор катался и больше не согласен.

— Идиоты выдумали для идиотов, нет, не согласен.

— А не пройти ли к Тимофееву?

Так сразу? — страшно.

— Я танцевать не умею, — почему-то сказал Антон Петрович, или от страха? — когда-то польку еще танцевал и то в одну сторону. Вот и плавать тоже умел.

— Танцевать научиться очень просто, а плавать только решиться надо и больше ничего.

— А может на велосипеде лучше?

Баланцев предложил итти на скэтинг. Будылин опять не соглашался.

— Я на настоящих коньках пробовал и то ткнулся.

— Да тут же на колесиках, Антон Петрович.

Нет и это не выйдет.

— Болван на колесиках!

Болван не болван, а надо же как-нибудь провести вечер! И до чего это было пусто, хоть шаром покати.

— В пивную? — как последнее предложил Баланцев.

— Я придумал, давайте рисовать — ошарашил Антон Петрович.

И это рисование было так неожиданно, что Баланцев покорно сел.

Антон Петрович вынул бумаги, карандашей.

— Ну давайте!

И подмигнув выразительно, что рисовать, уселся за работу.

*

Антон Петрович никак не умел, а Баланцев рисовал, как дети.

Немилосердно муслили карандаш и, помогая и шеей и плечом, старательно выводили что-то — одно и то же во всевозможных видах.

И вдруг у Будылина, как ему самому показалось, начинало выходить похоже и, любуясь произведением своим, он впал в умиление.

Сердце его играло.

Сердце, что табакерка, заведи только, и пойдет играть, — пока завод не кончится.

Баланцев тоже увлекся.

Правда, выходило у него уж очень фантастическое и совсем ни на что не похожее. И вот для вразумления и стал он под рисунками подписи подписывать.

И пропал.

Будылин, подсмотрев, пришел в неистовство.

— Не понимаете, что делаете, — горячился Антон Петрович, — так по свински заляпать!

— Да я же ничего не ляпал, я только подписал, — оправдывался Баланцев, громко произнося при этом имя единственной вещи, и искренне не понимая, в чем его обвиняют.

— Ну разве так можно! — Антон Петрович передразнил Баланцева, назвав грубо грубым названием единственный предмет, бесчисленно изображенный на бумаге, — нет, надо произносить это так —

И голос Будылина сделался нежен, ну прямо лисий, не поверишь.

Баланцев повторил, подражая.

И вышло совсем скверно, как-то насмешливо скверно.

Антон Петрович бросил карандаш.

И уж весь распал его излился на исконных врагах.

Забыл Будылин о Баланцеве и о всем умилении своем перед собственным похожим рисунком.

Возмутила грубость, которая послышалась Будылину в Баланцевских подписях, и главное, в самом произношении, как он выговорил, и конечно, русская грубость, потому что Баланцев из русских русский.

И вот поднялась вся Россия, от которой отрекался Антон Петрович в ожесточенной философии своей пред брандмауером в чайном благодушии.

И в который раз вспоминались Красные ворота, фабричный белый крест, проведенный мелом по спине, без всяких слов.

— Всё оплевано, омелено и сапожищем растерто, горячился Антон Петрович, подмигивая кому-то, брандмауеру? нет, спиной он стоял к окну, — а по сапогу изматернино! Обойдите весь свет и нигде не найдете такой подлости, укорененных в самых недрах народной жизни и освященной стариной и преданием. Россия! — бахвальство, «наплевать» и «обозналася» и «здорово живешь»! Ведь только мы, одни мы, только русские, искони всякого закидывали шапками, а потом вот где трещало. «Наплевать!» — и опять за старое до новой затрещины. Свистнет тебя по морде, а сам: «фу, чорт, обознался!» Или кулаком тебя со всей мочи. За что? спросишь. А рожа так и сияет: «Здорово живешь!» Ни за что, значит! Вот она Россия — русская правда.

— Вы, Антон Петрович, как некий философ Секунд рассуждаете!

Баланцев попробовал сшутить и успокоить приятеля.

Но Антон Петрович, как от мухи отмахнулся: философский стих нашел на него, а точкой, упором его глазу вместо брандмауера был испещренный лист с Баланцевскими фантастическими рисунками единственной вещи и дикими подписями.

— У русского народа за душой нет ничего. Самодержавие, православие, народность! — и Антон Петрович только свистнул — и ваш хваленый чудодейственный социализм, — и он опять свистнул.

И вдруг зевнул во весь рот.

— Всё равно — наплевать!

И это означало: засесть бы ему за книгу, окрылить мысль, набрать слов.

— А я всё-таки думаю заглянуть к Тимофееву, — поднялся Баланцев.

Будылин виновато заморгал: уж не сказал ли он чего?

— Мне, как мыслителю, Алексей Иванович, от обиды, я ничего не имею.

*

Как только скрылся за дверью Баланцев, Антон Петрович прилег на диван.

— Прикурнуть бы на немножечко!

И совсем неожиданно для себя крепко заснул.

И приснилось ему — идет он с Машей по лесу, грибы собирать свинушки. Нагнулся он за грибом, а Маша цветы рвет и всё дальше и дальше от него.

— Маша, Маша!

А она уж не слышит.

Он бегом, нагнал ее на болоте.

А из болота девка. Высунулась по пояс из болота черная, ребрастая да Машу к себе и тянет — толкнул он девку, освободил Машу, да скорей с ней на берег. Высоко забрались — не достать никак. А та черная ребрастая не пронялась да и ну швырять камни — полетели камни, да всё мимо, всё мимо. Он ей в отдачу и тоже мимо — не попадает. И устал, присел на бережку, и девка угомонилась. А тишина такая, всё зелено, чуть ветерок и дремно. И вдруг черные длинные пальцы — черные длинные протянулись из болота да как в ногу ткнут булавкой.

Будылин вскочил с дивана.

И так горячо представилась ему Маша, так мысленно увидел он ее близко.

«Неужто это правда? Правду сказал Баланцев? Сбрить усы! Ну а привычки и неумение? Любовь научит? А фамилия? Все старое на смарку?»

Антон Петрович велел Овсевне самовар ставить, а сам присел к окну коротать часы до чаю.

*

Белая ночь зеленоглазая, болея, холодела над опустелым Петербургом.

Все разъехались: кто на дачу, кто заграницу, и остались подневольные, связанные делом, да ожидающие отпусков.

Под музыку, от которой выло на сердце, развлекались, прожигая ночные часы.

И то, что в прошлом году прошло в Берлине по части развлечений, повторялось, как новинка, в Петербурге, — поплоше и победнее берлинского, конечно.

Вы заглядывали в Луна-Парк? Помните все эти идиотские хождения по искривленным поверхностям, помните танцы диких? — Всё это прошлогоднее.

На окраинах в рабочих кварталах еще не оторвавшимся от земли заводским и фабричным, а таких едва ли не весь Петербург, грезилась родная деревня: луга, поля, лес.

И тоска была по траве.

А дальше по деревням там — на полях одна мысль о погоде.

А там опять под Берлин — провинциальные театры — но еще плоше, и ску-у-чища.

А там — Россия — дремучая, ковылевая, и темная, как гроза, как пожар.

В свете белой ночи и белых приторных электрических шаров, спускались над Петербургом, над торчащими красными трубами, как бледные северные звезды, белоночные крылатые небесные вестники: одни шли по душу, другие с душой, третьи — утешители.

И демоны из воздушных жилищ с севера, с юга, с востока и запада проникали в жилища лукавой мыслью, соблазном и завистью: темным спутником, черной встречью шныряли демоны по трактам, проспектам и людным улицам.

Антон Петрович высунулся из окна и смотрел вниз.

И всё дышало в нем величием и гордостью, как в Медном Всаднике над полноводной Невой, и вместе что-то от химеры было в лице его, безобразнейшей химеры, рассматривающей с колокольни Собора гудущий вечерний Париж.

Какой-то пробиравшийся по двору, может, и вор, заглянув на верх к Будылину, вдруг присел на корточки —

А может, только померещилось Будылину и никакого вора не было, или просто кто по нужде зашел во двор.

Душу томило, хотелось какой-то воли — так и разорвал бы зеленоватую ткань болеющей белой ночи!

Будылин плюнул вниз.

Овсевна подала самовар.

Крепким чаем ударило в голову.

Антон Петрович основательно засел за самовар.

И уж никого не проклинал он и никому не грозил, благодушие нашло на него, словно бы плевком своим прорвав зеленоватую ткань болеющей белой ночи, выскочил он на вольную волю.

Весь мир благословил —

И чувству его стало тесно.

И вот, никогда не певший, безгласный, запел он Лермонтовскую песню, благословляя демонский мир — выхожу один я на дорогу: сквозь туман кремнистый путь блестит —

Белая ночь сливаясь алыми зорями, переходила в утро.

Серые облака бежали — белые торопились, чтобы к восходу завладеть небом — закрыть живые небеса мертвой ватой.

*

В первый раз, когда Маша рассказала отцу о Задорском, Александр Николаевич очень обрадовался — ведь, он так бес-

покоился! — но после первых же слов ее вдруг наступила молчаливая минута.

Есть люди, которым дано чуять, слышать и отмечать тайный голос молчания, и такой человек, по дару своему, может войти в судьбу и не то что повернуть, — повернуть судьбы никто не властен! — но от многого предостеречь и оградить человека.

Но я знаю, есть всегда недоверие к себе и это недоверие — сомнение и заглушает твой самый глубочайший голос, а за недоверием и сомнением всякий наплыв мелочей, который и загромождает и рассеивает, так всё и теряется.

Тимофеев не позабыл о этой минуте, только тайный голос у него не сказался словом и всё на время как бы сравнялось.

И другие рассказы Маши о следующих свиданиях с доктором ничего уж тревожного не вызывали.

Александр Николаевич только радовался: нашелся-таки человек, который вернет Маше и смех ее и веселость ее прежнюю, и будет опять хорошо у них в доме.

О Задорском у них в доме говорилось много.

Маша была очарована: уверенность и крепость покорили ее.

И когда, однажды, вечером в субботу доктор Задорский появился у Тимофеевых — его пригласила Маша — Александр Николаевич и сам убедился в живости и уме его. И эта живость и ум покорили.

Правда, в этот первый вечер что-то и не понравилось в госте: то ли самоуверенность, или еще что, чего сразу так и не скажешь.

Александр Николаевич запомнил, как вошел доктор — так уверенно и так твердо! И как он сам растерялся вдруг перед этой уверенностью и что-то неловко ему сделалось.

«Лучше бы никогда не приходил!» — мелькнуло тогда.

Но скоро все сгладилось.

В гостях был еще Баланцев.

И за чаем разговор завязался общий на злободневное и по медицине.

Больше всех говорил Задорский, а ему было что порассказать.

После чая перед вторым самоваром Александр Николаевич вышел с Баланцевым к себе в комнату.

Маша осталась в столовой с гостем.

И за вторым самоваром сидели долго.

И опять больше всех говорил доктор: начитанный, да и много чего видел, да и круг знакомых самый разнообразный.

Поздно разошлись в этот первый вечер.

*

Маша была необыкновенно оживлена.

А ведь это только и радовало отца.

О том, как при первом взгляде на гостя он растерялся, об этой роби своей даже не намекнул он Маше, а вместе с Машей хвалил Задорского и за ум и за его внешность.

— Из него выйдет большая знаменитость. И знаешь, Маша, во лбу его есть что-то роковое. Он мне напомнил давнишнего приятеля моего, революционера, а тот подлинно уж роковой человек. И так же ступает крепко.

И хотел представить Маше.

Но ничего не вышло, да и немыслимо было: походка Тимофеева, оробелого человека, мелкая, шмыгающая никак не передавала ни крепости, ни уверенности.

Увлеченный воспоминанием о приятеле — роковом человеке, стал он рассказывать всякие подробности о его приключениях.

Маша сначала слушала внимательно.

И вдруг показалось Александру Николаевичу, не слушает она его, а чего-то крепко задумалась.

«И не мудрено, — так объяснил он себе, — поздно, спать пора!»

*

На следующий день разговор только и был, что о Задорском.

Но особенно ничего не было сказано, чтобы запало в душу, что потом бы вспомнилось.

Одно можно было сказать: Задорский вошел в их жизнь.

Кроме Баланцева, не пропускавшего ни одной субботы, скоро Задорский стал самым частым и первым гостем у Тимофеевых.

Александру Николаевичу смутно стала приходить мысль, только очень еще смутно, беспокойная и навязчивая, для которой еще не нашлось у него слова, когда он заметил необыкновенное волнение Маши всякий раз перед приходом доктора.

Ожидания ее стали прямо ужасны: она не находила себе места от нетерпения.

А Задорский всегда опаздывал: назначенный час проходил. И просто страшно становилось за нее: сердце не выдержит.

—А вдруг, да не придет?

Но об этом даже и подумать страшно было.

И раз случилось: ждали и все сроки прошли и не дождались.

Какая это была ночь — во всю ночь не заснула Маша.

Но за то какая радость вспыхивала на лице ее и как загорались глаза, когда после всех ожиданий и тревог наконец-то появлялся Задорский.

И такой же радостью она горела вся, пока он был у них.

А уходил он обыкновенно после долгого разговора в прихожей.

И однажды проводы так затянулись, а всё казалось, чего-то еще не договорено, — любовь ведь, как бездонный колодец, не исчерпаешь! — Маша пошла провожать на лестницу и до самой двери — «до ворот» — провожала.

Глядя на ее оживленность, видя радость ее, горящую в лице и глазах, во всех движениях ее, Александр Николаевич и сам смеялся, как смеялись Маша и Задорский, и в проводах, которые стали называться ритуалом, в бесконечном ритуале сам принимал участие, нарочно для Маши задерживая всякими пустяками уже одетого гостя.

И эта радость ее заглушала всякое беспокойство.

*

Задорский понемногу вошел в их жизнь, и уж казалось, век были знакомы.

Все заветные и просто дорогие воспоминания были не раз пересказаны доктору, да и он рассказал о себе, о детстве, об ученье, и какие были удачи в жизни и неудачи.

Маша наряжалась в самые лучшие свои кофточки, подбирая что ей больше шло.

Да ей все шло — ведь молодость и любовь озолотят и самые жалкие лохмотья!

И стол приберёт, всё сама, — а раньше-то, бывало, и не посмотрит! — и всегда чего-нибудь к чаю достанет особенного, сластей каких-нибудь, очень вкусных.

Задорский от всего откажется: совсем он ничего не ел такого.

Но всё это для него, весь стол — ведь щедрее любви ничего нет!

И, бывало, узнает Маша чего-нибудь очень интересное и, видно, как бережет, таит, чтобы ему первому рассказать.

Любовь! Красна ты, и светла, — красна, весь мир красишь!

И что́ бы ни случилось, что́ бы ни встретилось, для того кто любит, нет безразличного — всё для него и везде он.

Не узнать Маши, точно преобразилась.

И вся ее беда канула: не вспоминала она больше свой проклятый замужний год, — был он или не было?

Любовь! Красна ты и светла, светла — зачаруешь, осветишь! И нет ни уголка пустого — и всё для него и везде он.

*

Повелось так, что когда приезжал Задорский, Александр Николаевич только выходил к чаю — посидит немножко и опять пойдет к себе.

А Маша с гостем.

И весь вечер вместе.

Задорский избегал суббот, когда обязательно являлся Баланцев. И Маша не любила, когда кто-нибудь приходил — был третьим.

А когда никто не мешал, и она с ним, какая радость горела на ее лице — горела в глазах.

И глаза ее светились.

Войдет Александр Николаевич, и ему станет весело.

И всё беспокойство тогда забывается: ведь с каждым разом ожидания Задорского становились напряженнее.

Занятый с утра до вечера Задорский часто никак не мог бывать у Тимофеевых.

А Маша больше не могла не видеть его.

И когда он не мог приехать к ним, он приглашал Машу к себе на прием.

И обыкновенно до позднего часа засиживалась у него Маша.

И всегда Александр Николаевич дожидался ее, и без нее никогда не садился за самовар.

*

Время было возвращаться, а Маши всё нет и нет. Тимофеев и чаю попил один, а всё нет.

Белая ночь — что-то больное, горькое и бесповоротное белело сквозь ее зелень.

Прибрал он у себя на столе, присел так к столу, закурил — Тишина кругом, поздний час — белый сквозь зелень рассвет.

И только голуби под крышей, только голуби — и чего-то жутко показалось ему — горкотня голубиная.

И вдруг он понял и не то, что полюбила Маша, про это он давно знает, нет, другое, что наступало с рассветом, — вышло, идет, входит в жизнь их, как судьба, упорно и бесповоротно.

И ему вспомнился тот первый вечер, когда Задорский в первый раз пришел к ним, нет, еще раньше, тот первый вечер, когда Маша вернулась с приема и рассказывала о докторе, —

замолчали они чего-то, вот тогда и сказалось это бесповоротно, как судьба.

И грусть сжала его сердце.

Горько голуби горковали —

А оно наступило, шло, и шаги были, как горкотня голубиная, всю душу горькой тоской тянуло.

Места не находил он. Обошел комнаты, — всё поправил.

И в первый раз, не дождавшись, лег.

Тишина была и только голуби — горько голуби —

Только это, только это бесповоротное, как судьба.

Тяжело наваливалась, всё собой закрывая, и проворными пальцами, железными коготками заколачивало стены, потолок, дверь, окно.

И он только дышал, как под тяжкой тяжестью, в дреме.

*

И вдруг очнулся: Маша плачет.

Не поверил: Маша плачет? И не поднялся, а всегда бы поднялся!

И опять слышит — плачет! И горечь с ее горьким плачем впилась в его сердце.

А с плачем из рассветной алой тишины голуби горковали.

И хотелось самому плакать, только плакать и без слез слов просить поправить что-то, — если можно!

*

На следующий день Тимофеев не пошел на службу.

Позвонил Задорскому.

— Несчастье, ночью у Маши был припадок: что-то с сердцем.

Задорский обещал приехать.

День был пасмурный, тихий.

Маша ходила расстроенная, заплаканная, ждала. И оживилась, когда приехал Задорский.

И он был не как всегда, чего-то очень грустный. И сидел недолго. А когда уехал, осталось тяжелое такое чувство: беда ли это вспрыгнула на плечи — тяжелая?

И уж и просить напрасно?

И судьбу ничем не повернешь и ничем не умолишь?

*

Когда любит человек, весь свет для него мил.

Баланцев заблуждался, но нисколько не врал, Маша и вправду хорошо отзывалась о Будылине.

И это верно: когда она говорила, что Будылин ни на кого не похожий.

И то верно: когда она говорила, всякое ее слово было согрето любовью, и всякий отзыв ее был полон, как цвет.

Баланцев долго ни о чем не догадывался.

Баланцев был уверен, что исключительное положение, какое занял у Тимофеевых Задорский, вызвано было особой признательностью к доктору: Машу не узнать было! Маша так изменилась, потому что ей помог доктор.

При чем же тут Будылин?

Да не при чем, так, — для затеи.

Баланцев затеял развлечь своего темного друга и достиг цели.

*

Антона Петровича не узнать было! С каждым днем черный выходил он из своей черноты. А это любовь заполняла сердце его.

Только чего же он медлит? Надо же, наконец, объясниться! А по осени, когда полетят птицы в теплые страны, сыграют свадьбу.

И когда Антон Петрович в первый раз громко сказал себе о птицах — когда птицы полетят в теплые страны! — и о свадьбе, сам даже испугался, — так это было дико, ни с чем несообразно и просто невозможно.

Прошел день, он и еще раз сказал и еще громче — когда птицы полетят в теплые страны, сыграют свадьбу! — оробел от своих слов, но не так уж.

А понемногу привык и мысли свои настроил на всякие подробности.

*

В первую же субботу, окончательно уверившись, что он и есть жених самый настоящий, сговорился Будылин с Баланцевым, и женихом потащился к Тимофеевым.

Он решился. Он сбрил ничшеанские свои усы, крепко затянул шнурки у ботинок, подвязал ярко-голубой галстук и, набравшись слов из русско-немецкого разговорника, сам чувствовал, что смелеет с каждым шагом.

Задорский, случившийся в тот вечер у Тимофеевых, после спросил Машу:

— Почему у вас все какие-то ископаемые бывают?

И вправду, что-то от ископаемого было в Антоне Петровиче: ведь, чтобы изгладить всякую флоресценцию с Будылинской физиономии, Баланцев прибег к верному средству — к тальку, но с излишком: тальк, как пепел сыпался с рогатого лба.

Гостей встретила Маша.

Не удержавшись, сразу же она громко расхохоталась.

Да и Александр Николаевич не мог скрыть улыбки.

А Баланцев, как переступил порог, так со смеху и покатился.

Антон Петрович решил, что так полагается и, стараясь во всем подражать приятелю, сделал что-то похожее на улыбку, но такое вышло, такое смертельное, лучше бы не старался.

И это еще пуще подожгло Баланцева.

— Ну вот вам и жених! — захлебываясь, выпалил он.

— Подождите ж, нельзя так сразу.

Антон Петрович начинал смущаться.

— Жених, жених!

Баланцев, не унимаясь, подталкивал Будылина.

Антон Петрович вдруг схватился: куда-то пропал букет, который должен он был поднести Маше еще на пороге.

— Где цветы? Вы меня совсем спутали!

Букет оказался под шляпой у Баланцева.

Антон Петрович, не стерпев, ткнул Баланцева куда-то в живот.

— Мучитель!

Баланцев перестал смеяться.

Отряхнув букет, Антон Петрович подошел к Маше, но слова — чорт знает что такое — слова, заученные из русско-немецкого разговорника, забылись все до одного. Молча топтался он на одном месте и шаркал, как неумелые дети.

Маша, едва сдерживаясь, смотрела.

«Как она смотрела! Как она смотрела!»

Вспоминая, говорил после Антон Петрович Баланцеву, неисповедимо уверившись, что весь вид его тогдашний, а букет особенно, произвели и без слов должное впечатление.

Оставалось найти подходящую минуту и объясниться.

А всё мешало: Маша не была одна, а всё на людях, правда, близких, но всё-таки на людях такого делать не полагалось.

«Надо стать на колени, потом поцеловаться. Нет это никак невозможно!»

И несколько раз, довольно внятно, всякому слышно, шептал Будылин Баланцеву, чтобы тот вышел из комнаты и увел с собой Тимофеева.

Но Баланцев точно оглох.

«А может и слава Богу, что всё так не делается!»

Антону Петровичу стало страшно: вот уйдет Баланцев, уведет Тимофеева, останется он глаз на глаз с Машей и надо будет начать объясняться — надо будет говорить...

«А вдруг скажу, да что-нибудь не так или само скажется и совсем не то!»

И так же внятно стал он шептать теперь Баланцеву, чтобы тот ни под каким предлогом не уходил и не оставлял его одного.

А Баланцев, точно на зло, начинал делать всякие подходы, чтобы увести Тимофеева и оставить Антона Петровича наедине с Машей.

«Что я наделал! Что я наделал! — терзался Антон Петрович — так легкомысленно связать свою и чужую жизнь!»

Антон Петрович уж готов был просто сбежать.

Не тут-то, всё делалось наоборот: Баланцев встал, за ним Тимофеев — Антон Петрович почувствовал, что коленки у него дрожат и голос пропал.

Но в это время вошел Задорский.

Не выдержав, бросился Антон Петрович к доктору. И тряс его руку с таким неистовством, точно был доктор первым и единственным, кого он только и ждал.

А взглянув на Машу, Антон Петрович подосадовал: такая вдруг радость залила ее лицо!

«Доктор всему помешал!»

Необыкновенно весело было в тот вечер у Тимофеевых.

*

Не сразу догадался Баланцев, что между Задорским и Машей есть что то.

«Доктор ухаживает за Машей!»

Тут сказалась догадка. И когда он про это передал Антону Петровичу, того точно пришибло.

— Что вы говорите? Я не допущу.

— Можете! Но этим вы ничего не поправите. А лучше всего, конечно, проверить.

— Я пропал! — глухо сказал Антон Петрович.

И сколько ни уверял Баланцев, что дело еще не потеряно, что в крайнем случае можно стреляться — и оружием устранить противника.

Антон Петрович, не умевший стрелять и никогда не стрелявший — ратник ополчения второго разряда — одно твердил:

— Пропал.

*

Неужто так-таки пропал?

А и в самом деле, вы только подумайте, ведь только любовь к Маше и уверенность в сочувствии ее перевернули Будылина: Маша стала единственной дверью к жизни, единственным лучом в его погребную темь.

В Маше олицетворялся его высший суд, перед ее глазами предстал он грязный, негодящий, флуоресцирующий, как сахарная голова, как керосин.

Вот он напряг все свои силы выбраться на дорогу и когда, казалось ему, выдирался уже из трясины на ровь, его снова безжалостно толкнули назад в трясину.

Баланцев даже испугался, — так пришибло приятеля. И не мало истратил он слов разговорить его и рассеять.

Антон Петрович в горечи дум своих пропащих вспомнил о браунинге, попавшем в его карман в тот медвежий злополучный день с краденой фарфоровой собачонкой и видел странное в своей находке грозное предзнаменование, свою судьбу.

Смерть казалась ему единственным исходом.

И с тех пор любимой его прогулкой сделалась Невская Лавра: он бродил по старому кладбищу — и как он завидовал покойникам! И как страшно ему было возвращаться за ограду к живым домой, — к живой жизни, которая его отвергла.

И всё-таки любовь, любовное чувство, и, само собой, Баланцевские любовные разговоры взяли над всем верх.

Антон Петрович поддался. И кончил тем, что опять обрился и решил бороться.

— Я не допущу.

*

День выдался знойный — Петербург дышал помойкой! И Нева текла полноводно холодная под горячими мостами. Любовное чувство Будылина разгорелось жарче асфальта. И почему в самом деле не помериться ему силами? А если ничего не выйдет, так уж и быть — судьба.

— Он не допустит!

И разве он сваленный пропащий человек?

— Нет, он чувствует в себе силу всех мировых бойцов и готов хоть на льва.

Но как же ему все это устроить? Баланцев учит: будь смелей, а главное поменьше думай. Не думать — немыслимое дело!

Не думать он не может и робость свою никогда не победит, сколько бы ни дулся.

И в глубине взмученного сердца чувствовал Будылин, что из любовной его затеи ровно ничего не выйдет.

И разве можно переделаться?

И сама слава, которая гонит людей в огонь и ради которой может человек от всего отречься, отступала перед его брандмауеровым упором.

Нет, он ничего не может, кроме, как думать — только думать.

— Мыслитель!

И зачем он так далеко зашел в этой истории своей любовной? Сидеть бы ему тихо и смирно, как сидел столько лет, читать книги, мечтать о мудрости, философствовать.

И во всем виной проклятая его философия. Договоришься чорт знает до чего! Вот и договорился.

Теперь надо действовать и назад ходу нет.

А вот возьмет он и упрется.

— Пускай само собой!

Так и Баланцеву скажет: — само собой!

Пальцем не пошевелит, потому что разлюбил Машу, и не то что разлюбил, а никогда он ее и не любил, он только представлялся, философствовал.

А женится он на Нюшке, племяннице Овсевны старухи.

«Девка гладкая, нос шишечкой, а ничего не жрет!»

И Антон Петрович с жаром ухватился жениться на зло на Нюшке.

Да и не на зло, а просто так, «здорово живешь»: взял и женился!

А главное всё по боку. И не надо действовать.

*

Часы шли — знойные, помойные.

Поздно уж было перерешать. Еще неделю назад пригласил Будылин гостей к себе на обед: Тимофеева, Машу, Баланцева и доктора Задорского.

А этот обед затеял он с единственной целью: и себя показать и испытать свои силы — последний натиск, и всё решится бесповоротно!

Может, Задорского и не следовало бы звать и было бы благоразумнее без всяких свидетелей?

Да Баланцев настоял.

И правда, какое же соревнование и какой натиск без противника?

Но разве по чести-то говоря, он годится на такое?

— Ничуть. Один смех.

Экая, ведь, глупость-то человеческая.

*

От волнения и растерянности Антон Петрович с утра вышел из дому и бесцельно скитался по улицам.

Он выбирал самые удушливые места на Песках за Суворовским проспектом: в зное и духоте невыносимой растравленная душа его еще больше распластывалась.

Ботинки немилосердно жали, мозоли сверлили.

А он с остервенением крепче нажимал на больное.

Безнадежность и неуверенность переходили в отчаяние.

«Неужто сегодня свершится — Господи, пронеси!»

А сердце — взмученное сердце колотилось от счастливых и пропащих ожиданий.

*

Вечер наступил еще душнее дня.

— Всё готово?

Баланцев, как и надо было, явился первым.

Антон Петрович сидел за своим столом, безнадежно закрыв глаза.

— Главное смелее и ничего не думать!

Баланцев вышел на кухню. И всё там осмотрел, все кастрюли.

И вернулся довольный.

— Овсевна молодец, обед будет царский!

Но Антон Петрович ничем не отозвался: он также всё и сидел неподвижно с закрытыми глазами.

— Антон Петрович, слышите, пора!

С болью раскрыл глаза несчастный.

— Мучитель, — прошептал он, и побелевшие губы его дрожали, — мучитель мой!

Баланцев вдруг и сам поддался: зачем это он всё делает, всю эту кутерьму заварил? Или не изжил еще привычку — играть шута горохового? — в те годы-то свои обреченные, ведь, как он откалывал, чтобы только как-нибудь продержаться!

Ни слезами, ни проклятиями, это уж дело испытанное, ничего не возьмешь, — таков уж подлец человек, подлее и грубее всякой твари на земле!

Впрочем рассуждать некогда, надо было прихорошить хозяина — размякший от жары, Будылин напоминал какой-то постоялый рассольник.

Баланцев заставил его умыться, сам пригладил ему волосы.

Но и умытое лицо Будылина флуоресцировало необыкновенно.

И в таком несмываемом виде встретил он гостей. Не доставало только Задорского.

И когда гудел лифт, Антон Петрович срывался к двери:

— Не Задорский ли?

Маша беспокоилась не меньше.

Насилу-то дождались.

*

За обедом Овсевне помогала Нюшка, — расфуфыренная она была какая-то особенно зверская в белом.

Всё шло неожиданно ровно и гладко, честь-честью.

И только одно тревожило Баланцева: идиотская растерянность и гробовое молчание самого хозяина.

Задорский выручал своим разговором — все его и слушали.

Оттого и сап, и чавканье, и прихлёп Будылинский не так были внятны.

Ну, обед сошел благополучно.

Антон Петрович вдруг багровый весь от волнения, чуть не плача, стал просить Машу пройти с ним посмотреть его философскую комнату.

Маше и в голову не приходило, да и никак ей не догадаться, что решительная минута наступила.

В волнении Антон Петрович даже забыл закрыть за собою дверь.

Ни минуты не медля, всё, как учил Баланцев, с всхлипом пал Будылин на колени и, забыв все слова, только кланялся до земли, как перед иконой, кланялся и исступленно смотрел.

Маша оторопела, не веря глазам, не понимая.

А он, всхлипывая, продолжал стучать лбом об пол.

Задорскому, случайному свидетелю необыкновенного объяснения, — он вошел в комнату из любопытства, желая посмотреть, какой такой диковинкой задумал Антон Петрович удивить Машу, — с первого взгляда показалось, что Антон Петрович чего-то уронил и шарит по полу.

А сам Антон Петрович, елозя по полу, не видел ни Маши, ни доктора, и конечно, ничего не ронял и не шарил.

И единственное слово вдруг вырвалось у него и было оно полно непомерной гордыни, признания и отчаянной жалобы.

— Я русский, сын русского, но убеждения мои и моя вера — зенитная тля!

— Антон Петрович, встаньте, что с вами?

Маша теперь поняла и ей было неловко перед Задорским.

Задорский, улыбаясь, тихонько вышел — он тоже понял.

Антон Петрович быстро поднялся и сразу же сел на диван. Заученные слова, в которых для него заключались все фило-

софские его рассуждения и обличения врагов, сказанные им вдруг, вывели его из беспамятства.

— Я согласен. Я переменю и фамилию и имя. Я больше не Антон Петрович Будылин — я Антоний Петров Быков. Antonio Deo Sancto на Сытном рынке, гранит. Пусть будет по вашему, но я не могу, — Антон Петрович закрыл глаза, — я не могу. Я вызван на состязание — померяться силами — и возьму верх. Я всех покорю, я отдам не только мою жизнь — добро невелико! — а и все мои таланты видимые и невидимые, словом иже делом —

Между тем Задорский шепнул Баланцеву, Баланцев Тимофееву.

И уже втроем подошли к двери.

Антон Петрович с закрытыми глазами продолжал бормотать что-то совсем несвязное: из молитвы что-то.

— Да покажите же нам ваши диковинки! — перебила Маша.

Антон Петрович открыл глаза и, никак не ожидая увидеть ни Задорского, ни Тимофеева, ни Баланцева, в ужасе вскочил с дивана.

— Что я хотел показать? фарфоровую собаченку? Но это не та, не фарфоровая. Это настоящая фарфоровая! — и стал отчаяннно шарить по столу.

— Да вот она стоит! — ткнул пальцем Баланцев.

— Я ее украл в писчебумажном магазине Деллен! — неожиданно для себя крикнул Антон Петрович и сразу присмирел, как напроказившая собаченка.

Всем стало неловко.

Рассматривали и трогали собаченку.

— Цена ей двугривенный, не стоило марать рук! — сказал Баланцев.

И вдруг Антон Петрович заплакал.

— Антон Петрович, не хорошо так убиваться, эка беда! — уговаривал Тимофеев.

А он положил голову на стол и, мотая головой, плакал.

— Антон Петрович, перестаньте! — дергал за руку Баланцев.

Ничего не помогало.

И только когда Нюшка подала самовар, самоварная упоительная мурмольня подняла Антона Петровича.

*

Помятый, исслюненный пошел он за гостями в столовую.

А Маша была такая веселая, так ей было весело —

— Вы хоть бы чаю выпили, Антон Петрович!

Тимофеев пододвинул горячий стакан: жалко ему стало Будылина.

— Ничего мне не надо, ни чаю, ни сахару, я знаете, Александр Николаевич, вроде как посторонний совсем на этом свете.

А чай шибанул ему в нос, и он робко потянулся за ложечкой:

— Я, как перед Богом вам, Александр Николаевич, больно отказаться от мечты всей жизни. Как я ее добивался!

— Никто вас не осудит, Антон Петрович. Если бы это драгоценность какая —

— Я совсем не про то, я — я мечтал — я устранен —

— Да бросьте вы вашу эту дурацкую фарфоровую собаченку! Эка беда, ну скажут, по нечаянности, обознался!

Баланцев хозяйничал, как у себя дома.

Всё шло, как нельзя лучше.

Антон Петрович сиротливо пил чай.

После чаю гости поднялись идти домой. Антон Петрович не удерживал. Да на него и не обращали внимания.

Он надел было шляпу, чтобы хоть до ворот пройти и вдруг в дверях увидел Нюшку. И зверский ее рот остановил его. И он остался — никуда не пошел.

«Ну, и хорошо, — не вышло, так не вышло. Так тому и быть, судьба», облегченно подумал он.

«Не судьба, а Баланцев!» — точно кто-то пискнул ему в ухо.

И немилосердно зажглась на ноге мозоль.

*

Вечером Антон Петрович не взял даже счета с Овсевны. А старуха не раз приступала.

Старуха успокоилась разговором с Нюшкой: дело ее со страховкой улаживалось благоприятно.

А последний самовар ночной умирил и самого Антона Петровича. И лег он совсем примиренный.

И только где-то в самой глуби несуразного существа его, как червячек точил и мышью пел нехорошее.

И приснилось ему — подымается он будто на лифте — Бог знает на какую высоту он поднялся, — этажей не считал. А поднимался не один, а с доктором Задорским. И оба подымались они — к Маше. Вот, наконец, и дверь ее. Около двери ящик. И надо из лифта прыгнуть в этот ящик и тогда уже отворить дверь. Задорский так и сделал: прыгнул в ящик и, должно быть, очень крепко рванул дверь — ящик отвалился и повис на ощерившихся гвоздях. Антон Петрович ухватился за край — Если влезть ему в ящик и начать приколачивать гвозди, ящик никак не выдержит — сорвется. И он отдернул руки — А перед ним страшная пропасть и уж ему ничего не остается — назад все равно не вернуться. И он полетел вниз.

Высоко над землей он летел — Не на крыльях, и не на аэроплане, а в самом обыкновенном вагоне третьего класса. Вагон битком набит: сидят и стоят и так примостившись висят на ремнях под крышей. А чтобы пройти в другой вагон, надо вытянуться из окна и на руках тянуться в окно соседнего вагона: вагоны летят друг к другу под углом. И слышит он: Маша зовет! Маша зовет: она пришла бы в их вагон, да боится. И вдруг видит: Задорский высунулся из окна, ухватился за окно другого вагона и повис —

— Селедки голландские! Селед-ки!

*

Антон Петрович открыл глаза — селед-ки!

Раннее петербургское утро.

И это утро — белый свет — как гарь: не смотрел бы! не просыпаться бы никогда!

И чувство, какое охватило его, отчаянное, напомнило ему далекое, совсем было забытое из его деревенского шалопайного года.

Помнит, пришла в дом такая, как Нюшка, гладкая со зверским лицом, пришла помогать в уборке. И задумал он ночью прогуляться к ней. И вот, когда все заснули, прокрался в коридорчик, где спала она, разбудил ее. И победив свою робость — он всегда был робок, должно быть, от книг и от спутанных мыслей — полез к ней. И это нисколько не удивило ее. А его от неожиданности, что ли, сразило.

И он должен был вернуться к себе под упреки, что потревожил, и, конечно, с насмешкой.

А когда по утру проснулся и было вот точно такое же утро — такое же чувство — белый свет, как гарь.

— Да лучше б провалиться сквозь землю!

*

Будылин, думая о Задорском и Маше, представлял себе жизнь их одним завидным счастьем, какое выпало на их долю, может быть, единственным в мире.

То, чего он добивался с такими жертвами — была ведь оставлена философия, книги, наконец, сбриты усы! — и ничего не добился, им досталось совсем легко — судьбой.

И что ни говори, а было таки на свете счастье, которого он никак не мог принять.

И теперь, философствуя, он старался найти всякие нарушения этого счастья, потому что, ведь, всякое счастье нарушало его философию.

Он успокоился на том, что Маша рано или поздно изменит, так все и кончится.

И хотя оснований думать так никаких у него не было, за наступающую измену он ухватился, и приурочивал к одному прекрасному дню, когда случайно — по судьбе опять же! — они столкнутся, и Маша бросится к нему на шею

*

Баланцев, попрежнему бывая по субботам у Тимофеевых, не мог не заметить перемену.

А Задорского он больше не встречал. Говорили же о нем всегда.

И разговор, как заметил Баланцев, был очень напряженный: Тимофеев, говоря, словно взвешивал каждое слово, а Маша с необыкновенным волнением.

А однажды Баланцев пришел не в положенный свой час, не в субботу, и застал у Тимофеевых Задорского.

И все было, как раньше: оживление Маши, особенная внимательность к ней Задорскаго.

Все это ясно говорило о их счастии.

И желая людям только счастья и, не веря ни в какое счастье, Баланцев, обожавший Машу, с тревогой думал о новых ее разочарованиях и неизбежных.

*

Тимофеев не мог не видеть, какие были отношения у Маши с Задорским, но об этом ни слова не было сказано.

И о той ночи Маша не обмолвилась: почему тогда плакала и отчего как раз с той ночи разлад?

Задорский приезжал к ним куда реже.

И чаще стало повторяться; ждут и ждут, а его нет.

В эти часы волнение Маши доходило до исступления.

А приезжал Задорский и всё казалось по старому, как тогда, до той ночи.

А на другой день опять не узнать было Машу: озабоченность, тревога, тяжелое молчание.

Что-то такое совершалось, чего не знал Тимофеев. Одно знал он: то, что стало, не сулило никакого счастья.

Кто же виновен? Кого винить? — Машу? Задорского? Нет, тут было что-то помимо их — выше их. И оно действовало наперекор их воле, — оно разлучило.

*

Задорский за суетой своих дел, назначал день и совсем неумышленно не являлся к ним.

А Маша, желая высказать ему все свои подозрения — она стала думать, что он не любит ее! — не договаривала всего из-за какого-то гордого своего стеснения.

И всё шло прахом.

Стало быть никто не виновен? Судьба? — судьба, перед которой сами небеса послушны.

*

Маша полюбила Задорского просто — потому, что он милее всех.

И эта любовь ее — суженая любовь.

Да, он и умный, это она сразу увидела, но мало ли умных? Не очень много, пожалуй, даже совсем немного, но все-таки есть, и не им одним свет сошелся.

И разве Пылинин, муж ее, глупый что ли?

Нет, конечно, и не будь ума, никогда бы не вышел Пылинин с своим искусством легкой, бездумной, лживой жизни.

Любовь Маши была суженой: она полюбила потому что не могла не полюбить.

А Задорский? У него что?

Задорский, по природе своей незлобивый добрый человек без всяких заковырок, ко всякому доброжелательный. Пациенты с первого же знакомства привязывались к нему и все ему доверяли.

Но сам никому, ни единому человеку не верил, и о себе, о своем, никому ни полслова.

Его научила жизнь, что в сущности никому нет дела до другого, и при случае, так здорово живешь, и самую твою чистейшую откровенность, твое сокровеннейшее зачернят и засмеют — та́к, здорово живешь.

А никому не доверяя, он умел хранить чужую тайну. Маша была уверена в нем. И только с Машей он был не как с другими.

Ей единственной он говорил о себе правду — не всё, всего страшно, но мог бы и всё сказать.

Ласковый к людям, к Маше он был необыкновенно ласков.

А полюбил он ее также по судьбе: не мог не полюбить.

И любовь к ней пришла с первой встречи.

Когда в первый раз ушла от него Маша, он, закончив прием, лег спать и вдруг спохватился:

«Что такое случилось? — спросил он себя, — что было такого необыкновенного в этот вечер?»

И ответил: «была новая пациентка».

С первого взгляда она тронула его сердце и душа его всколыхнулись. И с тех пор он стал о ней думать, ждал ее.

Едет ли в трамвае, вспомнит и мысленно обнимет ее. Или среди ночи проснется, а она вся в его мыслях и опять он словно подойдет к ней — только с ней впервые он почувствовал в себе волю, а никогда ни с кем он не чувствовал в себе этой воли — с другими он был просто наемник.

И когда Маша в отчаянии скажет ему:

— Зачем это я пошла тогда к вам!

— Это всё равно бы случилось, где и когда, но мы встретились бы непременно.

Так он ответил ей — по всей правде от всего сердца.

*

Или это верно и истинная правда: отношение мужчин к женщине по своему существу оскорбительно для женщины — за обладанием неминуемо следует охлаждение.

Вот это-то и оскорбило Машу. И вызвало те слезы ее, как плакала она, вернувшись домой в ту белую ночь.

И хотя на следующий день он был к ней ласков, как и раньше, она никак не могла забыть — какая наступила в нем резкая перемена, какая холодность и суровость, он тогда ее даже не проводил! — а ведь она мечтала и ждала совсем другого.

Или это так всегда?

Ей и хотелось ему сказать об этом. И не могла.

И когда потом она приехала к нему с единственной целью спросить об этом, он почувствовал это, сел на скамеечку у ее ног и только глядел на нее, не давал ей произнести слова.

— Не надо! Не надо!

Останавливал ее, боясь, что вот она скажет. Потом поднялся и попросил ехать домой. Его испугали слезы той ночи, и он не хотел повторения.

А Маша ни за что не хотела расставаться с ним.

— Вы совсем ребенок, вы ничего не понимаете! — с горечью он прощался с нею.

Он понял: не надо было той ночи. А чувствовал: та ночь была неизбежна.

И лучше бы было: всегда только глядеть в глаза, моля о любви — А этого он не мог всегда. Всякое же повторение той ночи вызовет у ней слезы, — он чуял.

Вот это-то и отстранило его от Маши. А отстраняясь, и совсем незаметно под всякими деловыми предлогами, он вызывал в ней всякие подозрения и ревность.

И при встречах, теперь редких — совсем редких! — Маша начинала говорить с ним от своей боли резко.

У Маши не было середины: или так или уж этак — без всяких.

И когда Маша твердо по своему заявляла о чем-нибудь: «никогда», так и бывало, так уж и знай: никогда!

И это «никогда», как гвозди вбивала она, заколачивая — навсегда.

Такая бесповоротность ее решений не редко самой же ей первой причиняла горчайшую боль: решив что-нибудь навсегда и выполнив решение свое, она вдруг спохватывалась, — но было уже поздно.

И сколько надо было сил, чтобы исправить и не всегда удавалось.

Задорский же, по природе незлобивый и совсем не резкий, с болью принимал всякое разкое слово — его ранила та страстность, с какой звучало у нее в тяжкие минуты и самое простое слово.

А слова ее и резкие и бесповоротные — ее «никогда» и ее «навсегда» — были, как гвозди.

И после таких объяснений Маша всякий раз предлагала ему больше с ней никогда не видеться.

Маша думала: он ее разлюбил.

Нет, он ее никогда не разлюбит и нельзя ему разлюбить ее.

И найдя исход себе — свое дело, в которое ушел с головой — он в неделовые часы свои чувствовал тягчайшую пустоту, от которой не было ему никакого спасения.

И с болью вспоминалась Маша.

А Маша одна со своей болью и безответным вопросом: — почему всё так вышло и наперекор их воле они разлучены?

А как бы хорошо они жили! И зачем это всё так вышло?

Полюбили друг друга и разошлись: она со своей мукой неутолимой — он с любовью неутоленной, она с проклятием злой судьбе и исступленным зовом и слезами — он с безнадежностью и грустью.

Или затем и произошло всё, чтобы по суду судьбы покорить их?

Или затем, чтобы через всю горечь разлученных дней наградить их?

Оттруждали ли они какую-то старую свою вину и через крестный терн принимали благодать?

*

— Но в этой жизни ужасной равно тяжки и кара и милость, награда Твоя! И лучше бы человеку совсем сгинуть, забытым Тобой, без всякой благодати — всегда терпеть и страждать — горькая чаша переполнилась!

3. Абракзас

Стозвонная Европа — родина колоколов, рыцарей и славословящего камня — Колыбель Данте, Шекспира, Гёте — я ходил по твоим каменным улицам в канун кровавой расплаты.

Майские нарядные катанья в Париже в Елисейских полях и какие измученные серые лица там — у подножия Святого сердца — жалкий приют измызганной в постоянном труде бедноты и беспросветно.

Помню весенний праздник в благоговейно поблекшей Флоренции, ее гремячие по-московски мостовые; и другое гулянье в Париже в опустошенном Сен-Клу — какие жалости подобные развлечения, топот дешево разряженной толпы, какая грубь, сапоги и только что по-русски не матерят.

Я помню воскресные скучнейшие семейные прогулки в Груневальде, огоньки вечерних берлинских кафе с бесконечной музыкой и бесчисленными проститутками.

Я вижу в Вене в соборе у Сен-Стефана перед образом Богородицы — какие вереницы страждущих и неумиренных: не сводя измученных глаз с заплаканных очей, глядят.

Жажда чуда и свиное самодовольство — мозолистые будни и убогий праздник, разряженная отупелая сыть и надорванные усталостью и проголодью лохмотья.

Стозвонная Европа — прокрикнутая биржевая глоть...

И какой это жгучий крестный вздвиг быть человеку в человеческой пустыне среди людей! — в звериной пустыне со зверями завидная доля.

Никогда так не бесились блудливо, как в канун кровавой расплаты.

Не знали, чего только придумать!

И танго — последнее слово обреченных — вихрем подхватив полмира — закружило над пропастями.

Никогда не зияли пропасти так бездонно, как в канун кровавой расплаты.

Духовное ощущение в мире притупилось: смотрели — и не видели, слушали — и не слышали, трогали — и не осязали, порывались — и не чуяли.

Одно безглазое мясное выворачивалось со всеми кишками.

Крупповские трубы без срока дымили небеса — кипела работа над железом: загудут стальные пчелы — пьяный напьется теплотой холодное сердце.

А там — под зуд и стук неугомонных аэропланов собирались стаи черных умнейших птиц: как задымится на развороченной земле человечье парное мясо — будет воронью большая пожива!

А там — под землею, треснувшей под тяжелым колосом, текли белые могильные черви, чтобы начать свою ненасытную жратву — будет и червю праздник!

А там — ковали из серебра две великие чаши: одна — из горчайшей тоски — другая — для горючих слез.

А там — Демиург скликал демиургов: «Придите! сотворим человека по образу нашему и подобию!»

И как это больно иметь живую душу, осененную помыслом, быть на земле человеком! — раком в сети завидней: «дави любой, вырывай хвостик!»

*

Россия, родина моя дичайшая, с синим скрипучим снегом и тоскующей синью осенних сумерок, с белыми лебедями, с белоснежным, златоверхим Кремлем.

Россия ленющая, бахвальная, юродивая и разбойная с Пугачевым, Ванькой Каином, Разиным и неисчислимыми «ворами». —

Россия тайновидящая с видениями Достоевского и щемящим сном Льва Толстого, со словом Аввакума, Гоголя и Лескова — тебя ли не помнить в канун кровавой расплаты!

Бакст — Léon Bakst (Лев Самойлович) — прославленный как Дягилев, Парижем, не забыл петербургские вечера в Казачьем переулке, «обезьяних старшин», вспомнил в Париже Россию, свой портрет Розанова, и зимой в канун войны приехал в Петербург на побывку, и из участка — «по правожительству!» — отпущенный под расписку, прямо угодил на самые верхи татуировать петербургских дам.

И запестрели в парикмахерских витринах у Орлова и Жарова невиданные парики: голубые, лиловые, розовые.

А там — и не знаю я, слишком уж проста ты, родина моя несуразная, и за что тебе такая кара и такой великий грозный вздвиг!

А там — и вскрыл высоко над обреченной землей ангел грозный и пламенный, ударил крылом по пламенным водам бездонного подземного озера — и загорелась земля!

*

В дни объявления войны, когда в Петербурге невская толпа Невой хлынула на Дворцовую площадь и стоя на коленях перед Зимним дворцом, видя в царе — образ России, всем народом клялась умереть за Россию, —

И в первые дни революции, когда тоже толпа хлынет Невой по петербургским улицам жечь царский суд — грозу неволи и несправедливости, Баланцев заплачет, как ребенок, поверив в наступление свободной жизни — в новую небывалую Россию!

А потом, в дни урыва и наскока, когда возопит дикая утроба, Баланцев покорно забьется в свой угол на Малой Монетной: «или такая судьба всех дел человеческих? и обещания вождей человечества устроить на земле рай — во рву беды и безглазой тьмы только мечта, только желание?»

*

Доктор Задорский, призванный на войну, должен был еще в самом начале войны покинуть Петербург.

Перед отъездом он заехал к Тимофеевым проститься.

И опять, как прежде, засияло в доме.

— Знаете что, — вдруг сказала Маша, — мы больше не увидимся.

И перекрестила его — в последний раз просветили глаза светящиеся, как звезды, какие печальные, какие покорные — в последний раз.

Только любовь видит так ясно: и в правду — в последний раз! не вернуться ему и никогда он не взглянет — ни на кого уж не взглянет.

*

Баланцев, разыскавший Тимофеевых, вскоре после трамвайного случая на Каменноостровском, был единственным их субботним гостем.

Через Баланцева Тимофеев и на место определился, благо с мобилизацией нужда пошла на непризывных.

А когда началась революция — ведь нет на земле и не было необойденного! — и за жестокой расправой беда, голод, мор, Тимофеев, как и Баланцев, покорно принял судьбу. Никуда, конечно, не побежал, остался в Петербурге вместе со всеми — тем незаметным, но крепким камнем, на котором стоит Россия.

Маша после смерти Задорского, как освобожденная, вышла из круга своей личной судьбы и пошла «в мир». —

Она тоже не покинет Россию — родину мечты и горя. В России во все времена — при всяких царях и владыках — жили люди, и таких многое множество. Это те камни — крепь земли, простые обыкновенные люди: от напастей никуда им не скрыться, где родились, там и смерть — всю тяжесть они и несут на себе. Кто же им-то поможет в беде — в трудных буднях незаметных, совсем негромких? — ведь, у всякого есть свое горе!

Маша сквозь всю черноту и труд жизни пронесет светоч своего умудренного бедой сердца.

*

Антон Петрович не женился на Нюшке: представьте, Нюшка не согласилась!

А жил Антон Петрович на Таврической на старой своей квартире, как и прежде. И Овсевна старуха жила на кухне, ну, совсем, как прежде.

Когда объявили войну и начались всякие победы и поражения, Антон Петрович только руки потирал от удовольствия: ведь всё-то оправдывалось, как по писанному, всё было необыкновенно нормально — «по-человечески».

А когда война вошла в обиход жизни, Антон Петрович заметил, что злейший его враг — национализм, кричавший во всё пушечное свое горло на всех перекрестках, враг, как оказывается, совсем ничтожный, и бороться с ним только руки пачкать.

Антон Петрович убедился, что дело совсем не в национализме и не национализмом движется вся эта бойня, а той шкурной выгодой, какую извлекают все, кому только не лень на этой бойне: «война во имя национализма оказалась выгоднейшим предприятием, особым промыслом — им питалось жестокое и увы, неразумное человечество.

— Всю землю могли бы в парник обратить, идиоты!

Антон Петрович грозил брандмауеру, представляя себе те огромные средства, изобретательность и труд, все несметные богатства, какие ухлопали «культурные народы» на истребление этой самой культуры.

И когда в феврале в Петербурге вышли на Невский с революцией, Антон Петрович даже перекрестился:

— Грядет!

И стал зорко присматриваться: его занимал тот кавардак, какой начинается на земле.

И смерч, взвитнувший над Россией — он верил — летел на Запад —

— Как пустынное солнце! — подмигивал Антон Петрович брандмауеру.

Человек, извлекающий пользу из души и крови, выступал перед ним во всей своей наготе — бездушно, бессовестно с едой и американскими горами, — и обойденность вопияла еще истошней и еще обнаженней лезла в глаза.

И уж с ожесточением кивал он брандмауеру:

«Родился подлецом и пусть подлец подохнет подлецом, бестыжий человек!»

Но под жалостью, вдруг нахлывающей на него с неимоверной болью, в мучительной памяти своей о каком-то мальчике Васе, забитом гимназисте, сверстнике своем спохватываясь, он гавкал, выговаривая на злых духов и на свои черные мысли, последнее и единственное всесокрушающее заклинание:

«Абракзас!»

Алексей Ремизов

ВОВИНА ВЕСНА

Посвящаю сыну Олегу

I. КАК ЭТО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

И это снова будет, когда кончатся высокие, бесконечные сосны Сокольнического парка и его трамвай станет заворачивать к мосту: в нос ударит гнетущий псевдосъедобный запах, окутывающий всю окрестность. Запах этот, как он узнал впоследствии, издают высокие красные корпуса калошной фабрики. Запах тошнотворный, мутящий. И всё же нет милей, нежней и заманчивее этого запаха. А в запахах он понимал толк. Например, если бежишь с подкатцем на скользких подошвах по свеже-утоптанным зимним тротуарам Пречистенских переулочков, прижимая локтем случайно-добытую и так много обещающую редкую какую-нибудь книжицу и вдруг в слипающиеся от мороза ноздри ударит теплая волна уютного и родного запаха черного хлеба из пекарни. Как весело задрожит что-то в ответ, «что-то» находящееся на грани сознаваемого и глубоко-природного, первичного. И всё обольется изнутри сверкающей радостью жизни и так легко тогда нащупать то исходное, простейшее и таинственное, что лежит в основе всякого творческого процесса. И тогда начинается «настоящее»... Или запах — терпкий и острый — от надышенного сыроватого отворота куртки в момент оформления вновь возникшей, ускользающей, некрепкой еще мысли. Без этого так нужно-пахнущего отворота мысль бы не смогла закрепиться и стать реальностью. А пряный, душистый запах свеже-очиненного карандаша? Все эти запахи, каждый приятный по-своему, дают постоянный аккомпанимент жизни. А теперь вот этот — чудовищный и влекущий, отвратительный и так много

в себе таящий запах калошной массы... Ясно лишь одно: не столько он на меня действует, думал он дальше, сколько я на него. Я уже давно преодолел его отвратительность, эту тошнотворную псевдо-съедобность. Материальные микро-частицы, раздражающие мои обонятельные нервы, утратили свою примитивную эмпиричность; они уже преодолены моим сознанием в идеальное состояние, в некий лирический лейтмотив моего трамвайного подката к знакомому мостику с видом влево на крутые обрывы (так удивившие его в первый раз), с дальнейшим поворотом в узкую улицу, проложенную среди ветхих, резьбой украшенных дачек, превратившихся теперь «под давлением жилищного кризиса» в постоянные квартиры «зимников». Нет, это не полярно-одетые фигуры, как хочет всегда осмыслить это слово воображение поверхностных пластов сознания. Нет, это оказывается «трудовое население, вынужденное жить в пригородах при наличии работы в столице, до разрешения жилищного кризиса». И вот среди этих то «Ропетовских» дачек, с напиханными в них до отказа «зимниками», на конце трамвайной линии и высится огромное здание универмага в стиле Карбюзье. Этот Карбюзье особенно забавен здесь, среди палисадников с решетчатыми беседками и фасадов с фальшивым балясником на мезонинах. Но он тоже реальность бытия, этот сам себя утверждающий Карбюзье московского нищего пригорода. А тогда, в первый раз, только после окрика кондуктора понял наконец, что Карбюзье — конечная станция. Отогревая быстрым ходом застывшие от долгой езды ноги в калошах, пошел сразу же не туда и долго пропутался пока нашел поворот у аптеки (как объяснял Слава), а потом блуждал в поисках Песчаного тупика (называя при расспросах его «Песочным», что спуталось с бывшей Песочной улицей, что теперь «Клары Цеткин», не предугадывая того единственного и тонкого очарования, который впоследствии будет исходить, как некий аромат, из слова «Песчаный»); пересекал чьи-то огороды, которые осознал как таковые только после гневного окрика какой-то тетки, вспоминая при этом Митю Карамазова, скачущего «по задам». И он ведь ничего еще не

знал тогда. Шел и не знал. Не знал, что́ встретит его там, внутри красно-бурого дома, стоящего в тупичке, на самом краю небольшого обрыва.

Вошел — и сразу: кто-то с утюгом пробежал через тесненькую прихожую, и тут же чья-то нога, стройная и длинная, обтянутая у колена голубым платьем высунулась из двери налево, а дверь ему оказывается открыла темноглазая девушка в великолепном тюрбане из мохнатого полотенца. Он так загляделся тогда на тюрбан, что ничего не сказал. Но она не засмеялась, а внимательно на него посмотрела:

«Вам верно брата?» сказала, и у нее был очень нежный подбородок.

«Ростислав Антоно́вич тут?» спросил наконец.

«Да, да. Он живет тут, но его сейчас нет. Да вы зайдите, зайдите.»

После нескольких его нелепых усилий снять калоши (одна так-таки и не слезла) они вошли в комнату с тахтой и большим столом. Девушка опять не смеялась. Как-то смутно было всё остальное. Что кто-то играл на гитаре — да, это было. И на столе лежали куклы. Много. Иногда без голов или без рук.

«Кто это в куклы? Вы?» спросил.

«Нет. Мы делаем куклы», — очень серьезно. Упал прямо сверху вниз во что-то неприятное. Замолчал.

«На продажу. Мы ведь не служим». (Мы? Кто мы? Но не спросил, боялся опять упасть).

«Он далеко ушел?» (он — Ростислав, ее брат).

«Он — в Москве. Он вам назначил?»

(А волосы под тюрбаном наверно тоже темные и мокрые).

«Что? Назначил? Нет. Он вообще говорил заходить. Хотел книги кое-какие показать. Меня зовут Владимир Чегодаев. Я пойду.»

«Нет. Зачем же. Вы наверно озябли. Оставайтесь чай пить.»

И потом пошло всё как на карусели. Кто-то кричал: «Катя! Катя!» и кто-то хотел тащить самовар, но он взял и поднес и обрызгал кипятком руки. А за столом было всех много и все

смеялись. И угощали черными лепешками. И пили чай с молоком. И кутались в пуховые платки (на дворе был март, холодная капель, светящиеся сумерки, а в домике холодновато). А Настя (в тюрбане) очень серьезно следила, чтобы у него был чай. Милое женское лицо под прямым пробором ласково спрашивало, где он учится. Чья-то белая коса попала ему в чашку. Смеялись еще. И обсуждали, можно ли еще сейчас кататься с гор в «Швейцарии» (это оказались те обрывы, что он видел из трамвая), и долго кричали и установили наконец, что когда сме́ркнется и подхватит морозцем, то еще можно. И все были очень похожи друг на друга (девушки). Потому что был и еще кто-то. И он сказал это. И опять все смеялись. И кто-то спросил: «И Аня?» И, странно, он не упал сверху вниз, как тогда, в первый раз. И он еще спросил: «А кто же это на гитаре?» И все разом закричали: «Катя!» И Катя мотнула белыми косами и поджала смеющиеся губы. И оказывается в большом садовом соломенном кресле сидел «папочка» (которого он не сразу заметил) и все устраивали ему подушки за спиной, и наливали чай, и тащили пепельницу, и кипятили молоко, и кололи сахар на кусочки. А он был седой-седой и как бы отсутствующий. И когда все решили после чая всё-таки попытаться на салазках, то сразу спросили, а кто же останется с папочкой. И у него упало сердце и он подумал, неужели «тюрбан» или Катя? Осталась Аня.

От катанья с гор «Большой Швейцарии» осталось: стеклянная ночь в холодной луне среди высоких сосен. Азартный спор о «большом или малом трамплине», сухой треск летящих полозьев о ледяную корку и Перуджиновское личико, еще гораздо более милое в пуховом капорчике, чем в мохнатом тюрбане. Хотелось, помнил, уйти тогда с «перуджиновским личиком» далеко вглубь леса, в стеклянное одиночество от этого шума на горе, от того, что обязательно надо было скатываться вниз, что в длинном драповом пальто было поистине неудобно и что ноги в калошах в конце концов застыли. И что больше всех горячилась и смеялась Катя и ее светлые валенки лихо торчали с двух сторон санок.

А потом брел назад, так и не повидавшись в тот день с Ростиславом. Всё здешнее, совершенно необычайное для него, под углом стоящее к обычной жизни страшно его взволновало. Новое, инородное вошло в его жизнь. В жизнь с обычным строем мыслей и действий, распределенных между читалкой, лекциями и домом. В этот его мир, заполненный напряженной работой по нащупыванию и слаживанию идей. Его собственных идей. Ведущих к абсолютным ценностям. К его, так сказать, «страстотерпице-Платониаде» конца двадцатых годов XX века.

Он не сел тогда в трамвай у универмага в стиле Карбюзье, как уговаривали его девочки Антонóвич и какой-то Ваня, провожавшие его до трамвайной остановки, а пошел пешком, сначала через мост, а потом вдоль всех Сокольников, залитых высокой мартовской луной. Надо было подумать. Он шел совершенно один, иногда разговаривая вслух, жестикулируя и расстегнув пальто (стало жарко). Неизвестное, т. е. небывшее, вошло, вытеснило что-то в его внутреннем мире, таком уплотненном, таком насыщенном, что, казалось, некуда было яблоку упасть, и вдруг...

Оно вошло само и заявило
Себя реальностью и бытием
Огромной напряженности и силы,
Встревоженной и ясной вместе с тем.
Реальностью высокой и как-будто
Не меньшей чем идеи Абсолюта.
Его приход богат и многосложен
Оно и жизнь, и смелость, и вопрос...
Вот-вот душа раскроется и сможет
Вместить в себя вселенной макрокосм.
И эта вновь рожденная реальность
Предвосхищает широтой своей,
И простотой, и ясностью, и далью
Проникновенье в высший мир идей.

И он назвал это тогда — «Сокольники». Потому что оно родилось из дымных неясных сосен, из хрупкого шероховатого ледка с осколками луны в нем... И он брел, хрупая по этому ледку и луне, и сочинял дальше, и пел то, что сочинял...

Домой он пришел тогда в три. Открыл отец, слепо смотря безочковыми, светло-голубыми глазами.

«Ну где же ты, братец мой, пропадаешь? Мы с матерью уже беспокоиться начали...» (Обычная формулировка).

«Гулял и думал...»

«Но надо же, Вова, и время помнить!»

Но когда лицо сына осветилось светом передней, он, очевидно, что-то такое увидал в нем, что всё последующее, имевшее низвергнуться на голову этого сына, осталось невысказанным и только нашло себе выход в отбросе клетчатой туфлей невидимой соринки с линолеума передней.

У себя Вова молниеносно разделся и, всячески стараясь согреть застывшие ноги на широкой холодной, с холодными шишечками кровати, долго смеялся вслух.

2. ЧЕЛОВЕК В ВАЛЕНКАХ

А Слава? Слава — это дело совсем особенное: всё и началось-то ведь именно со Славы.

...Западное, розовое, как клубничный сироп (именно как сироп) солнце теплым оттенком золотится на фигурных занавесах высоких окон Румянцевской читалки. (Как сердится отец, если он по студенческой привычке называет читальный зал Румянцевского музея «Ленинкой»). Лакированные ребра темнокрасных простеночных шкафов убегают в своей методичности в бесконечность. Строй за строем, как некая академическая стража, организуют пространство ряды стандартных, вделанных в столы ламп. Как любит он этот привычный вид, как эти убегающие ряды ламп и шкафов великолепно способствуют нервно-взбудораженным мыслям собраться в некий четкий строй, а черное поле столов имеет способность фокусировать вдруг нахлынувшие, под влиянием чтения, идеи. Нигде не думается так хорошо, как в этом высоком белом зале, с розовато-дымчатым Кремлем в высоких окнах. А запах книг? О, это тоже один из факторов, действенно участвующий в процессе выкристализовывания из первобытного хаоса элементов для

возведения его, Вовиной, постройки, стройной и логически-закругленной. Только бы фундамент не оказался на песке! Сперва, с полудетской бессознательной потребностью бродил он по страницам Куно Фишера и Виндельбанда, выхватывая те идеи, что вкладывались в пустые места его особой внутренней системы, а потом уже шарил дальше, стараясь одолеть авторов, начиная с древних, однако вдруг капризно перекидываясь к началу немецкого 19 века. Он шарил злясь и не находя нужных звеньев, внутренне топорщась на преподносимых ему на его Литфаке материалистов (собственно они-то и явились той отправной точкой, которая заставила его искать противоположных путей: по приказу будьте все материалистами? Так нет же! Вот вам! Не буду!). Злобным фырканьем среди академической тишины читалки он боялся обнаружить, что читает Огюста Конта или Маркса... В Платоне же ему стала раскрываться истина. Платон был исходным пунктом, откуда можно было плыть дальше. Литфак и вся белиберда, которую он, скучая, глотал за изогнутыми аудиторными столами, были для родителей. Его настоящая жизнь была здесь. Но вот уже 8-й месяц Вова охотится за Владимиром Соловьевым. И он всегда на руках. До бешенства можно дойти. Конечно он не «на руках». И делая безразличное лицо Вова продолжает систематически мучить выдавальщиц Владимиром Соловьевым. Кроме «Трех разговоров», которые Вова случайно обнаружил у дяди, ни одной книжки Соловьева он не читал.

И вдруг перед ним, неизвестно откуда, стал появляться молодой человек. Однако значительно старше чем он: вот и залысины курчавых волос, и решительный рот, и умные глаза. Высокие белые валенки удивили раз в его уходящей спине. Драповая куртка, мелькнувшая перед столом выдач, была тоже не Москвошвейная. Особенность его сразу бросалась в глаза. Что-то совсем не похожее на всех этих студентов за читальными столами. Перед ним — на его участке стола — очень толстые тома. Что это за книги? Один раз Вова упустил Платона, забыв возобновить требование, и никак не мог вернуть его снова на свой номер. Платон (в черной шершавой обложке

изд. Сытина) лежал напротив. Ага! Привстав и якобы потянувшись за Шеллингом, Вова стрельнул глазом в другой толстый том, принадлежащий человеку в валенках, и наметанный к печати глаз мгновенно выхватил название, очевидно, главы: «Слово 34-ое. О тех которые живут в приближении к Богу и проводят дни свои в жизни ведения». Что это? Проповеди? В другой раз он уже издали понял, что небольшой толстый томик, лежавший слева под рукавом драповой куртки — было просто Евангелие. Вова бросил чтение и стал пристально смотреть на своего визави. Тот же, под его взглядом, спокойно продолжал читать, справляясь то там, то тут, в разных книгах, заглядывая по временам и в Евангелие. При этом, Вова заметил, листал его очень уверенной рукой. Записывал также что-то в школьную тетрадь. Читал спокойно, нисколько не смущаясь пристального Вовиного взгляда. Только раз вскинул глаза и, увидав Вову, улыбнулся. Очень хорошо улыбнулся. Вова успокоился и с новой какой-то радостью стал продолжать свое чтение. Вскидывая глаза от своих книг в следующие дни и видя перед собой такое нестерпимо-пустое место Вова нервничал и посчитал, что навсегда упустил что-то страшно важное в жизни, хорошенько еще не понимая что именно. Когда же раз, взбегая через три ступеньки по таким выученным во всех деталях мраморным маршам вестибюля, Вова устремил глаза на поднимающиеся перед ним высокие белые валенки, в нем сначала заиграла радость, и только через минуту он понял, что это его визави по читальному столу. Он обогнал его и преградил ему путь уже на площадке, среди холодных белых колонн.

«Вот у вас... вот вы... вы Платона долго держать будете?»

«А вам он тоже нужен?»

Вова до мельчайших подробностей запомнил этот их первый разговор. Улыбка была всё та же.

«Ну в общем да. Хотя я могу и подождать. Вы, гм... критику на Платона пишете?»

«Нет.»

«Изучаете?»

«Да.»

Сколько раз, о, сколько раз Вова представлял себе его на фоне белой колонны, во время этого их знаменательного разговора.

«Почему?»

Черные глаза улыбнулись.

«Вероятно потому самому, почему и вы.»

«Нет!» Вова пропустил группу студентов, сбегающих вниз в раздевалку.

«Вы идеалист?» — шопотом, глядя за колонну.

«Я — верующий человек. Платон предвосхитил многие идеи христианства.» Вова схватил горячей рукой холодный мрамор балюстрады.

«Я знал, о, я давно знал, что вы совсем особенный человек! Вот бы с вами поговорить обо всем. Я, вы знаете, одинок. Только в себе, в себе всё... Я... вы меня не бойтесь. Я — сын профессора Чегодаева, паталогоанатома, если слыхали...»

«Я вас не боюсь. Я вообще **никого** не боюсь.»

«Вы учитесь или преподаете?»

«Ни то и ни другое. Я должен очень много работать. Если вы верно хотите поговорить — приезжайте ко мне. Я живу за городом. Но у вас времени наверное хватает.» На баллюстраде написал адрес и листок дал Вове. Улыбнулся и пошел читать. Кажется это было так, а может быть он дал адрес во время второго разговора, даже наверное во время второго. Тогда же выяснили, что Ростислав читает творения Отцов Церкви.

«Необходимо создавать миросозерцание, основанное на идеализме и внедрять его среди молодежи», лихорадочно нагнетал Вова заветные свои мысли за колонной, выждав пока белый мрамор очистился совершенно от черных фигур.

«Создавать нам нечего. Оно было создано и дано людям в первом веке нашей эры.» (отчужденно, как тогда показалось Вове). «Нам нужно его знать и жить так, как заповедал нам Иисус Христос. Вы в Бога веруете?»

«Ну, ясно, да. Понятие космоса включает в себя Божественное начало, как источник всей творческой энергии. Ведь иначе...»

«А вы в церковь ходите?»

Да. Долго потом, бродя в этот вечер по Волхонке и по прилегающим к ней переулкам, тонущим в светящихся сумерках едва ощутимой весны; глядя на сверкающие, точно омытые звезды через голые деревья тихих садов; задерживаясь взглядом на любимых ампирных арочках особняков, Вова всё время думал об этом разговоре и об этом вопросе. Значит он, Ростислав, и в Бога верует и в церковь ходит. А почему для себя Вова никогда так вопроса не ставил. Почему Бог для него — или холодная торжественная вечность неба или абстрактный ключ к осмыслению устройства вселенной; но Церковь? Он просто никогда не думал об этом. Родители ничего ему не дали в этом отношении. 80-ые годы и медицинский факультет, создававшие отца, сыграли отрицательную роль в этом без сомнения. Они сделали его «никаким» в этом вопросе. Мать — кажется из религиозной семьи, но после революции, следуя, очевидно, за бытом, утеряла всё. И вот поэтому-то Вова и решил в этот вечер окончательно, что поедет к Ростиславу, и затем отправился за Сокольники, и с трудом отыскал красно-бурый дом, а войдя — не нашел там Славы, а был вовлечен в стихию каких-то удивительных девушек, красивых, ужасно милых и особенных, как Слава. Вот как это всё получилось.

3. ИРОЧКА И ПОГИБШИЙ БЕТХОВЕН

К женскому началу Вову тянуло, конечно, очень, но огромная застенчивость на даже мысленном его пути к этим влекущим, но страшным вопросам ставила непреоборимую стену. Несмотря на это, он сразу возвращался на поверхность жизни если где-нибудь в трамвае или же на улице (после блужданий в отвлеченных мирах, когда он спокойно строил гегелев-

ские силлогизмы на толстых вязаных платках каких-то теток или старался логически доказать, что материя не могла сама себя создать, упираясь вполне отсутствующим взглядом в барашковые шапки или фуражки мужчин), он сразу же возвращался на поверхность, если электрический удар от красивого лица мгновенно пронизывал всё его существо. Однако, как часто это бывал только первый сигнал, пока еще не начало работать сознание, которое почти неизменно браковало все эти «красивые» лица по одному неумолимому признаку. Едва лишь заклейменное сознанием, как вульгарное, лицо это тотчас теряло свое электрическое действие и тотчас же пропадало, как небывшее, в общей серой протоплазме трамвая или улицы. Осознанная вульгарность насмерть убивала иной раз и бурно вздымавшиеся волны пола, поселяя в высших сферах души неудовлетворенность собой. Иногда, хотя и как-то неясно, Вова задумывался над возможностью чего-то настоящего в этой сфере для себя (но только совсем, совсем другого, чем то, что он видел между отцом и матерью), но мысли его при этом были вполне мрачны и безнадежны.

Случилось как-то раз, что к родителям пришли их старые друзья, с которыми, по неизвестным Вове причинам, был долгий перерыв в знакомстве. Толстый, красно-веселый зубной врач, Павел Иванович, непрерывно что-то говорил, со смаком рассказывал последние антисоветские анекдоты, сам первый хохотал и был прост и уютен. Жену его Вова вовсе не заметил, а вот их дочка, Ирочка, к которой Вову в детстве возили играть и о которой в памяти остались огромный бант, пылью пахнущие куклы в детских колясках и непрерывный тоненький разговор о всякой скучной всячине. Ирочка эта теперь, как огнем опалила Вову. Совершенно невероятно-хорошеньким существом с золотыми стрижеными волосами оказалась Ирочка теперь.

«Вы помните меня, Вовочка? Помните, как мы с вами в папу-маму играли? Не бойтесь, больше не буду вас заставлять в папу-маму играть. Вы учитесь! Где?» тараторила она всё так же, но, честное слово, это как-то гораздо привлека-

тельнее получалось теперь. Они сидели рядом за чайным столом и, водя черенком серебряной ложки по синим клеткам скатерти, Ирочка объясняла ему, какие существуют отделения в той театральной школе, где она учится и кто ведет импровизацию и кто читает режиссуру, а кто — костюм. Вова рассеянно слушал, не сводя глаз с белокурой Ирочкиной головки. Бледно-фиолетовый камешек на тоненькой золотой цепочке уютно устроился в складках ее белой блузки, а золотая цепочка, мягко изгибаясь лежала на ее смуглой шее, на которой (Вова даже зажмурился, обнаружив это обстоятельство), на которой рос белый пушок. Вове было всё равно, кто читает костюм, но ему очень-очень, прямо-таки ужасно хотелось поцеловать эту шейку с золотой цепочкой и этими... ну этими... волосиками.

Вот поэтому-то они и оказались на следующей неделе вместе на симфоническом концерте (впрочем инициатива принадлежала всё-таки Ирочке). Вова очень любил бывать в Большом Зале. Бывал всегда один. Мир музыки и именно в ее симфоническом аспекте чрезвычайно тянул и завлекал. Музыка (которую он слушал и воспринимал только в сфере ее чисто-музыкальной стихии) порождала в нем потом много крепких ясных мыслей, чрезвычайно содействовала приведению в порядок прочитанного, а иногда просто вынуждала его писать стихи. Поэтом Вова себя не считал (да и кто бы стал печатать его стихи, такие чуждые советской жизни?), но нагромождения душевных состояний искали выхода и стихи часто писались сами собой. Оглядывая до мелочей знакомый строй композиторов в рамах по сторонам и радостно воспринимая гул постепенно наполнявшегося, прохладного еще зала, Вова вновь ощутил это всё преддверием, очищающим и оголяющим клавиши его собственной души для встречи звуков «оттуда» и, думая об этом, он как-то не сразу воспринял Ирочку, махавшую ему и что-то уже говорившую. Ее вид в узком черном платье с большими шахматными квадратами на груди поразил его. Она была высокая, почти как Вова, а носик был как-то очень приятно срезан. Это всё заставило Вову сразу

взволноваться и потому замолчать и задуматься. Как в глубокий колодец к нему падала, рассыпаясь, Ирочкина болтовня и о крашеной бороде Немировича, и его «опять» новой даме (сидят в первом ряду), и о необычайном шарме Берсенева, который вот только что вошел в зал и который сейчас главный режиссер МХАТ-а Второго (вы знаете?), и о сидящем в третьем ряду писателе Юрии Олеше (слыхали? — восходящая звезда), и о толстом драматурге Театра Революции (вот только не могу вспомнить фамилии), что разговаривает в проходе с лошадеобразной дамой, и о необычайно элегантном туалете Мансуровой, и еще, и еще... Вова крепко прижимался к спинке кресла и даже зажмуривал глаза, чтобы как-нибудь выключить весь этот совершенно ненужный ему фактический материал, так мешавший ему глядеть на Ирочку, но в ушах досадно трещали все эти фамилии московского артистического мира, абсолютно чуждые Вове. Но он был освобожден лишь только после того, как темно-фрачная фигура на постаменте сухеньким звуком постучала о пюпитр.

Хлынули звуки — сразу много, огромные, всё шире и шире, так прочно, квадратно, одно в другое, одно в другое. Ими повелевал сам Бетховен, искусно борясь с разыгрывающимися музыкальными страстями, умело сдерживая и организуя по инструментам весь напор своей музыкальной стихии. Завоевавшая право на бытие и окончательно утвердившая себя тема вдруг соскользнула в другую тональность (что доставило истинное наслаждение), но не осталась в ней, а, сменив еще несколько плоскостей, стала сама ломать свой ритм, концом своим уходя в какое-то другое начало, что дало новый взгляд на нее, нет уже не на нее, а на совсем — та-та-та — новую фразу, что вошла как-то сбоку и поглотила ту, первую, нет еще не совсем — тара-ра-ра-ра — та появилась снова и хочет опять утвердить себя, но, нет, не может, уже не может... Вдруг всё сломалось и заструилось по незримой лестнице вниз, а потом снизу начало вновь восхождение резкими углами, всё выше, всё выше и конечно должно завершиться непременным торжеством, потому что все звуки стремились, да, еще, еще

стремятся и сейчас вот достигнут цели и... вдруг в его ухо, вместе с волной благоухания (может и приятного, но совсем ненужного Бетховену) ворвался Ирочкин озабоченный шопот:

«В ложе налево — бывшая жена Горького. Видите? Она теперь...»

Вова резко дернулся вбок, так и не узнав, что теперь делает бывшая жена Горького. Ему захотелось убежать. Он долго не мог себя заставить снова войти в свой нарушенный мир музыки и, с хрустом комкая афишу в кулаке и беспомощно озираясь, нервно ерзал по скрипящему креслу. Дама рядом с ним зашикала на него, возмущенно поводя плечами, а Вова удивленно уставился на нее, даже и не подозревая, что он сам является причиной ее гнева. Ему ведь самому было плохо. Наконец, повернувшись к Ирочке почти спиной, потому что она продолжала делать ему какие-то таинственные и многозначительные знаки глазами и губами, относящиеся, очевидно, опять же к вновь обнаруженным в зале знаменитостям, он кое-как потащился снова вслед за Бетховеном и в конце концов преуспел даже настолько, что не без удовольствия помогал ему в финале бросать торжествующие музыкальные удары, еще и еще; еще-еще-еще и раз — еще! И да, и да, и да, дааааа... Сухим треском из зала покрыто было это последнее, окончательно восторжествовавшее «да».

Антракт, во время которого они бродили вместе с движущимися спинами по белому фойе, где в уютных простенках и в окнах с низкими подоконниками всё еще дрожали яростные звуки Бетховенского финала, антракт ушел на то, что Ирочка стала очень даже неприятно дразнить его, выискав в нем какую-то действительно болезненную точку и назвав ее «невероятной немужественностью и чудовищной наивностью». Вова замолчал совсем. Тогда он оказался «скучным, не умеющим занять даму».

«Даму? Какую даму?» напряженно и безнадежно думал Вова, совсем сбитый с обычного своего течения мыслей. А Ирочка всё болтала и болтала, кивая кому-то в плывущей

толпе, беря Вову под-руку и громко говорила при этом, как бы Вове: «Театр для меня — это всё!»

Второе отделение, состоящее из Вагнера, Вова отсидел в сильно дурном настроении и музыки почти не слушал. Он выскочил из зала раньше времени, чтобы вне очереди получить их пальто в ледяном вестибюле, а когда с хлынувшей толпой их выплеснуло во двор консерватории с высоким звездным небом, он как-то заспешил, кажется даже не простился с Ириной и быстро зашагал вверх по Никитской, глубоко засунув руки в карманы.

Долго потом корили его дома за то, что он не проводил ее домой; но дело в том, что она портила весь его душевный уклад.

Другого опыта с женщинами у него не было.

4. СЛАВА ДОМА

...Сокольники — сквозные дали парка,
И из-под снега прошлогодний лист;
А в лужах брызги солнца.....
....брызги...

Ярко... Глазам больно от нестерпимого солнца, хлынувшего и затопившего огромные рыжие лужи на всех подступах к Карбюзье. Сразу с подножки (на которой он провисел весь путь через Сокольники, одним только пальцем держась за поручень, распахнув пальто и душу весне и пользуясь шумом трамвая пел во все голосовые связки все свои прошлые и вновь возникающие стихи), сразу с подножки, еще на ходу трамвая, Вова ухнул в бурое месиво и сейчас же нахлебал полные калоши ледяной воды с кусками раскисшего снега. «Нда, тут не спутаешь, что весна», подумал Вова, выискивая хоть какой-нибудь сухой клочек земли, но поняв, что это безнадежно побрел «целиком». Нежная чистота воздуха (после одуряющего удара калошной массы перед мостом) ощущалась особенно сильно и не теряла своей новизны во всё время пока он шел. Свернув с главной улицы на «Клару Цеткин», коварно покрытую чистейшим, белейшим снегом, он с каждым шагом

ухал в снежную жижу, оставляя за собой громадные черные следы. Через небо над улицей пролетела стая галок.

...Кружась летали галки стаями,
Снега темнели, никли, таяли...

Небо было особенно заманчиво над горизонтом, где оно теряло свою кобальтовую и уж очень простенькую синьку и становилось не по-русски нежно лазурным. Проплывая по снежно-ледяной воде мимо палисадника с березой он увидел то же кобальтовое небо с нарванными клоками облаков через спутанные сучья. Мгновенно кольнуло одно его обычное воспоминание, сокровенно-любимое, но сопутствуемое всегда острой болью. Вдруг (о чудо!), стоило ему только подумать куда и зачем он идет, боль исчезла. Он повторил явление (в виде эксперимента), вызвав вновь через сучья знакомое состояние и тут же потушил его боль тупичковым ощущением.

От каркнувшей вороны резко ощутилась тишина, до краев налитая в этот день в набухший от снежной воды и солнца поселок.

Брел и думал: «Сейчас проглянет кусок красного дома (дом этот он изучил во всех деталях, когда, после вечера с тюрбаном, лётом санок на «Швейцарских» горах и лунных Сокольников, тайно являлся сюда и из разных улиц и точек зрения воспринимал и изучал его; приехать сразу «в дом» — не мог решиться). Затаившийся между другими крышами и заборами кусок будет так непохож ни на один из домов вокруг. Прежде всего в этом красно-буром куске дома есть особое качество — мгновенно пронзать тончайшей иглой самую сердцевину сердца. Не больно, нет; но при этом, как на трамплине подскочит вверх всё то, что сейчас находится в самых недрах и будет там держаться в очень неустойчивом равновесии всё время до момента, когда он войдет в обратный трамвай у затонувшего в весенних лужах «Карбюзье». Только тогда осядут эти вздыбленные пласты, обнажив на своем прежнем месте пустоту и смутное неуверенное состояние. И это будет его, Вовина, усталость. И будет особенно приятно тогда, со всё

повышающейся хроматической гаммой трамвайного и душевного звука и с резкими толчками вагона из бока в бок, быстро нестись среди черных Сокольников.

Кроме того, у тупикового дома есть свое выражение лица. Он уже знает Вову и смотрит на него, как старый верный друг. Даже улыбается и говорит: «А вот и я-я-я!» Его можно узнать из тысячи других поселковых домишек по этому дружескому надежному и как-будто по какой-то другой жизни знакомому выражению».

Совершенно промочив ноги Вова завернул в знакомый тупик, задерживая рукой под пальто сильно бьющееся сердце. И тут он неожиданно увидел самого Славу, сидящего на корточках в раскрытой половинке наружной двери. Слава чинил дверной замок и весело приветствовал Вову. Успокоившись сразу Вова с удовольствием пожал большую сильную руку и присел на мокрые ступеньки, чтоб быть на одном уровне со Славиным лицом. С крыши громко капало, прямо-таки шлепало в выбитый уже капелью ровик на снегу. С сомнением поднимая лапки медленно и беззвучно продвигался по забору пятнистый кот...

«Вот видишь — старый разболтался совсем — ставлю новый. — Книги — я тебе — уже давно — приготовил. — Что не приходил — долго — лекции?» из-под ударов стамески мелкая щепка летела Славе на грудь. Вова внимательно следил за Славиными ловкими белыми руками.

«Я — скоро кончу — здесь — и у меня будет — более — спокойная работа — и мы сможем — поговорить... Чудная погода — нынче — а мне еще — к фининспектору — тащиться — лекций не было?»

«К счастью утренний профессор заболел, а вечером еще две: одна — ничего еще, общее языкознание; а вот другая — труба — марксизм...»

«Н-да, не важно. А вот я вчера читал одну штучку...» Слава прилаживает новый замок в проделанную им щель (Вова никогда не задумывался о том, что такое замок — увидал

сейчас впервые в Славиных руках). Красивое Славино лицо с очень веселыми глазами обернулось к Вове.

«Замечательно один наш русский старец-затворник говорить о трех координатах духовной жизни». Замок вынут — не входит полностью — и стамеска снова свирепо врезывается и крошит дерево.

«Он называет», — Слава остановился и стамеской отсчитывает мысли старца на воздухе: «страх Божий — т. е. признание высшей доминирующей и благой силы в мире, соотносительность своего с этим поведения и трепет перед высшей святостью; совесть — т. е. голос Ангела Хранителя, приставленного к каждому человеку, призывающий к постоянному покаянию и смирению; и третья — жажда Бога. Эта последняя координата расшифровывается им, как неудовлетворенность «низким», т. е. душевным миром и стремление или парение души к высшим, непреходящим ценностям...» — теперь замок до конца входит в выдолбленную щель, Слава вкручивает винты, быстро меняя инструменты, встает, щелкает ключом, пробует, захлопнув другую половинку. Хорошо. Готово.

«А что святые отцы понимают под душевным миром — эмпирический?» спрашивает Вова, щурясь на серые, водой набухшие доски крылечка.

«И эмпирический. Различают три состава души: телесный, душевный и духовный». Славины ловкие руки быстро собирают раскиданные инструменты. «К первому относится вся физиология; к душевному — вся внутренняя жизнь человека, включая и умственную, которая стоит вне Божественного плана; а к духовному — взаимоотношения человека с Богом, т. е. накопление духовных ценностей, ставящих человека на путь Богообщения. Идем теперь в дом».

«А под духовными ценностями что они понимают?». Вова встает и подает Славе откатившуюся отвертку.

«Духовные подвиги, молитва, покаяние, любовь к Богу и, главное, конечно смирение. Смирение — это такая, брат, штука, что ты и представить себе не можешь. У-у-у, да у тебя,

брат, ноги совсем мокрые! Сядь-ка вот тут на сундучке, а я тебе сейчас валенки.»

«Интересно — он говорит о действенном накоплении духовных, нравственных ценностей, ведущих в дальнейшем к Богопознанию. А не только умозрительных идей, из которых логически выводится понятие Бога. А как здесь, в доме, удивительно пахнет: чем-то круглым, чистым, завершенным», думал Вова, машинально расшнуровывая башмаки на сундучке в передней. «Тупичок это чудо, это тоже духовная ценность...»

Потом, в Славиных валенках, на тахте (на той же самой) Вова складывает у себя на коленях всё растущую стопочку книг.

«Начни с этого», — Слава уперся коленом в тахту. Брал книги с самодельной полки над ней. «Это называется «Что есть духовная жизнь?» Эта книга введет тебя в круг необходимых понятий и поставит твою мысль на правильный православный путь. Есть у тебя Евангелие? Это, конечно, самое главное — вот возьми — читать нужно каждый день и всегда будешь находить новое и бесконечно премудрое. Нет, нет, со святыми Отцами погоди, а вот что очень важно — это жития святых. Совсем не знаешь русских святых? А о Сергии Радонежском слыхал? Что? У Ключевского? Да, тоже хорошо. Ну, а про Серафима Саровского ничего не знаешь? А ведь это почти что наш современник... Русскую историю невозможно без наших святых изучать, она же пронизана ими...»

А Слава уже за большим столом — загибает и разгибает клещами какие то проволочные крючки.

«Не удивляйся. Это наше производство. Мы ведь — лишенцы. Лишены права голоса (усмешка), потому, будто бы, что у отца до революции свое дело было; ну а на самом деле... ну да что говорить. Одним словом — на службу не принимают, учиться не дают. А жить надо. Ну вот — куклы. Хорошо еще не так далеко от города жить можем. А то засунули бы в какую-нибудь дыру без церкви. Труба была бы...»

Ценность Москвы из-за необходимости церкви представилась Вове впервые, а в переводе на себя мысль эта, к удивле-

нию, обнаружила какие-то полностью пустовавшие до сих пор участки сознания. А лишенцы? Прежде это слово было совершенно не нужно. Касаясь слуха звуками «лише...» вызывало только довольно нелепую ассоциацию с лешими. Так вот что значит слово «лишенцы» на самом деле! Сознание мгновенно переработало звучание этого слова, услужливо окрасив его теперь наводняющим избытком тупичковой прелести. Всё здешнее: девушки, куклы, громкая капель, кот на заборе, Слава, его книжки, и всё вообще могучее излучение красного тупикового дома сразу самальгамировалось с этим желтовато-зеленоватым словом «лишенцы». И как неповторимо-ново и мило начало оно звучать теперь и очевидно навсегда. Каким тёплым уютом залегло оно в сокровенные Вовины глубины. Точно всё его прерывающее дыхание, любование тупичковым началом нашло, наконец, свое звуковое выражение. Как странно, что еще вчера, думал Вова, еще сегодня я не знал, как это всё замечательное называется, я не знал, что это все — «лишенцы». Как однако он ловко расправляется со всеми этими крючками. Вова не в силах был оторвать глаз от Славиных крепко и быстро действующих рук.

«Для того, чтобы подойти к пониманию Божественного нужна простота и чистота (Брось-ка мне вон тот моток проволоки!). Знаешь какие были у нас святые? Вот Павел Обнорский, например: в дупле дерева, в лесу жил. Представляешь? Зимой? Без хлеба даже... В дремучих Вологодских лесах. Со всяким зверьем. Но звери его не трогали. «Звери дивии, от благодати Божия живущие, ничесоже ти скорбно показующе». Почему? Переборол в себе все страсти — был чист и прост. А звери ведь это понимают. Отношение зверей здесь, знаешь, как лакмусовая бумажка. Чувствуешь? Старец Амвросий из Оптиной Пустыни (а о ней мы с тобой отдельно потолкуем) говаривал: «Где просто — там Ангелов со сто, а где мудрено — там ни одного.» А вот св. Павел мог выдерживать стужу, мог жить почти без еды, углубляясь только лишь в Богомыслие. Получал помощь Духа Святого и обрел дар прозрения. Понимаешь, как «деланье ради Бога» — суровые

подвиги аскета — получают помощь из духовной сферы и некое знамение оттуда, ввиде преодоления обычных психофизиологических законов: «Бог иде же хощет побеждает естества чин: творит бо елика хощет.» Извини пойду на кухню — огонь нужен.»

В дверь заглянуло милое лицо под прямым пробором (знакомое Вове еще по тому, тюрбанно-лунному вечеру). Улыбка, открывающая верхние десны, не делала это лицо менее милым.

«Я ваши ботинки на печку поставила сушиться. Когда соберетесь уезжать — меня спросите. Я — Аня.» И скрылось.

Вове очень хотелось и ее и Славу спросить «а где же Настя?», но он не спросил, а продолжал листать книги на тахте.

«Запиши кое-какие книги, которые сможешь достать в читалке,» вернулся Слава, неся что-то зажатое в щипцах. Вова тут рассказал ему что никак не может добиться Владимира Соловьева. Слава посмотрел на него очень серьезно.

«Ты и «Три разговора» не читал?»

«Читал.»

«Ну и хорошо. Ну и не читай пока ничего другого. Потом, когда окрепнешь мыслью и сможешь сам критически подойти к нему — тогда читай.» Вова внутренне удивился.

Продолжал молча слушать, записывать, опять слушать, переходя теперь вместе со Славой за развивающейся его мыслью то на холодную галлерейку, то к дверям кухни, то возвращался снова на тахту.

Раз их прервала вошедшая, кажется, Верочка.

«Слава, повезешь завтра на почтамт посылку Владыке? Мы уже всё приготовили — и продукты набраны и теплые носки связаны.»

«Если успею. Завтра же этих... ну как их... Морозовых выселяют. Надо же помочь им с вещами. Одно же бабье там...»

«Ах, да, да... Так значит ничего и не вышло из апелляции, что ты тогда им составлял?»

«Какой там! Рады, что хоть сами целы уйти могут. Ведь муж Оли сослан без права переписки.»

«Да, да. Ясно. Если ты не сможешь, то, я думаю, Настя с Катей вместе дотащат посылку».

«Да. Это будет лучше. Необходимо, чтобы Владыка к празднику ее получил.»

От слова «Настя» Вова вздрогнул и еще глубже ушел в книги, совершенно веря в то, что мысленное погружение в них делает его невидимым. Готовое сорваться — я могу помочь — не реализовалось поэтому же самому и как-то кособоко повисло внутри и долго потом мешало и осознавалось, как нескопленная им «духовная ценность.»

Когда он, переобутый уже в свое, готовился уходить, договаривая со Славой в прихожей (в той самой где впервые возник тюрбан), договаривая последнее и очень важное о едином Божественном акте, создавшем мир (что совершенно не противоречит научным данным), входная дверь вдруг открылась, внося волну душистой снежной голубизны, а в ней (как будто нарочно, как будто именно для него) — обе в одинаковых темно-красных шубках — Настя и Катя, с такими румяными щеками, с такими блестящими глазами, что трудно было поверить, что вообще такое в жизни бывает... Казалось, розовый пар шел от их щек, а в глазах они принесли с собой весь этот мокрый, голубой, сверкающий день.

Вова был ошеломлен. Заволновался с калошами, повернувшись к ним спиной. Потом рванулся к выходной двери и тут-то ребро откуда-то взявшегося шкафа больно ударило ему в плечо и он вспомнил, что слишком рано надел шапку, попробовал снять, запутался в дверях и, наконец, боком без шапки выскочил на крыльцо весь взмокший от мгновенного, но, ах, какого пронзительного волнения... И ему послышалось (а может показалось? Да, наверное, показалось), что в дверную щель за ним вылетело: «Да куда же вы?»

5. ВОВИНА ВЕСНА

Эту весну (после «открытия» Песчаного тупика) Вова переживал особенно остро, но и совсем по-новому. Изменились

его обычные одинокие выходы по вечерам после лекций, когда он, сокращая путь, нырял в «преисподнюю» (подземный ход, ведущий от колонно-ампирного, так любимого им, Казаковского фасада на другую его сторону) и после мрачной темноты, как некий Гадес, появлялся снова на поверхности бытия в прилегающем соседном дворике. Несмотря на присутствие в сознании жуткой «анатомички», находившейся где-то справа, Вова любил этот дворик и любил замирать в нем, чтобы с новой силой ощутить льнущие в углы двора сизые сумерки и вглядываться в тонкие весенние прутья в небе от кучки деревьев посередине. В этих прутьях путались яркие мокрые звезды и, с нежным лабораторным запахом, легенды о первых трудных приват-доцентских годах отца, проведенных им в сводчатых подвалах Университета. Над физико-математическим корпусом напротив светилось, как елочная фольга, феерическое «университетское» небо. О, это светящееся небо, как было оно полно таинственных и душу раздирающих по своей неизвестной прелести обещаний. Столько уже раз и подолгу глядел в него Вова из четырехугольника университетского дворика. Он так любил стоять здесь, среди мокрых, капающих, движущихся весенних сумерек, прислонившись плечом к большому сугробу и уставившись в это прозрачно-синее, со спутанными в нем сучьями, фольговое небо, и это его созерцание вызывало даже спазмы где-то внизу ребер. Он подолгу стоял так, делаясь душевно всё тоньше и прозрачней, постепенно теряя себя и переливаясь в это небо, и в звезды, и в капель, и в сумерки... пока наконец какая-нибудь «рожа», вынырнувшая из той же «преисподней», не крикнет, оглянувшись на быстром ходу: «Эй, Чегодай! Еще ворон посчитай! Или ты на свиданье с «трупиками» пришел? А на актив не ходишь?»

И, как подтаявший снежный пласт, что-то рухнет сразу в душе и унылое болезненное месиво заполнит всё внутри и тогда почти уже невозможно вернуться к синему светящемуся небу, и оно становится даже страшным в своей неумолимой бесконечности...

Но теперь, когда это самое небо сошло к нему и исполнило то громадное, что обещало вот уже столько лет, теперь уже и «рожи», вырывающиеся из «преисподней», не могли так легко сломить его, Вовину, весну. Правда, та тончайшая и горьковатая прелесть неизвестности, что придавала его прежним веснам остро-мучительное наслаждение куда-то исчезла и не поддавалась больше восстановлению. Теперь и синее прозрачное небо над физико-математическим корпусом и даже высокая белая луна в нем, что своим серебряным холодком пробегала вдоль хребта, даже и она — не так влекла; но и не так уж мучила. Ветки деревьев в университетском садике (да и во всех прочих садах) не вызывали больше знакомого, до спазмы сильного ассоциативного толчка, бросавшего Вову в совершенно вымышленный особнячок 40-ых годов, куда в низкие окна мезонина, вместе с ударами белого солнца, врывались красные гладкие прутья берез и где, в сказочно-невыразимом уюте низких потолков и изогнутых кресел велись горячие нескончаемые споры его любимых (но, ах, как в недрах души скрываемо-любимых) славянофилов. Эта мысленная картина владела им так сильно (не сам ли он там сидел за круглым столом среди иных прочих?), что бродя потом по мокрым тротуарам с грязными сугробами по краям, Вова часто путал и долгое время не знал, где же реальность. Зеленовато-рыжие сверху, а изнутри подтаивающие сугробы в глубоко-теневых до дрожи переулках Никитской часто считал за нудное, снящееся. И только быстро-текущий ручеек в трамвайной рельсе или взрыв весеннего солнца на стекле пролетающего автомобиля могли своей, весь организм потрясающей, реальностью вновь упорядочить сместившиеся плоскости.

Вымышленный особнячок с мезонином не исчез, однако, совсем (не мог исчезнуть, т. к. являлся некиим символом одновременно), но возникая иногда даже и среди усыпляющего мямления лектора по диамату, не возбуждал уже больше остротой своей невозможной реальности прежней ничем неутолимой боли.

Итак, эта весна была совсем особенная. Он много бродил по улицам, насыщенным рывками сырых ветров, крадя сам у себя эти часы от чтения. Там, в возникающих к вечеру туманах, которые так фантастически меняли весь город, он передумывал заново Славины удивительные слова о глубочайшей мистической тайне распятого за нас Божьего Сына, о причастности людей через Святые Тайны (тайны!) к этому чуду, о мистическом соучастии человека в Божественном цикле... Останавливался иногда, тупо глядя на шелестящие в сырых парах Москва-реки, фиолетовые от электрических фонарей рваные льдинки и, борясь с сильными ударами ветра, рвущими шапку с головы и с пуговиц пальто, старался с неимоверным (как ему казалось) напряжением ума и воли дойти до настоящего понимания этих высоких вещей, но сознавал, вдруг ослабев (опять же Славины слова прорезали сознание), что умом нельзя постичь непостижимое, что нужна долгая и упорная подготовка молитвой (некая тренировка в мистическом общении с Богом), а для этого — смирение своей ежедневной, ежечасной гордыни, полное «отрешение самостного себя» и моление этого «малого» человека о Божественной помощи. Осознав всё это ясно, вдруг начинал смеяться и спешил как будто бесцельно дальше, хотя на самом деле эти его странствия по весенней Москве были наполнены для него самым важным, самым острым содержанием. О Насте из Песчаного тупичка конкретно и отдельно он никогда не думал. Но тот факт, что она существовала там, за высокими соснами Сокольнического парка, весь ее тихий Перуджиновский облик, неразделимо сросшийся со всем ее окружением, это как-раз и вносило уравновешенность в сложные Вовины взаимоотношения с жизнью. Опираясь на ее существование там, в тупичке, в нем выростало какое-то новое крепкое начало, которое помогало отражать все язвящие стрелы внешней жизни и сводить концы с концами в глубинах сознания.

После утренних лекций, вместо того чтобы идти обедать домой, отправлялся бродить по Александровскому саду. Нагнувшись разглядывал, как по гребням таявших сугробов снег

покрывается черными зигзагами, ощущал, как через зимний, свежий, всё нивелирующий запах снега прохватывает ветерок с новым нарастающим в нем привлекательным духом мокрой земли. Потом обнаруживал себя сидящим на утонувшей в ледяных сугробах скамье, с далеко вперед выброшенными длинными своими ногами в калошах.

...У Москвы особый запах свой,
У ее весны особый профиль:
Запах почки, снега, мостовой.
А дворы во власти снежной топи...

Нежился на уже греющем солнце с явным удовольствием наблюдая, как квадратный малыш с несгибающимися от ватной шубы руками безнадежно пытается, выпятив губы, подхватить на желтую лопатку раскисшую на солнце землю. И нежно-греющее солнце и малыш с лопаткой нравились своей крайней элементарностью. Начинал всё больше понимать кроющуюся в простых вещах могучую силу.

Чтобы ярче и крепче пережить свою весну отправился в Третьяковскую Галлерею, что любил делать с детства.

...Москва-река проносит лед,
Она погоду перепутала.
Прохладно. А с карнизов льет
И снег соскальзывает с купола...

Затихшие в белых сугробах Замоскворецкие переулки, с частыми березами во дворах, снова удивили своей глубокорусской и намного отставшей от века (индустриального, большевистского) провинциальностью. Здесь было больше зимы, чем в остальном городе, словно и климат был здесь совсем другой. Черные птицы на белых мостовых выглядели совсем по-зимнему, по-старому, как в раннем-раннем его детстве.

Смотрел Вова картины только ранней весны. Долго щурился на «Грачи прилетели», делая этот серенький весенний денек началом, открытием своей особой весны. В этой простой, как-бы незаметной картине, было сопряжено столько всего:

это и первые шаги по книгам, с набухшим от насморка носом, среди запахов свежеразорванной клеенки, скипидара и кипяченого молока; это — острый интерес к буквам и долгое, с первобытным любопытством рассматривание гнездовых наростов на березах. Потом — это возвещение весны, это сигнал, это обещание огромных радостей в будущем. Динамика самого названия всегда по-весеннему волновала Вову. Весь этот комплекс ощущений шел от него обратно в картину и создавал просто родственную связь с ней. Ее можно было любить, как милого, с детства привычного дедушку.

Для ощущения ударов весеннего солнца и весеннего света полагалось впитывать в себя роскошные синие тени и розоватый отблеск на снегу, наезженном и натоптанном, в Левитановском «Марте» и «Февральской лазури» Грабаря. «Каплет, непременно каплет. И тут и там,» думал Вова. «Как радостно и ярко утверждено в этих картинах явление весны». Когда стоял перед раскрытым в голый, серо-лиловый сад окном Жуковского с подснежниками на подоконнике, то ясно слышал холодноватый запах прелой листвы на отмякшей земле. А вот подснежники? Пахнут ли они и чем? Вова серьезно приблизил нос к картине и, засмеявшись, глубоко вдохнул праздничный запах масла и грунтованного холста. Но, всё равно, хотелось поскорее закрыть окно Жуковского, т. к. весенняя сырость уже бегала мурашками по спине; закрыть и пойти погреться у веселой голландской печки, потрескивающей где-нибудь в углу той же гостиной...

«А здесь, товарищи,» прорезал Вовин мозг резкий крикливый голос, и когда прошаркала целая махина ног: «а здесь, товарищи, вы видите, как в эпоху пробуждения классового самосознания масс и нарождающегося пролетариата, как мы с вами уже говорили, товарищи, классовый враг еще крепко гнездится в своих, так называемых, дворянских гнездах...» Вова рванулся вбок и плечом пробивая себе дорогу в окружавшем его кольце людей, вылетел из зала. Пронзительная лазурь неба (на картине в другом зале, куда спасся Вова) — над лиловатой кучей голого еще кустарника и эта же лазурь, налитая

в глубоко-разъезженной колее, восстановили его душевное равновесие. А вот в «Ледоходе на Волге», в этих бешеных мохнатых мазках цветного масла дул такой жгучий ветер с огромной реки с шевелящимся льдом, так яростно светило солнце, что в ответ на эту разыгравшуюся стихию взвихриваются и все Вовины эмоции. Хочется ворваться в тот зал, где извергается такое убожество мысли и одним выкриком остановить этот поток торжествующей пошлости... Нет, решил он вдруг, недостойно так соскальзывать из моей идеальной плоскости в быт и опошлять мое собственное, такое неповторимое этой весной, восприятие искусства. Вова успокаивается и продолжает свой весенний смотр.

Долго, до самого звонка, бродил Вова от картины к картине, вдыхая и обдумывая свою Третьяковскую весну. Вполне насытившись и умиротворившись, вышел в заснеженный Лаврушенский переулок, где уже бегал от фонаря к фонарю человечек с лесенкой, зажигая их зеленые таинственные огни. Но было еще светло и сумерки ощущались только по слишком явной белизне снега и березовых стволов в саду напротив. Под ногами похрустывали ледышки и не хотелось выходить на черные, разъезженные улицы из «Блоковского» уюта зеленых фонарей —

...Зеленоватый нежный свет
На лиловеющем сугробе.
В весеннем и сыром ознобе
Стволы берез...

Не хотелось нарушать таинственного состояния души, до краев напитанной весной масляных красок.

Дома, проглотив наскоро в кухне заждавшийся его обед вместе с материнскими взволнованными словами о возможности простуды и болезни, если «без еды и в расстегнутом пальто бегать весь день по улицам» (ах, как далек стал он

от матери!), Вова пошел к себе. Сел, тихий и томный от сладкой ломоты во всем теле, весь пропитанный свежестью воздуха, с ровно горящими щеками и таким же ровным пламенем где-то глубоко внутри. Взял с полки знакомый обшарпанный томик Толстого. Думал: «Надо дать последнее завершение этой моей весне,» и стал читать: «Весна долго не открывалась. Последние недели поста стояла ясная морозная погода. Днем таяло на солнце, а ночью доходило до семи градусов...» и дальше: «Потом вдруг на второй день Святой понесло теплым ветром, надвинулись тучи, и три дня и три ночи лил бурный и теплый дождь. В четверг ветер затих и надвинулся серый туман, как-бы скрывая тайны совершавшихся в природе перемен.» Вот это место, эти «тайны» Вова особенно любил: «В тумане полились воды, затрещали и сдвинулись льдины, быстрее двинулись мутные, вспенившиеся потоки...» (Это же настоящая музыка, симфония слов и смысла!) «...и на самую Красную Горку, с вечера разорвался туман, тучи разбежались барашками, прояснело, и открылась настоящая весна.» Вова вспомнил, что всегда эта последняя строчка, этот гремящий мажорный аккорд вызывал в нем торжество радостного успокоения. Делал его самого легким, светлым, готовым лететь к неизвестным блаженным берегам.

6. ТУПИЧКОВЫЕ

Красный дом в тупичке всё чаще и чаще встречал Вову и высылал ему свой особый (ни в чем не сравнимый по уюту и дрожавшему в нем от насыщенной переполненности счастью) приветливый кивок; он высылал ему этот свой кивок еще далеко вперед на «Клару Цеткин». Тупичок и дом в нем Вова давно уже приобрел в свое полное владение и хранил в самом надежном и заветном месте — на дне души.

Теперь, как ему казалось, он уже окончательно разобрался в тупичковых обитателях. Слава (хотя это выглядело довольно неправдоподобно) был старшим сыном плохо-двигающегося, плохо-говорящего и какого-то нездешнего «па-

почки». Вокруг «папочкиной» головы серебрился мягкий прозрачный пух, а голубые глаза его глядели как-то странно. Даже не то обстоятельство, что черноглазый темноволосый и могучий физически Слава казался сделанным из другого материала, удивляло Вову, а то, что своим частым и очень нежным поцелуем в серебристое «папочкино» темя Слава устанавливал обратную зависимость с отцом, отечески похлопывая его худую спину. А старик, с трудом вышептывая одно только слово «Шлавка», казалось, только на это и надеялся и только этого и ждал. Ко всему остальному он был вполне равнодушен.

Кроме того, Слава был братом трех сестер, из которых Катя была самая младшая, а Настя — средняя. Аня (с прямым пробором) не была их сестрой, как он поначалу подумал, а оказалась Славиной невестой. Совсем без боли это известие Вова не принял, и только то, что это была «тупичковая» Аня и лучилась вся теплом и лаской, примирило его с этой неожиданностью. Жила она за пределами «тупичкового» рая, но где-то поблизости и всё свободное от работы время проводила в тупичке, купаясь в его флюидах. Ваня, юно-румяный и белобрысый завсегдатай тупичка, был приятель девочек и Катин рыцарь. Когда Вани не оказывалось в тупичке, тупичковый дом явно хромал на одну ногу.

Поприглядевшись ко всем ним Вова обнаружил, что старшая сестра, Верочка, была уже «старая» (ей оказалось 27 лет) и находилась по преимуществу в очаговых недрах. На пути к ее очень ощутительному материнскому излучению в комнатах вставали бесконечные, к небу устремленные стопки белья, тазы картошки и груды тарелок, державшие ее и ее материнство в плену у очага. Про Катю Вова установил следующее: Катя очень много и громко смеялась, играла на гитаре, очень любила кроссворты и игру «Вверх и вниз». Если ее фишке приходилось скатываться с лестницы за четыре квадрата до выигрыша, она вскакивала, охала, крутилась на месте и ее светлые косы разлетались в разные стороны. Она необыкновенно удачно добывала для семьи в очередях дефицитные про-

дукты и еще всякий там текстиль и прочие жизненные необходимости.

Настя же, наоборот, смеялась мало, но никогда и не огорчалась. Всё что случалось она принимала спокойно и тихо. Через прозрачность ее внутреннего мира всегда можно было заглянуть до самого дна: даже шуточной лжи там никогда нельзя было обнаружить. Но что творится кругом нее, думал Вова, не является ее действительной жизнью; а где-то рядом, около нее, идет какая-то невидимая нить и вот этот второй план, эта невидимая нить и есть ее настоящий мир. При этом, однако, она никогда не теряла связи с реальной действительностью: всё время что-то делала, делала спокойно, очень складно, очень серьезно. Про Настю Вова думал еще и следующее: Настя никогда не бывает недовольна кем-нибудь или собой. Никогда, казалось, не глядит на себя со стороны, не угрызается и не «пропадает», как сам Вова, в бесконечном и мучительном анализе своего внутреннего бытия. Вове казалось, что чья-то очень уверенная рука ведет ее по жизни и она вполне, до самого конца предана этой руке. И поэтому-то при мысли о Насте у Вовы появлялось ощущение чего-то голубого и хрустального.

Удивительно было то, что тупиковые обитатели обладали некиими собирательными качествами, возможно, как и некоей единой тупиковой душой. Одной из этих собирательных черт было желание превозносить дела других, мгновенно возводя их в превосходную степень и окружая атмосферой даже некоего подвига. «Верочка-то вчера — до 4-х часов гладила!» говорила Настя. «А Катя, молодец, сегодня 5 часов за обувью выстояла,» говорила Верочка. «А Настя вчера 10 кукол обшила,» говорила Катя. «А вот Аня целый пуд капусты из кооператива на себе притащила,» говорила Настя. Про себя же самих они всегда говорили так: «А ну, ерунда, ничего почти не достала, чуть-чуть белья нагладила, спала как барыня до 7-ми, только несколько кукол обшила, плохую капусту достала — половину выбросить придется...» Так же они каждую минуту готовы были превозносить «подвиги» Вани и Вовы и

вообще всякого случайно попавшего в их орбиту. Да и что греха таить, Вова на себе знал, как приятно было очутиться под обстрелом этих превосходных степеней. Правда, от этого почему-то неизменно рождалось желание действительно сделать что-то большое и важное.

Другой собирательной чертой, не переставшей удивлять Вову, было особое, закругленное, «золотое» устройство тупичковых рук. При затрате очень немногих движений эти тупичковые руки могли производить на свет (ловко и быстро) множество важнейших и великолепнейших вещей (сюда Вова относил: всех кукол, в пестрых платьицах, матросках, тирольских колпачках, балетных пачках, лыжных фуфайках; вкуснейшие черные лепешки к чаю; собственные их платья и знаменитую Славину драповую куртку; надиво сконструированные рукзаки; ламповые абажуры; лохматые половички; цветы из пестрой шерсти; яркие вязаные варежки; изумительные грибные супы; занавески с целым листопадом осенних кленовых листьев на них; и цветущие на окнах живые гиацинты). Как будто и не делали они вовсе ничего, а просто разговаривали то с ним, Вовой, то с Ваней, то между собой, а вещи возникали, рождались, становились реальностью, и, ах, какой милой реальностью становились все эти тупичковые вещи.

Но главное, конечно, был Слава. Слава, которого Вова «открыл» и считал поэтому, как и тупиковый дом, своей неотъемлемой собственностью, Слава был окружен в семье плотным кольцом раз навсегда сконцентрированных эмоций. Время, которое Слава не бывал дома, было наполнено его отсутствием: «А когда Слава придет?» — это обязательно спрашивал каждый член тупиковой семьи, если обнаруживал, что Славы нет дома. «А вот мы Славу спросим...» — разрешался всякий, спорный вопрос, будь то местоположение какого-то городка в Сибири, порядок постного Богослужения или причина короткого замыкания в тупиковой электросети. «А этот кусочек получше мы Славе оставим...» — возглашалось в середине обеда. «А вот у Славы нет такого шарфа,» — заканчивался осмотр Ваниной обновки. «Это мы обязательно Славе расска-

жем...» — выслушивались какие-то церковные новости. «Лучшую материю для Славы...» — распределялся добытый Катей текстиль.

Когда Слава возвращался, всегда бодрый, быстрый, веселый, наполненный каким-то свежим ветром и важнейшими новостями, все бросались к нему навстречу, все радовались его появлению, все ждали от него чего-то и он это «что-то» всегда им приносил. То это были драгоценные всему тупичку новости от сосланного Владыки, то благоприятное решение суда о церковном помещении, то весть о возвращении одного «очень важного человека» из «очень дальних краев», то удивительная встреча с кем-то, то удача, в хлопотах за кого-то утесняемого властью, то рассказ о героической стойкости мальчика Орлова, не снявшего креста по требованию учительницы-коммунистки... И весь тупичок переживал, обсуждал, волновался, радовался и насыщался принесенным Славой.

Между прочим рассказ о мальчике, не подчинившемся требованию учительницы, который Вова сам услышал от Славы, приоткрывал важные и неожиданные разрезы в шаблонной, как ему всегда казалось, толще жизни, обнаруживая существования таких драматических конфликтов, о которых он даже ничего и не подозревал. Как-то само-собой возникшее при этом воспоминание о мысли, высказанной им когда-то Славе за колонной читалки насчет «несения идеализма в молодежь», стало вызывать неприятное беспокойство и он начинал нащупывать желание набраться самому такого вот мужества, как у этого мальчика, отстаивавшего, может быть, самую важную идею в мире.

Сам Слава был просто раздираем деятельностью. Вова понял, что все сношения с враждебным внешним миром лежали на Славе, как и все наиболее сложные процессы кукольного производства дома. Вова видал его всегда урывками, всегда в деятельности или по дому, или с куклами, прибежавшего только что из какого-то учреждения и уже готового в путь — то к отцу Михаилу, то везти мешок картошки какой-то «бабушке», то навещать какого-то «очень важного» человека, живущего

где-то очень далеко. Позднее, Вова случайно и к огромному своему удивлению узнавал, что «бабушка» — это скрывающаяся игуменья одного подмосковного монастыря, а далеко живущий важный человек — возвратившийся из ссылки иеромонах. Постепенно, однако, он привык к тому, что в тупичке хранится много важнейших тайн. То вдруг Вова застает Славу с какой-то женщиной за обсуждением острого и болезненного конфликта: говорить ли ее детям в школе, что они ходят в церковь или врать. Это всё было интересно и важно, конечно; но вот составлять каким-то людям заявления, и этим и другим и еще и еще, кучи, кучи каких-то бумажек и обсуждать с ними их обиды от властей и безвыходное положение в жилищном и служебном отношениях... Какое ему до всего этого дело? Как ему не скучно вникать во все эти нудные дела? думал Вова, внутренне для себя содрогаясь от такого рода деятельности. Но Слава никогда не тяготился этим, никогда не «впадал во мрак» как Вова и никогда не отказывал в помощи всем этим обиженным и беспомощным людям, которых было, оказывается, так много и которые так и текли к нему со всех сторон. Славин день всё увеличивался, всё растягивался, как резиновый; многие дела просто переносились на ночь (сестры говорили, что Слава спит не больше 3-х, 4-х часов в сутки). Впрочем по делам «юридической консультации» его верной помощницей и секретарем была Настя. По-тупиковски аккуратно и деловито хранила она всякие нужные Славе бумажки, брошюрки и вырезки из газет. Вова любил молча наблюдать, как ее (единственные в мире по особой целомудренности и вместе с тем женственности) пальцы листали папки с «делами», а серьезное «перуджиновское» личико прояснялось радостью, если удавалось найти «до-зареза» необходимый пункт такого-то приказа, за который могла удачно зацепиться Славина бешеная фантазия, изощренная в изобретении уловок и трюков для обхода советских беспощадных законов. У Славы, как он говорил Вове, даже спортивное чувство развилось в этом состязании по одурачиванию властей. И если одурачить удавалось — Слава веселился как ребенок.

Не привыкшему к вопросам материальной жизни Вове было странно и даже стыдно видеть, как кое-кто из тех людей, которым Слава так много неофициально помогал, старались всунуть ему деньги или продукты, желая отплатить за услуги и, Боже, как радовался Вова, когда Слава всё это решительно и даже сурово отвергал. Но только долго спустя, окончательно войдя в тупиковый быт и, поняв безграничную и открытую его бедность (от которой однако еще так много уделялось «на-сторону»: и для сосланного Владыки, и для старушки-игуменьи, и для «важного человека», живущего где-то очень далеко), поняв это всё, Вова по-настоящему (до сдавливания в горле) оценил Славино, истинно-тупиковое бескорыстие.

А то явится вдруг какой-то там очкастый Леня с тонкой шеей (и тут Вова явно ощущает злые укусы ревности), явится Леня выяснять со Славой смысл жизни. Казалось люди просто не могли обойтись без Славы. Когда же он успевает читать, с огорчением думал Вова; всего себя на этих скучных людей растрясает. И всё-таки каким-то «дном души» понимал при этом, что Слава делает что-то крайне важное и замечательное... Сам же он (пока еще) никак бы не мог так жить.

Особенно веселый Слава возвращался из каких-то своих таинственных поездок в деревню — «устанавливать контакт с группкой». Крепко-сколоченная, по его словам, «группка» в деревне особенно его радовала и, казалось, давала новые силы чтобы сражаться с фининспектором, кого-то в чем-то убеждать в Моссовете, составлять хитроумные заявления в обход жестоких законов и бегать по судам. И хоть в мысленном перебросе на себя Вова не мог установить настоящей радости от всей этой Славиной трудо- и скукоемкой деятельности, но всё же нутром ощущал, что в этом-то и есть правда, настоящая большая правда, и что Слава владеет огромной тайной извлечения своей большой персональной радости из той нелегкой правды, по которой живет.

7. СВЯТЫЕ ОТЦЫ...

Существование в тупичке больших и малых тайн было уже давно обнаружено Вовой. Часто бывая у «тупичковых» он это улавливал из чего-то недосказанного, из каких-то выделяющихся молчаний и после этого особо ласкового с ним обращения. Он понимал, что еще не ко всему допущен и уже ревниво мучился этим недопущением, хотя и понимал, что это нормально; что и так он как-то молниеносно завоевал себе тупик и даже сейчас получал уже очень многое.

Наконец одна из тайн раскрылась для него. Он так хорошо помнил потом этот серенький ветреный день, когда на обычном его пути от главной улицы по «Кларе Цеткин» в одну и ту же сторону рвались мягкие сучья берез, белье на веревках и его пальто. Слава оказался дома. Странный взгляд Верочки, державшей в объятиях какую-то бутыль, взгляд, остановившийся на Славе, а не на нем, вошедшем, а потом ее особо ласковое приветствие сразу его насторожили. И сразу же взгляд его был притянут красным огоньком лампады перед иконой в углу. Вова и раньше, проходя коридорчиком, замечал живой и нежный лампадный свет в том таинственном и очаровательном месте, куда он не допускался и которое называлось «комната девочек», но в большой комнате, выходившей окнами на тупик, это было первый раз. Слава стоял посреди комнаты, руки — в карманах своих черных галифэ, и ничего не делал. Это как-раз и было самое удивительное и сразу выделило этот день из ряда других.

«Слушай, Вовка, вот хочу, брат, тебе кое-что сказать,» начал Слава, «давно собирался. Но надо было выждать. По некоторым соображениям. Вещь, понимаешь ли, совершенно тайная. Я могу теперь ее тебе доверить. Но хочешь ли ты? Дело опасное, но дело Божье. Хочешь или нет?»

«Конечно хочу...» у Вовы мурашки восторга посыпались с плеч и до самых башмаков.

«Ну так вот. Дело очень простое. У нас бывают собрания для чтения и обсуждения духовной литературы. Собирается

группа верующих. В целях самоусовершенствования и взаимной духовной помощи. Но всё это должно быть абсолютной тайной, т. к. замешано много лиц. Можешь?»

«Конечно, могу...»

«Тогда оставайся сегодня на вечер. А сейчас — поди закрой ставни, а придешь — прочтешь вот это. Наш краткий устав». Из-под доски стола Слава вытянул листок папиросной бумаги и передал ему.

«Во имя Отца и Сына и Св. Духа,» начал читать Вова, вернувшись с улицы. «Православное Братство во имя Св. Преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Цели Братства: 1) Полное единение с истинной Православной Церковью Христовой (Ага, значит может быть и не истинная?); 2) Соблюдение чистоты веры (чистоты...); 3) Религиозное и нравственное личное совершенствование (это понятно); 4) Поддержание колеблющихся и обращение заблудших (ну ясно, это — я!); 5) Денежные, вещевые и продуктовые сборы в пользу ссыльного духовенства (нормально); 6) Духовная взаимопомощь (это опять я, но «взаимно» ведь, да...).

«Задачи Братства,» спешил читать дальше Вова, «по пункту первому: во исполнение заветов почившего святейшего Патриарха Тихона члены Братства полностью подчиняются... (вошел Ваня и увидав только читающего Вову перевернулся на одной ноге и вышел) ...верховному духовному руководству... в заточении... Петра Крутицкого... отвергают... всякое постороннее вмешательство (Ваня вернулся со всеми девочками — точно сама радость наполнила комнату). В связи с изменою Митрополита Сергия (измена? в церкви? Ах да, помню, Слава говорил...) избегать молитвенного общения... (дальше) ..:Регулярно совершать утреннее и вечернее молитвенное правило. Соблюдать по возможности посты (как? Посты? Всем? Как странно...). Говеть не менее 4-х раз в году... Посещать... беседы... Изыскивать... душеполезную литературу... Выполнять... по переписке... размножение... слова Божия... Молитва членов Братства друг за друга (как это хорошо!) и о всех страдающих за веру...»

Стали собираться. Со своей позиции на подоконнике (между белым гиацинтом и колючим столетником) Вова с напряженным интересом и волнением ожидал прихода «этих» людей, решив, что это всё будут старцы-монахи. Вот вошел старичок, лысый в очках, привязанных через затылок тряпочкой. Долго крестился на икону. Ну, этот ясен, вроде Толстовского сапожника Авдеича. Но за ним появилась полная дама с несколько багровым лицом под туго-повязанным черным шафром. Нос с горбинкой, волевой выступающий подбородок, черная одежда. Она села со Славой на тахту и стала тихо ему что-то говорить. Вот юноша худенький в очень выпуклых очках, ну этот хоть и не старец, но понятен. Так же как и еще две тетеньки пожилые в темных платочках. А вот это — странно, сразу подумал Вова, когда в комнату вошел высокий плотный мужчина среднего возраста с таким глубоко-светским лицом. Румяный и курносый, как всегда, Ваня присел к девочкам. Катя сразу же рассмеялась и мотнула косами.

И тут-то вдруг случилось такое, что Вова чуть с подоконника не свалился. В комнату вошла (нет! он не мог ошибиться!) одна из выдавальщиц книг Румянцевской читалки (из утренней смены). Вова слишком хорошо знал их всех. А она весело здоровалась с остальными и на лице ее не было и следа той строгости, которая убивала Вову, когда, порывшись в своих ящичках, она отрывочно бросала про какую-нибудь особо важную книгу: «На руках!» Вот с таким строгим и безличным лицом она, вероятно, передает Славе стопку томов святоотеческой литературы, совершенно недоступной для простых смертных. Опять мурашки восторга (но теперь уже снизу вверх) волной поднялись по Вовиному телу.

«А Верка-Зверка придет?» спросил кто-то.

«Придуть, придуть, тольки припоздають маненько. В больницу навещать поехали...» сразу ответили закивав оба темных платка.

«Устиньи Ивановны не вижу...» сказал оглянувшись Слава, говоривший теперь в углу с полным мужчиной.

«Устинья Ивановна всегда немного запаздывает, Слава,» Настя обернула к нему свой профиль. Нет! От окна, конечно, это был профиль. С несколько припухлыми губами и выпуклым лбом, над которым росли темные густые волосы: «Она должна уложить внучка.»

До сих пор еще Вова никак не мог привыкнуть к ощущению абсолютной прозрачности, когда он взглядывал на это «перуджиновское» лицо, и каждый раз огромное удивление возникало и долго держалось в нем.

«Тогда начнем,» Славины белые руки, захватившие несколько книг вдвинулись в круг света от лампы. «Отец Михаил сегодня придти не может, но он, как всегда, наметил то, что будем сегодня читать. Сначала только позвольте познакомить вас с новым лицом (все глаза повернулись к окну, а Вова покраснев опустил свои вниз). «Мой друг — Владимир Чегодаев, студент. Зовите просто Вовой.» (Сладкая гордость наполнила Вову до самых ушей). «Вова, а ты, чтобы знал, но и сейчас же забыл (Слава и все рассмеялись): это — Трофим Авксентьевич — всё Священное Писание наизусть знает; это — Антонина Николаевна, наша художница и большой мастер своего дела. Кстати, Антонина Николаевна, как Плащаница подвигается? Кончаете? Прекрасно. В конце 4-ой недели оказия будет переслать. Это — наш друг, Аркадий Николаевич, ну скажем инженер (смешок — все улыбнулись). Это вот — Марфа Петровна и Анисья Максимовна — наша опора в церкви, мы без них — ничего и никуда. Зинаида Васильевна (кивок в сторону библиотекарши) — ты ее, конечно, никогда не видал (Вова заледенил в испуге уже расползавшуюся улыбку), ну и вряд ли когда-нибудь увидишь. Ваню ты уже знаешь, а это Леня — наш молодой друг. Для полноты картины не хватает Романа, но он упал с трапеции и лежит в больнице (он — физкультинструктор). Верка-Зверка, наш секретарь и столп и Устинья Ивановна, очарованная душа, еще придут. Нас многогрешных ты теперь уже всех выучил. Итак начнем, чтобы не терять времени. Настя, прочти молитву».

Все разом встали, уверенно повернувшись к горящей лампадке. Вова тоже соскользнул с подоконника. Удивление и даже некоторое недоверие к искренности всего происходящего возникли в нем. Но свежий, милый такой Настин голос, читавший молитву «Царю Небесный, Утешителю...» восстановил доверие к этому новому. Вот она наклонила свою темную голову и («...спаси Блаже души наши») перекрестилась спокойно и серьезно. Вова взглянул на Славу и его поразило бесстрастно устремленное куда-то ввысь лицо. Как-будто он и не Слава вовсе, который так весело смеется и ловко чинит дверные замки. Вся персональность ушла из этого лица. Было в нем что-то значительное, но совсем совсем другое.

«Удивительно», — подумал Вова, «прямо здесь, в этой прозаической обстановке... Как значит близок для него тот, другой, духовный мир...»

«Итак, мы продолжаем нашу беседу о покаянии. Идет вторая неделя Великого поста (а Великий пост — время великого покаяния) и это нам сейчас всего важнее». Обе тёти закивали платочками и зашептали: «Спаси Господи!»

И вот тут-то, сидя на подоконнике деревянного дома в Песчаном тупике, Вова впервые услышал и воспринял совершенно новые и даже как бы странные мысли. Но здесь, среди этих людей, это были уже не просто хорошо известные мысли, это был непреложный закон, о котором, очевидно лишь только напоминал читавший Слава, а все эти люди беглыми вопросами уточняли для себя некоторые стороны преподносимой истины.

Вова бесконечно был удивлен, когда, например услышал, что «Без добрых дел многие вошли в царство небесное, а без смирения — никто». И что «лишь только смирится человек, как тотчас же смирение поставляет его в преддверии Царства Небесного». «Инженер» добавил к этому, что в аспекте православного учения приходится пересматривать вопрос о так называемом собственном достоинстве. Как надо быть осторожным и следить, чтобы всё «достоинство» было отдано Богу и что только Божеское в человеке не имеет права быть попрано со стороны. Когда же в человеке попирается другими самостное

(его личное самолюбие, честолюбие и пр.), то это очень даже полезно и что в преодолении этих «обид» человек духовно колоссально растет. Вову прорезало вдруг воспоминание о виденных им «оскорбленных» (т. е. уязвленных в их самолюбии) человеческих лицах. Лица эти как бы раскалывались на отдельные осколки, искажающие их обычные, очевидно Богом данные черты.

Услышал он дальше о духовной мертвенности, что заграждает нам доступ к Божественной благодати. Понятия «Царства Небесного» и «Божественной благодати» были, очевидно, совершенно привычны для всех здесь сидящих, и изящный «инженер» уже снова говорил о том, как трудно в административной деятельности не привносить самостного и страстного в служебные взаимоотношения и как накапливание этих греховных элементов создает «жесткий панцырь» вокруг души и без грандиозного покаяния нечего и думать о Царстве Небесном. «Вот значит и для него тоже», — думал Вова, «существование Царства Небесного само-собой понятно».

Услышал он и о том, что не надо возмущаться на личную свою злобу против людей заведомо достойных, т. к. это «дым и смрад врага», который может исчезнуть от «единого мания Господа Иисуса Христа». «Как это красиво сказано», подумал Вова: «от единого мания». Узнал, что уныние является великим грехом (это очень удивило: не достоин ли человек особой жалости в унынии? Но какой-то здоровый, жизненно-мудрый элемент этого сурового «закона» все-таки привлек и понравился). Узнал о необходимости постоянного и неусыпного борения со страстями, из которых наиужаснейшей является гордость. Гордость, оказывается, является матерью многих, чуть ли не всех остальных грехов. Об этом надо было специально подумать и под этим углом пересмотреть кое-какие свои взгляды и поступки.

Человек, слушал дальше Вова, сам не может установить момента своего очищения и восхождения, что сказано: «Егда приму время, Аз правоты возсужу». И еще что: «Блажен человек, который познает немощь свою». Очень удивило и то, что

не так грех страшен для человека, как нераскаянность в нем, т. е. неосознание мысли, поступка или цепи мыслей и поступков, как греха, причем (это уже говорила художница, грассируя на букве р), причем исходным пунктом в целой цепи грехов может быть совсем незначительная, совсем казалось бы пустяшная мысль или поступок, а завершающим звеном этой цепи уже обязательно будет грозный грех, искупить который не так-то легко.

Слушая всё это с большим вниманием и интересом Вова удивлялся полному отсутствию какого-либо сентиментального или лубочно-сусального оттенка в том, что говорилось и читалось (чего всё-таки боялся и ждал). Наоборот, поражало наличие во всех этих «законах» огромной мудрости, простой и совершенно императивной. Как это он до сих пор об этом ничего не слыхал даже? Надо многое прочесть, вникнуть и передумать в связи с раскрывающимся для него удивительным миром духовных законов, который так прост и ясен и для этих вот тётенек в черных платочках, и для художницы, и для «инженера», и для очкастого Лени. Но не для него. Еще не для него.

«Покаяние есть второе возрождение от Бога. Покаяние есть дверь милости...» читал дальше Слава, «отверстая усиленно ищущим его.» И еще: «Древо жизни есть любовь Божия, от которой отпал Адам.»

Впервые, неожиданно для себя и необычайно сильно, Вова скорее ощутил, чем понял то «райское» состояние душ, то пребывание в орбите любви Божией, которая предоставлена была первым людям на земле до грехопадения. «Интересно,» подумал Вова, «само как-то понялось...» «Пока не приобретете любви, деланье наше на земле терний,» читал Слава, «и сеем и пожинаем мы среди терний и ежечасно уязвляемся ими...» Ах, как верно, снова вздрогнул на подоконнике Вова, «ежечасно уязвляемся ими.» Тётеньки в платочках кивали головами. Художница глядела на Славу горящими глазами. Анино кроткое лицо под прямым пробором было очень грустно. «Тоже понимает насчет терний, решил Вова. Но вот — «пока не приобретем любви» —

это еще очень темно для него, душа еще глуха к этому. А вот для «тупичковых», вдруг радостно встрепенулся Вова, а вот для «тупичковых» это уже не умозрительная истина, которую надо как-то решать для себя, это же их жизнь, их ежедневная практика...

8. ...И УСТИНЬЯ ИВАНОВНА

Тут вместе вошли, очевидно, Устинья Ивановна и загадочная Верка-Зверка. Их совместное появление запомнилось Вове, как великолепный контраст: громоздкая, со сверкающей улыбкой, до-синя румяными щеками, шумными движениями и черными доминирующими на лице бровями — ну это, конечно, «Зверка»; дышит и то с шумом и с трудом удерживает смех, которым, казалось, набит ее рот, пропитаны все мускулы лица, налиты глаза (от избытка «неизбывных» сил, решил Вова). Она вся была настолько другого масштаба в этой маленькой тупиковой столовой, что при каждом ее повороте или движении что-то падало, рушилось, опрокидывалсь и разлеталось.

А рядом — совсем маленькая, сухонькая, очень аккуратная старушка с тонким (вроде как бы даже античным) лицом, в платочке ослепительной белизны. Перекрестившись на икону, Устинья Ивановна неслышно, бочком присела на крошечный уголок скамьи. И вытерев горсткой рот замерла. Упало что-то и дико заскрипел стул: шумно дыша и колыхаясь от внутреннего смеха усаживалась среди девочек Верка-Зверка. Она кивала и бросала во все стороны свою сверкающую улыбку, договаривая остальное черными вздымающимися бровями.

«Вот два антипода, а обоим «это» одинаково нужно,» размышлял Вова, поймав и свою долю яркого Верки-Зверкиного смешка.

«Что Роман?» спросил Слава.

«Чу́дно! Поправляется, слава Тебе Господи!», с шумом за десятерых заговорила и засмеялась Верка-Зверка. «Всем кланяться велел.»

«Спаси Господи!» выдохнули разом оба темных платочка.

«Когда выпишется?» строго осведомилась художница.

«В начале той недели. На Благовещенье в церковь собирается.»

«Великолепно!»

«А не рано ли? Нога то еще в лубке?» серьезно спросила Настя. «Его» Настя. Он чувствовал, как все они тут близки и дружны между собой и вдруг явно ощутил, как «змея зависти и ревности» (уже под Святых отцов стилизовал Вова) заползает к нему в душу. Ему захотелось выхватить для себя «хотя бы» Настю и Славу.

«Продолжаем,» сказал Слава. В «районе» Верки-Зверки хлопнула на пол книга, треснула мебель и затем всё стихло.

«...Если же бывают они (подвижники) побеждены (в своей брани), то явно, что побеждаются без Него (т. е. без Бога). И это суть те, которые по своему произволению, неблагодарностью своею удалили от себя Бога, потому что не сподобились силы, вспомоществующей победителям...»

Вова болезненно дернулся: «Удалили от себя Бога...» Нет, он Бога никогда не «удалял» от себя; но сам приблизиться к Нему не сумел. И не умеет еще... Хотя и хочет.

«Смиренномудрому никогда не встречается такая нужда, которая приводила бы его в смятение или смущение... и внутреннее зрение сердца его вознесено к превознесенным вратам во Святое Святых... и осмеливается только так говорить: по воле Твоей, Господи, да будет со мною...» Уже музыка самих слов подхватила и понесла куда-то Вову, но внутреннее его (обычно ко всему извне приходящему) сомнение и нагнетавшееся беспокойство вдруг лопнули вопросом (он сжался весь как перед прыжком, сильно покраснел и рванулся вперед):

«Почему считаются творения этих вот святых отцов непреложными? Они часто утверждают недоказуемые положения. Что является критерием истинности их утверждений? Ведь, как люди, и они тоже могли ошибаться!»

Все с удивлением и даже осуждением (как ему показалось) оглянулись на него. Только Настя — спокойно, серьезно и ясно.

«Прежде всего потому,» уверенно и четко ответил Слава, «что Отцы Церкви писали свои творения после огромных духовных подвигов — строжайшим постом и другими аскетическими подвигами и, конечно, пламенной молитвой убивая в себе все страсти. Через это они сподоблялись в писании своем помощи свыше. Творения тех лиц, которые на Вселенских Соборах признаны Отцами Церкви, считаются боговдохновенными. А соборные решения для нас обязательны, т. к. они вынесены избранниками и представителями Церкви, т. е. целым рядом духовных авторитетов, собравшихся для выявления религиозной истины. Они, эти люди, играют тут роль проводников Св. Духа.»

Аскетические подвиги, т. е. очищение от страстей, предшествовавшие духовному творчеству «отцов» и получаемая ими мистическая помощь из иного мира, как доказательство истинности их утверждений — явилось неожиданным и даже несколько ошеломляющим для Вовы объяснением. Однако эта совершенно непривычная постановка вопроса сильно на него подействовала. «Опять не с того конца к вопросу подошел,» укорил он себя в рационализме.

Громыхнул отодвинутый стол: это Верка-Зверка хотела что-то спросить.

«Да?» сказал Слава.

«Вот, относительно того места, где сказано о подвижниках побежденных в брани,» голосом слишком громким для такой комнаты разгромыхалась Верка-Зверка, «очевидно основным моментом для их побежденности является не тот или иной грех, случившийся на пути их восхождения, а то, что они проявили самоволие. Ведь сказано было, что они поступали «по своему произволению,» стало-быть выйдя из послушания? Так ведь?»

«Да, эта мысль совершенно верная,» ответил Слава, «чем выше восхождение (а речь идет ведь о подвижниках), тем всё меньше и меньше уделяется места для собственной воли. Тут же дальше мы читали: «по воле Твоей Господи, да будет со мною.» Чему пример дал сам Господь наш Иисус Христос

молясь на горе Елеонской: «Отче! О, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но *Твоя* да будет.» Слава повернулся к инженеру: «Какое трогательное указание на верность Иисуса Христа своей человеческой природе, по сущности своей того же Бога: ведь две больших буквы в тексте: не Моя воля, но Твоя да будет...»

Вова от окна увидел, что при произнесении Славой Евангельского текста Устинья Ивановна перекрестилась. «Да, для нее ни в чем нет ни малейшего сомнения,» подумал Вова с завистью.

Перед тем как разойтись все толкались в тесненькой передней, стаскивая с вешалок и гвоздей верхнюю одежду.

«Ну, как твоя генетика, Верка?» спрашивал в дверях стоящий Слава, державшийся рукой за верхний наличник двери.

Упало чье-то пальто, рухнул зонтик и качнулся большой шкаф — это Верка-Зверка повернула свои иссиня-красные щеки, темные брови и сверкающие зубы к Славе. Головы их были на одном уровне.

«Плохо, родименький, плохо,» засмеялась Верка-Зверка, «просто дышать не дают. Подкапываются со всех сторон. На последнем производственном совещании разнесли Николая Ивановича: идеалистические установки, вылазки классового врага... Его не только, конечно, снимут с руководства нашей группой, но мы боимся даже худшего. Думаю всей нашей лавочке скоро конец...»

«Да ты бери, бери,» совала Устинья Ивановна Верочке длинные шелестящие связки сухих грибов. «Племянник из деревни привез, не купленные. Сейчас пост — как раз пригодятся. А огурчиков соленых для Славочки я другим разом принесу.»

Старичок с тряпочкой вокруг затылка, толстым пальцем листая какую-то книгу, доказывал что-то художнице. Ваня и Катя энергично помогали всем разыскивать пальто.

Выходили по темноте и не все сразу. Громко говорить тоже не полагалось. Быстро расходились в разные улочки.

Вова оказался вместе с Устиньей Ивановной, делая большой крюк, прежде чем попасть к Карбюзье.

«Впервой тебя вижу, сынок. Приятель Славочки нашего будешь? Ну, ну, И с Богом, и со Христом. Славочка-то наш орел. Чтобы мы все без него? А уж и достается ему бедному! Семейка-то какая — не дай Бог! И всё дивчата... По ночам и то работает. Да и по церкви нагрузочку имеет. Правая рука он у отца Михаила-то. Знаешь отца Михаила? Ну, так вот, Славочка у него всё. А делов! И не пересказать! Времена наши тяжелые (Устинья Ивановна оглянулась, но ночной и по-весеннему душистый переулок был пуст). Владыка то наш — сосланный», зашептала Устинья Ивановна, «посылки ему — опять всё Славочка...»

«А вот что, Устинья Ивановна,» вдруг неожиданно для себя сказал Вова: «вот очень трудно мне, как там у Святых Отцов указывалось — и всех любить, и себя самого за последнего почитать. Как же тогда быть?»

«А ты перво силью, силью, деточка. Молись ко Господу, проси: «Помогни мне, Господи Иисусе Христе. Потом приобыкнешь, Господь увидит свои труды и помогнет. Слыхал, что Славочка говорил? Не отрекайся помощи Божией. Это — главное.»

«Силью — это интересно,» думал Вова, шагая рядом с маленькой фигуркой по мягкой раскисшей весенней земле. «Всё совсем как-то по-другому выходит, чем казалось. Но Устинья Ивановна уже наверное не хуже Святых Отцов знает.»

«Вот и Апостолы Святые говорили: Умножь, Господи, нашу веру. А мы-то грешные перед ними что? А ты молись, молись Господу-то. Он и помогнет. Вот увидишь помогнет. Да ты смотри — аккуратнée будь. За Славочкой то, за нашим, слежка. Мамка то с папкой живы у тебя?»

«Живы.»

«Ну так вот смотри, береги их. Ну, храни тя Христос и Пречистая Его Матерь.»

Маленькая фигурка внезапно растаяла в темноте, словно никого и не было.

Дойдя до Карбюзье Вова вошел в освещенный и буднично-скучный трамвай.

9. НА ЯУЗЕ

В один из своих частых теперь приездов в тупик (Румянцевская читалка как-то совсем незаметно уступила Вову Песчаному тупику) Вова обнаружил дверь красного дома запертой. Этого еще ни разу с ним не случалось, а приезжал он сюда часто и в разное время дня: помогал Насте с кукольными делами, бегал для Верочки в лавку и до того уже стал свой, тупиковый, что даже осмеливался легонько дернуть Катю за косу, а по вечерам читал девочкам стихи Пастернака. Испуг камешком упал на дно сердца и чувство беспомощной осиротелости залило душу. Оно тем более было остро, что Вова (сам того не замечая) весь был уже раскрыт, чтобы впитывать в себя особую тупичковую атмосферу, насыщенную просветленной семейственностью и складным, любвеобильным бытом и что он, оказывается, привык уже к этому благодатному воздуху, а где-то глубоко внутри трепетно боялся потерять его, утратить как сон, как одно из своих хрупких мечтаний.

Постояв в таком потерянном состоянии некоторое время на крыльце Вова решил постучать. Еще и еще. Уловил легкий шум и через порядочное время шорох у двери и еле слышный старческий вопрос: «Хто там?»

«Я — Вова.»

Дверь (после долгой борьбы с ключом на другой ее стороне) открылась. В смешной вязаной шапочке, хлипко держась на худых расставленных ногах, в двери стоял «папочка».

«Ваших нету?»

«У... вшеношной... ны...нынше шубота... ко вшеношной...» влажно задыхался и хлипко пошатывался на расставленных ногах длинный, худющий «папочка.»

«Спасибо, спасибо...» Вова поскорее закрыл дверь и сейчас же решил ехать из опустелого тупика в церковь.

«Да, да, на Яузе, помню, Слава говорил...»

Церковь стояла (повинуясь очевидно каким-то своим законам) странно косо по отношению к круто-вздымавшемуся от реки переулку. В нем было много старых корявых деревьев, а по бокам почти вертикально стоявших тротуаров сохранились еще каменные тумбы. Всё это было мило, да и не могло быть иначе — ведь это тупиковая была церковь! Весенние влажные сумерки наполняли крутую улицу, а в узких высоких окнах церкви светились желтые огни. Вова поднялся по высокой косо-расположенной лестнице. В дверях на него пахнуло церковным запахом и он вошел. Вошел во второй раз в жизни (первый раз его внесли для крещения — это ему рассказывала мать). Сжимая руками кепку он остановился там, где вошел: перебарывал в себе огромный ком застенчивости, страха и неловкости (а вдруг «не то» получится). Никто на него, однако, не посмотрел, как он думал. Все заняты были чем-то своим. У большого лакированного ящика справа от него лысый мужчина «выдавал», как показалось Вове, тонкие желтые свечи, издавая ими легкий сухой стук. Перед ним — спины. Седая дымка покрывает своды и иконостас вдали. Кто-то что-то читает. Горят свечи в разных местах. Разноцветными заманчивыми огонечками светятся лампады. Народа много. Незнакомые. Вдруг от одной спины в красной шубке (с левой стороны, в арке) дрогнуло сердце. А вон и Катины светлые косы рядом. Выждав немного, чтобы все (как он подумал) успели забыть о его приходе, Вова продвинулся немного вперед, не теряя из виду самую важную спину. И тут, наискосок от себя, направо за аркой, в особом отгороженном месте увидел он Славу. Увидел его плечо в золотистой церковной одежде, темный затылок и часть лица. Перед ним, на высоком столике, лежали развернутые книги. Хор пел теперь — строй-

но и тихо: отдельные голоса не выделялись совсем, «точно играет один многоголосый инструмент,» подумал Вова. Лампады были очень приятны перед иконами. А церковь древняя, подумал он, оглядывая своды. Торжественно, таинственно, особенно. Ясно, что люди собрались сюда для почитания чего-то абсолютно-высшего. Абсолютно. Абсолюта. Высшая ценность. Бог. Да, но когда же надо креститься? Вова беспомощно оглянулся, но, подумав, стал ориентироваться на Настину спину. Эта спина стояла «абсолютно» неподвижно. Не шелохнувшись (как только она может?). Изредка с крестом делала глубокий поклон. Катины косы и те были в непонятно-статическом состоянии. Только раз она мотнула ими, увидав что-то для себя важное впереди и решительно пошла к иконостасу. Там стала выдергивать и тушить догорающие свечи на большом металлическом подсвечнике. Когда она, поправляя свечи, обернулась лицом к ним, то огоньки зажглись в ее серых глазах и теплый, неровный свет пробежал по ее румяным щекам. Это напомнило Рождественскую елку. Стало уютно и весело. «Хорошо здесь,» подумал он.

Вова слушал возгласы высокого священника. Длинные, прямые как палки волосы, худое лицо, запавшие, огромные глаза — весь вид его, аскета и мученика, удовлетворил Вову. Возгласы он произносил астматически задыхаясь. Но это как раз придавало им что-то особенно волнующее. Казалось, что сам священник волнуется произнося их. Вова больше всего боялся неодобрить священника и сейчас, увидав его и услышав этот особый, слабый, не до конца доводящий ноты голос, вполне успокоился. Неудивительно, что Слава так предан ему. Собственно ведь даже не ему персонально... Неудивительно, что оба они, и Слава, и худой астматический священник с лицом мученика, так преданы Богу. Да, да. Всё выходит как надо. Да и не могло быть иначе. Всё это ведь не случайно: и моя встреча со Славой, и тупичок, и Настя, и вот этот теперь особенный священник, и церковь. Только сам то я покудова, как инородное тело: не знаю, как молиться, что делать. Не понимаю, что тут происходит. Надо расспросить Славу. Катя

прошла мимо него и, увидав, улыбнулась и мотнула, конечно, косами. Она шла зачем-то в первую половину церкви.

Вдруг знакомый Славин голос четко, певуче и чуть-чуть в нос зазвучал, резонируя в церкви. Потом пел хор и опять Слава вклинивался со своим музыкальным, чуть в нос голосом и опять подхватывал хор. Вове это нравилось. Потом зажглась люстра в центре, священник, откинув длинные, палками висящие волосы, взял в руки, очевидно, Евангелие и вышел в самую церковь. Запели что-то торжественное. Потом священник астматическим голосом читал Евангелие и Вова с волнением слушал произносимые и обрываемые им слова. Но когда все гуськом пошли туда, где лежало Евангелие и опять Славин звонкий голос читал что-то, Вова забился куда-то вбок, чтобы волна людей, движущаяся вперед, не подхватила и его (совершенно не знал, что там нужно было делать). Вот, наконец, и Настя двинулась. Вот она низко кланяется перед столиком с Евангелием, и раз и два; потом целует его, а батюшка крестит ее склоненную голову и она целует его руку. Что-то дрогнуло у Вовы в душе и огромная теплая волна залила всё внутри. Как смиренно! Но ведь и священник этот особенный совсем. Конечно бывают и другие, но важно ведь не это, а то, что она так смиренна и чиста. Вот идет назад, опустив глаза и только когда оказалась недалеко от Вовы чуть-чуть дрогнули эти опущенные глаза, как бы давая понять, что она знала, что он тут. Он же видел, как вместе с этим известием мотнулись в ее сторону светлые Катины косы. Но Настя тогда и не шелохнулась, не наклонила даже головы. Вся в другом. «Перуджиновская». В этом-то ее особенная и значительная прелесть. Вова сразу оказался охваченным никогда еще не испытанным им чувством — ощущать все эти важнейшие для него вещи тут, в храме, где есть что-то большое и главное, самое главное в жизни, ради чего все эти люди и он сам пришли сюда. Явились, чтобы ощущать себя чище, строже — по отношению к себе и совсем ничтожно — по отношению к чему-то громадному, абсолютному, невместимому, которое душа хотела здесь прославлять и идеальностью чего душа хо-

тела здесь наслаждаться. И в этом чистом, ко всему особо-взыскательном месте — «его» Настя! Она сама просто была частью этого высокого, идеального. Здесь, конечно, было ее настоящее место. И через это всё он чрезвычайно сильно ощутил свое, всё растущее влечение к ней, к ее молодой женственности, к ее чистоте и прелести. Очарование того, что здесь, в этой особенной и высокой обстановке, была необходимость почти до конца подавлять эти чувства, своей новизной совершенно пленило Вову.

«Ты прости меня, Господи, что здесь в храме Твоем занят своими чувствами. Но я не могу иначе, Господи... Но Тебя ставлю превыше всего, ибо Ты есть основа, смысл и начало всего вообще — для меня в этом нет ни малейшего сомнения!» И опять стало как-то особенно хорошо, как нигде.

Чувство приподнятой радости не ушло до самого конца службы, когда в мерцании только нескольких огоньков лампад (Катя энергично тушила все горевшие свечи) темные фигуры плавали по церкви и приникали к иконам (и это не удивило Вову, он ощутил в этом сердечное движение людей к Богу). Он различил, вернее угадал, маленькую фигурку Устиньи Ивановны, всю в комочке на полу, перед какой-то иконой слева от иконостаса. «Вот молитва, которую несомненно Бог услышит и «помогнет», подумал Вова. Из темноты вдруг на него наскочила громадная и шумная Верка-Зверка... Она узнала его и сверкнула на него улыбкой. В эту минуту Вова ясно понял всю важность объединения этих людей здесь, вокруг чего-то главного в жизни, вокруг того, что они исповедуют и славят здесь в храме. У них не должно быть чувства покинутости, одиночества, слабости...

Воздух на темной улице (куда они вышли из опустевшей, но такой таинственно-заманчивой церкви) был влажный, теплый. Хотя деревья еще не распустились, но в нем уже слышался нежнейший, сладкий, будто лимонный запах. В этом запахе утверждался момент ожидания, предвкушения того могучего и полнокровного, что быстро и буйно охватит всё растущее через какую-нибудь неделю, когда ничего уже нельзя

будет уследить. В одну теплую ночь всё покроется, зазеленеет, заторжествует и тайна исчезнет. А этот тонкий, едва уловимый и такой вместе с тем сильный своей новизной запах еще относится к задумчивой, к тихой и немного грустной весне. И не есть ли это замершее ожидание са́мое очаровательное во всём природном цикле?

Вова шел с девочками по сухим плитам тротуара, круто вздымавшегося в гору. Настя молчала и было хорошо так молчать с ней. Но Кате непременно хотелось узнать, как он нашел церковь, на каком трамвае ехал, где пересаживался. И оказалось, конечно (к великому Катиному увеселению), что он не на том трамвае ехал, не там пересаживался, и не с той стороны, с которой нужно, пришел в церковь.

«Ну, а всё-таки пришел?»

Катя смеялась и мотала косами.

«Молодец Вова, что пришел,» сказала Настя: «подумай, Катя, и адреса не знал, а всё-таки нашел.»

Вова подождал, когда они обе сели в «правильный» трамвай и с трудом оторвался от их лиц и шубок, которые уносил от него этот самый безжалостный трамвай. Переполненный всем тем, куда завел его удивительный «тупик», Вова решил пешком идти домой по ночной Москве с уже сухими, легкими и звонкими тротуарами. Хотелось подольше сберечь ненарушенными в себе все ощущения этого вечера.

10. ЗЕМЛЯ

Все жизненные процессы, протекавшие в тупичке, имели всегда какой-то второй побочный, а может быть и даже главный смысл. Для всех его обитателей всякое действие — уборка ли в доме, чтение, стирка, чаепитие и даже стояние в очереди за продуктами — было источником огромного интереса и какой-то вещественной радости. Они с азартом набрасывались на все вообще дела и в преодолении их, в борьбе с ними видели не только смысл и долг, а просто большую радость. То, что делалось ими, независимо от характера работы или время-

препровождения, делалось целеустремленно, спокойно, истово (Вова особенно радовался этому найденному им для приложения к тупичковым обитателям слову) и, вероятно, в этом уже таило потенциальную полноту бытия. Сам ритм тупичкового быта чрезвычайно был нов Вове: такой задержанный, казалось, по сравнению с его, Вовиным, он, к удивлению, всегда давал несоизмеримо-большую конкретную, да и духовную (как он потом понял) продукцию. Все процессы, осуществляемые обитателями Песчаного тупика, были, кроме того, насыщены таинственной обратной силой и эта сила, излучавшаяся из каждого действия перехлестывала и в тех, кто, придя извне, становился сопричастным ему. Вова не переставал удивляться этой свежести восприятия всех, тягчайших как он полагал, жизненных необходимостей, будивших в ответ только добрые чувства. Его мысль чрезвычайно была занята этим, открытым им, замечательным явлением. Жизнь дома приучила его не замечать, что делалось вокруг него и для него (может быть из-за того, что мать обожавшая его, делала для него всегда всё, привнося, однако, и в это бледность и невыразительность своей натуры). А летом, в самое тяжелое для Вовы время, которое «нужно было для здоровья» проводить на даче, обычная просьба матери «Вова, когда же ты мне грядку под укроп вскопаешь?», вот этот самый «подукроп» становился для него символом (так раздражавшего) посягания на его драгоценное время, нужное для обдумывания некоторых важнейших идей, во время которого длинные его ноги отхватывали десятки километров по окрестностям этой самой тупоумной дачи.

И вдруг тут, в тупичке, за накренившимся забором, в который как-раз и упирался Песчаный тупик, влезая на небольшое вздутие почвы (делаясь уже не тупичком, а «пупичком»), тут в небольшом, но очевидно крайне важном для экономики семьи огородце, с необычайным удовольствием и азартом трудились все обитатели тупика. Бедность тупиковой семьи была тоже одной из очень радостно и весело встречаемых необходимостей жизни: «Аня сегодня соленых огурцов достала!» или «Катя выстояла в Мосторге 3 пары мужских носок —

2 часа стояла и всё-таки хватило!» или «Слава привез из деревни мешок картошки — теперь спокойно сможем недельку прожить!» По степени гордой радости эти возгласы равнялись тому, как если бы обнаружены были залежи золота, получено извещение об огромном наследстве, или преодолены восхождения на невероятные вершины. Вова даже как-то стыдился своей пассивной обеспеченности и завидовал этой радостной и деятельной бедности.

Ввиду Славиной крайней занятости, а также крайнего срока для посадки картошки, фасоли и еще чего-то было решено, после обычного дружного шума, перекопать огород, пользуясь помощью Вани и Вовы. Обдумывая всё это впоследствии, Вова никак не мог себе уяснить, как невыносимый для него дома физический труд переродился здесь в какую-то новую, изумительную радость, нет, даже во что-то более значительное чем радость:

«Настя, глубже копать?»

«Да нет, Вова, так хорошо.»

«А здесь тоже копать, Катя?»

«Нет, тут же борозда, видишь?»

Уже сам факт, что Вова смог чем-то заменить Славу, заключал для него в себе огромной важности событие. Как только вышли с лопатами в маленький огородец, примыкавший к боковой стене дома и обрывавшийся в тот же овражек со свалкой, с обычной «тупичковой» деловитостью обсудили где пойдут борозды под картофель, а где будут грядки для фасоли. Каждый хотел сказать свое веское слово по этому поводу и даже Катя перестала смеяться и деловито отмахивала лезшие в глаза волосы обратной стороной уже запачканной в земле руки и тут-то сразу выступило и крепко утвердилось «второе значение» всего совершавшегося. Такого никогда не было и не будет. Это вторая стадия моей этой весны, думал Вова. Никаких посторонних мыслей, никаких рассуждений сейчас — копать, копать — врезаться заступом — сырые, недрами своими, вечностью пахнущие пласты — рубить, крошить — еще ботинком на железо — уходить в мякоть —

вздыбливается горка — крошить, сечь с хриплым хрустом — еще, еще — железным тонким звуком тренькают грабли о камни (это — девочки впереди) — Ваня уже далеко вперед ушел назади — Вова пятится с заступом, ухает на нем в землю — сырые недра — глянцевитые рыжие пласты — библейское нечто — земля — еще земля — рубить библейские пласты с первобытной свирепостью — изначальное действо — тысячелетиями — а может это всё было? — да, конечно было (воспоминание крепко уперлось в небывшее, но совсем такое же, с заборчиком на таком же вздутии-пупе земли) — оглянулся: Ваня далеко, и сзади теперь треньканье — «жёны» первобытных людей, «в поте лица» обрабатывающих землю — «жёны»-блюстительницы очага — еще назад, глубоко в землю — еще горка — жарко, потный, куртку — на забор — Ваня далеко, скорее — ладони саднит — ничего даже хорошо — для библейских «жен», для «очага»...

Настя кучкой присела у грядки, оттуда тянет ясным, хрустальным холодком. Все Вовины разгоряченные душевные пласты высоко поднялись наверх от радости, от земли, от Насти, от предвкушения Славиного удивления вечером...

Всё труднее становилось догонять курносого белобрысого Ваню, который так спокойно, с таким профессиональным шиком поплевывал на крупные свои ладони и, так легко и ловко, орудовал своей лопатой. Вова понимал, что не столько он сам, сколько его заступ орудует им, а он — лишь длинный, нескладный привесок к нему; но что сейчас все дело только в том,

чтобы «выдержать» до конца, что железом впившиеся в спину крючья — это так надо и мокрый огонь ладоней — это хорошо — и что не нужно взглядывать на стену дома и на дерево на обрыве, между которыми гнездится неимоверно-заманчивый, но такой далекий, еще совсем невозможный, но от этого особо-желанный «покой» и что этот покой будет когда-то и его, будет заслуженным, будет до краев налитой в нем, будет пружинить во все стороны Вовиного существа жаждой творчества и мыслей...

«Отдохни, Вова, смотри уже почти всё вскопали.» — Настя всегда угадывает всё. Ее серьезное лицо глядело на него снизу вверх (она согнулась у грядки, туго повязанная платочком, разбивая землю «цапкой»). «Цапка» была новым для Вовы словом, таким забавным, свежим, рожденным для него здесь, в запахе его библейской земли, у задней стены красного дома и спрыгнуло оно, это слово, так округло и упруго с Настиных полудетских немного припухлых губ, на которые Вова старался никогда не глядеть. Когда все остановились, чтобы разогнуться и взглянуть на уже сделанное, сейчас же стали громоздиться пирамиды предвкушений Славиного удивления.

«Нет, как он удивится!» — Катя отмахивала мешающие ей косы.

«Мы ничего ему не скажем, будто и не копали...» — Ваня.

«Нет, сейчас же скажем и поведем показывать...» — конечно Настя.

«Да он не поверит...» — Аня.

Верочка, в фартуке и платке, окутанная теплом очага и являющая собой... да, конечно, чистую идею домашности (в глиняных горшках при помощи пенатов вздымающая фыркающее тесто — неплохо об этом стихи написать), Верочка выбежала из дома полюбоваться и поучаствовать в громком обсуждении какой-то важной проблемы с семенами.

Из овражка стал наползать холод и становилось темно. Голубым колким огоньком уже горели звезды над крышей тупикового дома. Вова стоял в углу огорода и глядел на «плоды-рук-своих» и эти «плоды-рук-своих», в виде роскошной сырой, коричнево-бархатной и красиво углаженной земли, ему очень нравились. И он забыл о ладонях, вернее боль их слилась с запахом этой коричневой земли, чудной усталостью во всём теле, всё еще сидящей в борозде Настей, с глубоким сочным от сумерок оттенком красной стены тупичкового дома, с нагнетающейся темнотой и вообще со всей неповторимой единственностью этого эпизода с огородом, имевшего однако такое

яркое предсобытие в сфере несказуемого, которое сразу выделило и укрепило данный жизненный вариант.

Так к Славиному приходу был взрыт и частично (уже «по-темному», как они все говорили) засажен тупиковый огород. Предвкушаемое во всех деталях «как Слава удивится» совершилось наконец. Он появился совершенно неожиданно, прямо посредине огорода и стоял там нараспашку в своей удивительной куртке, с обычным истертым до мохнатости портфелем в руке и с огромным, радостным интересом оглядывал всё совершившееся в огороде. Сейчас же побежали за Верочкой в кухню, чтобы не лишить и ее наслаждения от Славиной реакции.

«Слава, восемь борозд картошки...»

«Слава, две грядки фасоли...»

«Уже засадили, Слава...»

«А эту оставили под огурцы...»

«Да, всё это хорошо, но кто же вскопал вам всё это?!»

И тогда названы были Ваня и Вова и продемонстрированы были силком Вовины до крови сбитые ладони. И Слава (так славно!) хлопнул Вову по плечу:

«Ну, спасибо, брат! А то — хоть ты тут ночью огород копай! Ведь откладывать-то больше нельзя было.»

11. ЖЕЛТОЕ ПЯТНЫШКО

Делая дугу у Карбюзье трамвай пронзительно завизжал, одновременно на низкой и на совсем другой высокой ноте, и, вывертываясь, замедлил ход.

Чуть ли не от самого моста Вова уже видел (скорее ощущал, чем видел) нужное ему желтое пятнышко. Он знал (о, как ново и удивительно-сладко было это знание), он знал, что «пятнышко» там, что оно уже там, потому что он, Вова «чешет» на болтающемся в разные стороны трамвае-одиночке

частые сосны Сокольников и сразмаху врезается в гущу псевдо-съедобного запаха калошной фабрики. Как сладостно и успокоительно было думать, что желтое пятнышко уже там, у трамвайной будки, напротив Карбюзье. И что оно находится там потому, что он, Вова, едет...

Он раньше не знал, зачем нужна была эта трамвайная будка. Теперь понял: в нее упирались ладошки, засунутых за спину Настиных рук. Все видели только желтое пятнышко ее летнего, с веселыми цветами, платья. А для него будут вынуты из-за спины и эти ладошки.

Прыгая на ходу с подножки трамвая, он помахал над головой книгой, которую читал пока ехал, и, как всегда немножко косо, огромными прыжками побежал к трамвайной будке.

«Странно, как мог я раньше жить без... без этого желтого пятнышка,» на бегу думал он. «Ничего мне теперь не нужно, кроме прыгающей внутри радости, кроме этого фокуса, там вон, у трамвайной будки. Какие же были внутри меня зияющие пустоты, которые теперь смогли вместить в себя так много.» Зная, что желтое пятнышко у трамвайной будки от него не уйдет, не исчезнет, не рассыпется на глазах, он остановил свой полубег, чтобы еще раз (с увеличенной от сконцентрированного воображения реальностью, обжигающей всё нутро), чтобы еще раз осознать то ощущение, которое наступит через каких-нибудь 20-30 секунд и от которого будет перехватывать горло — что полнота эта действительно есть. Что ничего не изменилось, не исчезло, что всё это реально, сверхреально до «мороза-по-коже» и что сейчас начнется радостная симфония всех тех дивных мелочей, которые он будет пить по капелькам. И главное, главное при этом, что все эти прелестные детали, все эти «огромные» мелочи будут неотъемлемо его собственные и потому еще более чудесные. Будет сначала взгляд, как всегда немного исподлобья, темных серьезных глаз; потом нежная, немного вялая ладошка будет на мгновение в его огромной руке; будут бисеринки пота на верхней губе; будут из коротких желтых рукавчиков (так скромно) вниз свисать две ровные загорелые руки. А от плеча такая про-

стая и красивая (Боже, неужели ее все видят?), такая красивая линия будет взбегать к мягким темным волосам, мило подхваченным сбоку. И когда они пойдут рядом, маленькое совсем ушко будет сверкать из-под волос, а тупоносенькие и, ах, до чего маленькие туфли будут шагать вногу с его чудовищно-огромными ботинками. И это — всё такое обратное ему, всё такое другое, чем он, такое свежее среди его обычной усталости от самого себя — это будет не чужое, не чье-нибудь: это будет его, его, его.

Потом будут новые радости: они станут спускаться с кручи, он впереди, держа эту маленькую, немного вялую руку в своей огромной, чтоб помочь. Потом они побегут так, взявшись за руки вниз и быстрое движение вдвоем вызовет смех. И у нее станут гореть темным бархатистым кармином щеки, а глаза станут блестящими. А потом они будут шагать, шагать, и она будет собирать цветы, так мило и ритмично наклоняясь к земле. А он остановится и будет смотреть издали, потому что это будет красиво. А потом земля, стебли трав и Настино плечо в желтом рукавчике будут совсем близко, потому что они сядут, оперевшись спиной о шершавый ствол березы и она будет снова (так серьезно) перебирать букет и окунать в него лицо, чтобы вдыхать всякие запахи в нем и называть все эти цветы и запахи. И будет всё так просто, так ясно, так спокойно. И не надо ни спорить, ни думать, ни метаться, ни мучиться... Высоко всё это будет держаться на прозрачной поверхности полного до краев и тихого до зеркальности пруда.

«Настя! Что с тобой!»

«Пройдем, Вова, вот сюда. Я расскажу тебе. У нас — большое горе.»

«Что?!»

«Славу взяли...»

Вова смотрел куда-то поверх Настиной головы. Настины слова не хотели оформляться в образы, и повисли странно

в воздухе между ним и боковой стенкой трамвайной будки. Потом на серой, облупившейся стене стали появляться какие-то признаки ужаса. Они конечно жили в ней, в этой стене всегда, а вот теперь вылезли, подумал Вова.

«Что?! Что ты сказала?» почти закричал Вова.

«Ничего, не волнуйся, Вова, пройдем дальше. Вот сюда, я расскажу тебе там всё как было...»

«Было, было...» — какой-то угластый, нестерпимо мешающий предмет вошел в душу и стал в ней «быть»: давил ее, распирал, лез во все стороны. Едва справляясь с этим новым, посторонним предметом, Вова зашагал по ребрастой отвратительной тропинке, косо проложенной через борозды картофельного поля. Настино желтое платье (померкшее теперь) двигалось впереди. Вышли из поселка в голые большие пустыри (Вова никогда здесь раньше не бывал) и Настя села на выжженную траву, на краю сбегающего вниз овражка. На дне его лежали ржавые консервные банки. Всё, и само место и банки, были отвратительны. Глядя грустными темными глазами снизу вверх на него она приглашала его сесть рядом. Вова долго стоял и тупо глядел на консервные банки, которые своей антиэстетической и примитивной данностью глубоко возмущали его.

«Здесь лучше, Вова: во-первых, сюда никто не ходит; а пошел бы кто — издалека видно, понимаешь?»

Вова не сел, а всем корпусом рухнул на траву рядом с ней.

«Вчера ночью, часа в 2, постучали к нам», тихо, размеренно говорила Настя: «Слава только что лег, и открыла Верочка. Вошли трое и показали документ и просто бросились на книги и вещи. Мы все встали, оделись. Слава был совсем спокойный. Он молился всё время, конечно. Всё перевернули вверх дном,» Настя высморкалась, «Верочка держала наготове сверток для Славы с собой, если возьмут (мы его давно уже приготовили для Славы). Они с нами не говорили. Только рыли, рыли, кидали всё. Один бегал с фонариком по дому, один смотрел книги и откладывал многие в сторону. Потом он унес

их с собой. Сорвали иконы, за ними шарили... Потом сказали Славе: «Одевайтесь.» Мы сразу поняли. Слава оделся, перекрестил нас и сказал: «Простите...» Вова, что с тобой?»

Вова почувствовал, что не может больше справляться с огромным угластым предметом внутри него, который не давал ему теперь даже дышать. Он резал и жег его всё время. Вова покатился по земле, скрежеща зубами, захватывая и вырывая траву и землю вокруг себя... Настя с огорчением и жалостью смотрела на него.

«Мерзавцы, сволочи, гады...» рычал катающийся Вова.

«Вова, поди сюда, сюда, ближе, вот так, да да... Не надо, не надо... Успокойся, Вова. Нет, нет, тише, тише. Вот так... Вова, Господь поможет Славе. Надо только молиться о нем больше. Вот... ну, ну... тихо, тихо. Вот положи сюда голову, вот так... Ну вот, ничего... не надо так расстраиваться... Не надо, Вова. Успокойся... У Господа свои пути. Это испытание для Славы... Значит так надо... пострадать...» Настя опять высморкалась, потом, убрав платок, опять стала гладить Вовины волосы и лицо.

«Вот так, вот так... Нет, нет... не расстраивайся так, Вова. Нельзя, нельзя так. Ты только подумай, если мы все — много, много нас — будем молиться о Славе Господь непременно услышит и поможет... Ну вот, лежи, лежи так...»

Вова (всё время дергающийся и рвущийся куда-то) уткнул лицо в Настино желтое платье и охватил ее рукой. Она крепко держала его голову обеими руками. А если бы он мог видеть ее глаза, то увидал бы, что они глядели помимо него на ржавые консервные банки на дне овражка. А что они видели?..

«Как они смели, Настя?!» мысль о проникновении грубой тупоумной силы в его тупик, в единственный настоящий кусочек бытия, была непереносима Вове. «Книги перерывали! Что они, свиные рыла, понимают в этих книгах?!» взвился снова Вова.

«Тихо, тихо, Вова. Они же понимают самое главное, что он их враг, враг сатаны... Мы всё время ждали этого, но...

всё-таки трудно поверить...» Настя опять высморкалась и снова захватила в изгиб своего локтя мечущуюся Вовину голову.

«Не надо, не надо, Вова... Лежи так. Тихо, тихо... Господь попустил это — значит так надо... Мы не всё можем понять, Вова, но Господу виднее... Аню очень жалко... А отец Михаил еще на свободе... Наши были у него — предупредить. Но ждет каждую минуту... Надо молиться, Вова. Ты тоже должен молиться. Побольше народа. Тогда, понимаешь, тогда они ничего не смогут с ним сделать. Тогда Ангелы Божии крылами своими закроют его, защитят... Но мы не должны впадать в отчаянье, а то темная сила не даст нам помочь ему молитвой. Понимаешь? Да, да... лежи, лежи так... тихо, тихо...»

Вова затих, охватив ее руками и чувствуя милый желтый запах ее ситцевого платья. Впервые он был так близок к ней и так ясно ощутил себя маленьким, беспомощным Вовой, ищущим успокоения и защиты от злых сил в близости к матери. Та же сладостная волна, как тогда в детстве, теперь вливалась в него, постепенно вытесняя спазмы отчаянья и бешенства. Новая, неожиданная связь нарождалась в этом смятении ощущений, в этом хаосе перепутанных чувств.

Наконец, он затих совсем и они долго оставались так молча: он — головой на ее коленях и охватив ее длинной своей рукой; она — грустно обняв его голову, медленно, кончиками пальцев гладя его лоб, брови и волосы.

«Да, Вова. У нас к тебе просьба; сегодня же (непременно сегодня) пойди по одному адресу. Только выучи его наизусть: Семенковский переулок (это за Рогожской заставой, третьим номером туда ехать надо). Семенковский переулок, д. № 17, во дворе, кв. 2 (первый этаж). Придешь и спросишь Марью Ивановну. И когда выйдет, скажи сначала: я от тети Кати. И когда она введет тебя в комнату, ты тихо ей всё расскажи. Понял? Только, помни — очень тихо. Ну, теперь повтори адрес и всё сначала.»

Не двигаясь и глядя в упор на цветочки желтого платья Вова повторил.

«Ну, а теперь вставай, пойдем. Мне нужно к нашим. И я не пойду тебя провожать до трамвая. Так лучше, а то ведь за нами следить могут... Так ты съездишь, Вова, за Рогожскую заставу?»

«Ну, конечно...»

«Ну, вот, хорошо. И обещай мне, что ты не будешь так расстраиваться. Не будешь?»

«Ну, конечно.»

«Вот и хорошо. До свиданья Вова. И... ты не приезжай к нам эти дни, Вова. Так лучше будет.»

Вова так был наполнен этой новой для него близостью к Насте (с удивлением и радостью нащупывая в себе то, что породила в нем ее материнская ласка), что даже не вложил смысла в эти ее последние слова, а, боясь растерять ново-родившееся огромное ощущение стоял и смотрел на ее уходящее желтое платье.

«Вот это и есть то самое чувство, из-за которого она сможет стать моей женой...» неожиданно и очень четко сам себе сказал Вова. Как будто что-то постороннее в нем сказало это. И он не удивился, не содрогнулся, а впервые ясно понял — что собственно ему нужно было в жизни.

«И тогда ничего не страшно будет...» подумал он.

А желтое пятнышко стало совсем маленьким, уходя от него по пустырю всё дальше и дальше, оставив душу его наполненную собой до краев.

12. ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

«4-38-57?»

«Да.»

«Квартира Чегодаевых?»

«Да, да...»

«Позовите Владимира Чегодаева.»

«У телефона.»

«Товарищ Чегодаев?»

«Я...»

«Ничего не спрашивайте. Отвечайте только «да» или «нет». С вами говорят из Государственного Политического Управления. Понятно?»

Да и нет не говорите, черного и белого не покупайте — неслось у Вовы в голове, но вдруг трубка обожгла ему ухо и захотелось бросить ее и убежать.

«Понятно, говорю?!»

«Да,» сказал хрипло.

«Вас вызывают завтра в 10 утра в Государственное Политическое Управление. Лубянка, 1. Понятно?

«Да...» — насколько позволило сдавленное горло.

«Вход с Лубянской площади. Пропуск в комнату № 213 возьмете в Отделе Пропусков. Улица Кирова, 2. Улица Кирова, 2. Понятно?»

«Да.» — совсем глухо.

«Понятно?! В комнату 213. Запомнили?»

«Да.»

«Всё.»

Вова положил трубку и долго стоял на месте, внимательно разглядывая телефон. В вем бушевал вихрь, настолько сильный, что он не мог пошевелиться и ничего не видел. Мыслей тоже не было. Потом захотелось разбить телефон от душившего к нему гадливого чувства. Потом пришлось пойти в кухню напиться из горсти воды (во рту от сухости всё скорежилось). Потом только он смог пойти в свою комнату и сесть на кровать.

И тут-то вдруг он и заметил, что все вещи вокруг него стали совсем другими. Он их как будто вновь увидел (очень уже давно не видел ничего). Вот и длинная его комната с письменным столом, примыкающим к кровати и с полкой его собственных книг — ужасно удобная, хорошая такая комната. А в окне рыжекрасная крыша дома напротив, как это он никогда не видел, что это замечательный цвет — приятно на него смотреть. А стекло в двери? — шершавое такое (ощущается так приятно, если его скрести ногтями)? А звук спускаемой в конце корридора воды — такой удивительный

уютный домашний звук, а коврик у кровати? — на него так приятно ступать босой ногой. Как же это он до сих пор всего этого «так» не видел? Да, но что случилось? Да. Что-то случилось. Да! Сам-то, сам-то он уже не принадлежит к этому миру, он — совсем отдельный, вне всего этого. И эта его отдельность (точно его вырезали по контуру и вынули из его «страты» и он оказался вне логической зависимости от окружающего его мира, вне его 3-х измерений), эта его отдельность была почти что невыносима. Но всё же он решил обойти все комнаты, чтобы испытать, проверить вновь возникшую прелесть на других вещах. Особенно хороши, до того упоительны, что трудно было вынести, оказались медные краны в кухне и полотенца с красными каймами, висящие на веревке. Как это я раньше, думал Вова, как это я раньше не видел всего этого? Где это было? И где я был? Просто кричать хочется, просто даже невероятно до какого восторга и до какой боли всё это прекрасно...

Два часа этого самого восторга перед вещами до того измотали Вову, что он даже прилег на кровать, но, странно, не только ощущения покоя или отдыха, но и лежания не получалось. Хотя тело его находилось в горизонтальном положении, но то, из чего оно состояло продолжало быть в вертикальном. Эту раздвоенность, расщепленность невозможно было переносить. Он встал и стал быстро ходить взад и вперед по своей длинной комнате, стараясь не зацепляться взглядом за окружающее. Это крайне динамическое состояние дало возможность временно хотя бы не испытывать потрясающего разрыва между собой и окружающим миром. Но тут случилась еще одна непредвиденная вещь. Взгляд его упал на будильник и он с ужасом понял, что он не учел времени, что так висеть над бездной ему придется еще часов 16! Времени он не учел совершенно. Время — ведь оно чудовищно. Оно же не двигается совсем. Ведь каждая минута — это уже нескончаемый отрезок времени. Вон как еле-еле ползет секундная стрелка. Невозможно дожить, кажется, до конца минуты. А тут ведь будут идти часы. Вова, как выжатая тряпка,

присел на кончик стула. «Я вас не боюсь. Я вообще никого не боюсь.» — Славины слова в читалке (тогда, в первый раз). Как он может *ничего* не бояться? А если Слава и его не боится, так ведь это же обязывает его, Вову, оправдать Славино доверие. Но как? Что он будет говорить «там»? Что лучше для Славы? Что лучше для девочек? И для всего тупичка и для всех в братстве? Что говорить, Боже мой, Боже мой! Что говорить? Чем наврежу? И кому: им или себе? И сквозь горькую и сухую какую-то оскомину вдруг хлынуло на него то свежее и прозрачное, что сопутствовало всегда его мыслям о Насте. А вдруг и ее? Его «желтое пятнышко?» Но я не знаю, что говорить, не знаю, не знаю. Горячими руками он рвал кровать за холодный шарик, валился на стол, грыз пальцы. Их жалею? Да, но и себя тоже, и себя тоже. В церковь ходил? Чтения слушал? А где же теперь это всё? Где? Где? Вконец измучившись, он затих и вдруг даже через оловянное свое бесчувствие так ясно вспомнил, как Слава разъяснял ему, что не следует человеку брать на себя слишком многого, что часть всегда нужно оставлять на реальную помощь от Бога, на ту помощь которую нормально сын ждет от отца. Такой выход в эту совершенно безнадежную минуту прямо ошарашил его. Так просто и так много. Ведь никто на свете не в состоянии помочь сейчас, ни один человек; а вот о Боге-то он и забыл. А это действительно выход. Вова подошел к иконе Божьей Матери «Одигитрии», висевшей в изголовьи кровати (Славин подарок) и неумелыми (такими «гражданскими» словами, как думал он потом) стал молиться. Это дало такую волну благодатной реакции, что он весь обмяк, ослаб, вспотел и, как мешок, сел на кровать. Тогда-то он достал с ночной тумбочки черный томик (тоже Славин подарок) и, неумело перекрестившись большим крестом, раскрыл: взгляд его упал на 12 стих 12-ой главы от Луки: «Ибо Святый Дух научит вас в тот час, что до́лжно говорить.» Теперь он даже нисколько не удивился. Иначе и не могло быть: мукой этого страшного дня он весь был так истощен, что конечно раскрыт был и для «такого». «Вот вы все!» улы-

баясь, кому-то он делал вызов, «вы будете утверждать, что чудес не бывает? А это что? Не чудо? Это — самое настоящее чудо.» И он совершенно успокоился, точно и не было этого, уже до предела дошедшего, отчаяния. И отвалился на подушки, и закинул руки за голову, и отдыхал и думал (хорошо и спокойно) о том огромном действенном, мистическом мире, о котором он, изучая идеалистическую философию, даже и не подозревал; о том 4-ом измерении в сторону духа, которое раскрыл ему Слава. «Господи, помоги Славе и спаси его,» молился он дальше. Радость от обретения этого нового измерения, в котором «при всяких обстоятельствах» можно было двигаться и жить, согревала его каким-то особым теплом. Он затих совсем и незаметно уснул.

Проснулся только тогда, когда пришел отец и стал греметь в кухне чайником (мать всё еще была на даче). Вова встал и прошел в кухню. Отец (без пиджака) зажигал газ. Ухватившись рукой за бельевую веревку и смотря на согнутую спину и знакомый седой бобрик головы, Вова вдруг почувствовал (впервые с детства) острую жалость к этому, всё тому же, еще ничего не знавшему и так спокойно зажигавшему газ, отцу. Жалость — взрослого к ребенку. Газ вспыхнул синим пламенем, отец бросил спичку и, поверх очков из-подо лба, глянул на Вову.

«Ты дома? Что ж, чайку попьем, сынище?»

«Мне бы поговорить с тобой нужно было, папа.»

«Да? Пойдем, пока чайник закипит...» «Да, «пока-чайник», «пока-чайник»... может быть последний «пока-чайник»». В кабинете отец включил настольную лампу с теплым уютно-покойным желтоватым светом, сбоку бросая взгляды на лицо сына.

«Ты что-то бледен очень. Здоров? Всё в порядке?»

«Да, да, я здоров и всё в порядке.»

Вова весь ушел в мягкое, с холодящим летним чехлом, кресло и с удовольствием вытянулся.

«Да, да, я слушаю тебя... Что-нибудь по романтической линии?» старался помочь отец, думая, что сын медлит по обычной своей застенчивости. А сын так жалел эти последние покойные минуты отца! Понял впервые, что отец стар и уже немножко вне жизни, а вот он, Вова, в самом отчаянном ее закруте.

«Видишь ли, папа, мне очень грустно, что так получилось. У меня на-днях арестовали товарища, а меня вызывают завтра в ГПУ,» тихо, устало сказал наконец Вова. Совсем другой Вова, чем тот, утром, что погибал от непосильного груза прелести обычных вещей. Точно пять лет прошло со времени «того», «другого Вовы». И даже больше: «того Вовы» вообще уже не существовало.

«Что ты говоришь?! Арестовали? Вызывают?» — (Ну, вот, я так и знал, что старик взволнуется).

«Ничего, папа. Не нервничай. Мой приятель — не контрреволюционер. Он совсем не политик. Он просто глубоковерующий человек и активный член Церкви.»

«Кто он такой? Ты у него пропадал всё это время?» — отец перекладывал вещи на столе: то ножик разрезальный возьмет, то преспапье, то — ножик, то — опять преспапье.

«Это очень хорошая семья, папа. Мой друг — образованный, умный, а главное очень хороший, идейный человек, каких мало,» всё так же медленно и раздельно говорил Вова из глубины своего кресла.

«А тебя вызывают, конечно, в связи с этим?»

«Ну, кто же может сказать? Сегодня в 11 был звонок...»

«Сюда? К нам на квартиру?» — это было, очевидно, как-то очень трудно переварить отцу. Он сдавливал большим усилием громкое дыхание.

«Да. Сюда к нам. И вызвали меня, Владимира Чегодаева. И передали, чтобы я явился завтра в 10 утра на Лубянку. Так я посчитал, что лучше тебя предупредить, на всякий случай. Хорошо, что мама на даче.»

Отец снова внимательно взглянул на Вову.

«Да, да, конечно хорошо. Погоди, что же мы можем сделать? Я поеду к наркому...» он бросил взгляд на кисть руки, «сейчас уже поздно, конечно. Но завтра...»

«Постой, папа. Если я не вернусь — тогда ты поедешь к наркому. Но ведь меня могут и пустить...» («Как странно, что я не замечал раньше, что не такой уж он взрослый, т. е. что уж не так далеко он от меня стоит,» с удивлением думал Вова).

«А... Вова, сам то ты как думаешь, в связи с чем тебя...?»

«Я думаю, что в связи с моим другом Ростиславом Антонóвичем, папа. Я бывал у него и с ним — в церкви.»

Они долго еще так говорили. Они больше не топорщились друг на друга, как бывало раньше. Чувствуя временами себя даже старше и мудрее отца, Вова дал себе спуститься вместе с ним в свое детство, в то сладостное состояние, когда они составляли с ним как бы одно целое, сидя в одном кресле (Вова сзади отца, нависая на его плечо) и вместе читая «Следопыта» или «Таинственный Остров»; или еще дальше вглубь, когда чеканили вдвоем хлесткие ритмы Чуковского. Он знал, что потом стал отрываться от отца, стал ему труден, странен: и в своих метаниях, и в отчужденности от всего бытового, и в своей замкнутости, и в нервных скачках своей психики. И вот сейчас, перед неизбежным и грозным «завтра» всё это исчезло. Говорить было легко и просто. Так просто, как думать с самим собой. Всё то, что было с ним в Песчаном тупичке, всё само собой всплывало на поверхность, складывалось в нужные формы и, очевидно, отделившись от него, переходило в отца. Лишь напряженное удивление не сходившее с лица отца подтверждало то, что это не были его мысли только, но и пересказ их. И опять они были почти одно: сын и отец, отец и сын.

А в кухне изо всех сил кипел чайник, бешено фыркая кипятком на синие завитки газа, которые от этого становились красными.

13. СЛУШАТЕЛЬНИЦА

Как он доехал до Лубянки, как взял пропуск в указанном адресе и как вошел в огромное здание, бывшего «Страхового Общества Россия» (как при упоминании об этом учреждении говорил отец) — всё это Вова не помнил потом совершенно. Просто выпало из памяти. Пришел в себя от окрика «Пропуск, гражданин!» Потом кто-то его куда-то вел: коридоры, коридоры, коридоры... Двери, лестницы, опять коридоры... Двери, двери. Открываются, захлопываются (вот так захлопнут и его навек). Всё дальше, дальше... Наконец и «его» дверь открылась. Стучавшее где-то в другом, неположенном ему месте сердце на мгновение выкинуло в сознание его же, Вову, но маленького перед открывавшейся дверью зубоврачебного кабинета и он даже на минуту был уверен, что вот сейчас увидит страшное кресло и белый халат... Но за одним из столов в небольшой комнате куда его ввели, сидела черноволосая женщина. «Где же следователь?» подумал Вова. Женщина сказала: «Садитесь.» Сел. И это было хорошо — ноги были какие-то странные.

«Фамилия?»

«Чегодаев.»

«Владимир?»

«Да...»

«Студент?»

«Да.»

«Вот хочу вам несколько вопросов задать, гражданин. Кстати, вы не родственник профессора Чегодаева?»

Вова взглянул и увидел мясистое, грубое лицо, властные движенья толстых рук (перекладывала какие-то листы).

«Сын...» Вова ухнул в какой-то глубокий колодец. Вдруг (так неожиданно и нелепо) — улыбка на толстом лице.

«А я — его бывшая слушательница.» Вова удивился и испугался еще больше — не замешивает ли он и отца в свои дела.

«Расскажите мне, товарищ Чегодаев, кто ваши друзья и знакомые. Среди кого вы вращаетесь?»

«У меня почти нет друзей. Я никуда не хожу.»

«Гм... почти. Кто же всё-таки есть?» («Ах, вот уже и всыпался... Боже, Боже, кого же назвать?»).

Вдруг совсем спокойно: «Ну вот семья Брыковниковых. Друзья отца.»

«Кто именно?»

Почти развязно: «Ну, сам Павел Иванович — известный зубной врач, его жена и дочь, Ирина...» Толстые пальцы быстро пишут.

«Вы часто с ними встречаетесь?»

«Нет, не очень...»

«Еще кто?»

«Да... никого.»

«А всё-таки?»

«Дядя, брат отца.»

«Как зовут?»

«Николай Алексеевич Чегодаев.» («Ведь не подвожу же их всех?»).

«Кто он? Чем занимается?»

«Преподаватель литературы в школе...»

Пальцы на столе пишут.

«Господи помоги!»

«Еще?»

«Да нет больше никого.»

«Молодежь?»

«Со студентами вижусь только на лекциях.»

«Еще?»

Вова молчит.

«Я слушаю, товарищ Чегодаев.»

«Я же сказал — больше никого.»

«А вот эта семья, Бы... (считывает с написанного) Брыковниковых, как они к Советской власти относятся?»

«О, совершенно хорошо!» (Вова с удовольствием вспомнил антисоветские анекдоты Павла Ивановича).

Улыбка. («Это еще что?»).

«Лояльно, вы хотите сказать.»

«Да, да...»

«Что вы изучаете в Университете?»

«Литературу и язык.»

«Кем хотите быть?»

«Еще не решил.»

«Еще с кем вы общаетесь?»

«Я же сказал, что это все.»

«Вот что, товарищ Чегодаев. Выйдите в коридор и подумайте там хорошенько.»

Вышел. Что говорить? Темно. Пахнет свежей краской. Есть ощущение, что допрос несерьезный. Очевидно, потому, что «слушательница». Улыбка. И у «них» сантименты. Что дальше говорить? Воняет краской. Краской воняет. Но не так страшно. Есть почему-то уверенность. Дверь отворяется. Господи! Помоги.

«Заходите.» («Заходите, черт возьми, на выматывание кишок!»).

«Если вы подразумеваете семью Антонóвич, где я иногда бывал, так это *не* мои знакомые. Я ездил к ним несколько раз по поручению. Они делают куклы. Художественная работа. Так вот меня просили... просила Ирина Брыковникова покупать ей эти куклы. Она в театральной школе...»

«Вам нравится эта Ирина?»

Готовое уже сорваться «Совершенно нет» вдруг, как-то само собой, заменилось скромным:

«Да, нравится...»

«Гм... еще никого не надумали?»

«Нет. Больше никого.»

«Хорошо. Можете идти.»

Что это? Идти? Куда идти? А это что?

«Пропуск возьмите. Чего вы сидите, товарищ Чегодаев?»

Вова вскочил, схватил кепку. Улыбка толстого лица. Вова выскочил в коридор. «Что, предал? Или нет? Отрекся? Или так лучше? И это всё? Идти? Свобода?» Хотелось сесть тут же на чугунные ступени лестницы, ноги не держали.

«Отрекся, или так лучше? Ничего ведь не выдал. А Ирина? Тоже в порядке. А эта черная — слушательница. Это вот вышло самое важное.»

«Пропуск, гражданин!» Вздрогнул. «Идите за мной!» Зеленая, гимнастеркой обтянутая спина, за которой шел, и голая масляная краска стен вызывали тошнотворную гадливость. Но теперь, по крейней мере, он видел, где он идет. Когда, наконец, последняя дверь хлопнула за ним, Вова не мог удержаться и бросился бежать, заглатывая воздух и бормоча что-то на бегу. В трамвае он качался, вися на ремне и пел в такт своего качания, а потом лез вперед на публику, внутренне напрягаясь, чтобы подогнать ход трамвая.

Взлетая на свой пятый этаж, еще снизу увидел лицо отца, повисшее в пролете лестницы.

«Ты?!»

Вова ткнулся, задыхаясь от бега, в пахнущий (с детства так знакомо) дезинфекцией пиджак.

«Цел?» отец сгреб его рукой и так они вместе протиснулись в дверь. Вова вбежал в кабинет и прямо рухнул на диван.

«Ой, как руки, ноги болят... Всё тело...»

«На вот, выпей рюмку водки!» отец налил у шкафа и подал ему. Рюмка дрожала в пальцах отца и водка плескалась на Вовины брюки.

По особой просьбе отца (как мог он отказать ему, вновь обретенному?) было решено, что Вова переждет дней десять и только после этого снова поедет в Сокольники.

14. КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО?

И снова нес его трамвай вдоль сосновых Сокольников. Но на этот раз он ехал совсем по-другому. Он вез в себе еще и другого Вову. События последних недель заставили его (он это физически ощущал) сделать скачок вперед, скачок в жизнь. В ту жизнь, которой он смутно страшился, отодвигая ее от себя и возводя преграду между ней и собой в виде книг, мыслей и мечтаний. Но всё получилось само-собой. Жизнь как-то незаметно вовлекла его в свой бешеный перекрут, изрядно его перетряхнула и вот перетряхнутый и оголенный (толстые пласты каких-то приятных и неясных фантазий, окутывавшие всю его юность сползали с него — он это ясно понимал) ехал он теперь опять в свой тупичок, в тот же и не тот же тупичок, в тупичок без Славы, без стержня, без оси, без главного пульса в нем. Невозможно даже было себе вообразить ни осиротевшего «папочку», ни других тупичковых, которым некого больше ждать, некому откладывать всё лучшее, некому накапливать новости и рассказы. И это во-первых. Во-вторых, тупичок становился другим и потому, что его собственный рывок в жизнь требовал нового взгляда на тупиковых и на себя в нем. Вова (весь пустой, какой-то полый изнутри) передернулся и стал глядеть в окно, тыкаясь плечом в стенку вагона от каждого толчка воющего на хроматической гамме трамвая.

День был серый и тихий. Кое-где между сосен уже зажигались осенним золотом клены. Красноватой медью бурели вдоль просек кустарники. Как быстро пролетело лето и скоро уже начнутся лекции. Говорят о переводе Литфака тоже куда-то сюда, в Сокольники. Вот смешно, рядом буду тогда с тупичковыми... Но интересно, как отец Михаил и другие из Братства? Целы ли?А Настя?

Этот вопрос самому себе был, конечно, самый главный. И именно поэтому он отодвигал его дальше и глубже. Он почему-то боялся его. Изнывание по ее обволакивающей все его уязвленные места нежной женственности натыкалось в

его душе на такое страшное волнение, что трудно было с этим справиться. И он старался, поэтому, четко ничего не додумывать. Состояние же пустоты в себе победить не мог. Понятно было одно: больше невозможно быть без ее ясности, тихости, «перуджиновости»... Ах, как медленно тащится этот десять длиннейших дней ожидаемый трамвай; даже на «По требованию» останавливается! Но скоро уже начнется и калошный запах. И он начался: густой, плотный, мощный... Странно только, что теперь знакомая ассоциация — радостного сжимания сердца — воспринималась им уже не как первичная данность, а как прошлое, как воспоминание, как нечто отсеченное от его теперешнего усложненного бытия. Как-будто Славин арест и всё связанное с ним провели грань, разделили Вовину жизнь на две части: до событий и сам Вова, и его ощущение жизни были совсем иными; неразрывность его с самим собой теперь явно была нарушена. Между ним и его действиями вклинивался кто-то третий и этот третий с осуждением смотрел, например, на того Вову, что катался по земле перед Настей и заставлял ее, убитую и страдающую за Славу, утешать еще и его... Отвращение к себе передернуло всё его тело. Но это тоже не путь, подумал он. Путь должен быть средний, путь «золотой», как он прочел где-то в духовной литературе. Кроме того, он теперь уже знал наверное, из опыта знал, что не всё доступно человеческому осмыслению и пониманию (это еще и Настя ему тогда на пустыре говорила) и что бунт человеческой души не ведет ни к чему доброму, что бунт ущербен, а сыновняя покорность и горячая вера в Бога — движет горами.

Трамвай проехал по мосту, свернул направо и неся еще на себе обрывки калошного запаха, подкатил к Карбюзье. Всё как-будто то же: вот будка для кондукторов (только без желтого пятнышка на ней), Гастроном с пирамидой коробок от кофэ «Здоровье» в витрине (сюда его как-то посылали за хлебом), «Починочная для обуви» (сюда они с Настей носили Славины ботинки), дальше чьи-то окна с уродами-зайцами и бумажными розами, потом переулок, знакомая колдобина на

другом углу, подгнивший заборчик с пучками порыжелого пыльного репейника, дом с забитым магазинным помещением, и, наконец, аптека на углу Клары Цеткин, со знакомым плакатом, поучающим невежественных матерей, как надо мыть и пеленать младенцев. Детское мыло! Как любил он этот плакат, когда приезжал сюда летом, как нежно любил он это белое детское мыло, словно из рога изобилия, струящееся из какой-то непонятной трубы широким потоком блестящих брусочков.

Когда Вова свернул на Клару Цеткин стал накрапывать дождь. Чувство пустоты, даже невесомости, всё еще продолжалось. От редких капель запахло взбудораженной пылью. Вова шел мимо заученных палисадников с березами, скворешниками и беседками. Под ногами, на убитой дорожке уже насыпался желтый березовый лист. Где-то тявкал щенок: нудно, с длинными паузами, тонким детским тявком.

Ощутив внезапную сухость во рту Вова свернул налево в тупик. На крыльце красно-бурого дома, дома, который он уже привык считать своей духовной собственностью (потому это он открыл этот фантастический тупик), на крыльце «его» дома стояла чужая, замотанная платком женщина. Сердце у Вовы дрогнуло.

«Чаво нужно, гражданин?» (Какой мерзкий, вовсе не «тупиковый» голос; и как это «чаво нужно»?).

«Я не к вам...»

«А к кому етта? Куды прёте, гражданин?» (Да, да, так и сказала: «куды прёте!»).

«Ета моя фатера! Идитё, идитё...»

«Ничего не понимаю! Это квартира Антонóвичей и я к ним и иду, пустите!»

«Да неча пускать. Сказано — фатера моя. А они все выехали.»

«Как выехали? Куда выехали?» слова были ужасные, непоправимые, но он не сдавался, не хотел понять их до конца.

«А мы почем знаем. Выселили их, ну и выехали значит. Врагами народа оказались. Вот что. Ну и значит разоблачили

их. Паразиты — только жилплощадь у честных граждан отнимали...»

«Да замолчишь ты, стерва...» с помутившимся взглядом Вова ринулся на женщину в платке, но та быстро вильнула за дверь (за тупиковую дверь с новым Славиным замком в ней! — еще успел подумать Вова) и оттуда продолжала визгливо орать: «Я в милицию заявлю, тут все кругом чисто враги народа, всех вас перехватать надоть...»

Вова резко повернулся и, стараясь не выпускать свой гнев за пределы своего плаща, никуда не глядя (всё кругом было внезапно отравлено) быстрыми шагами пошел прочь. Он задыхался и не мог думать. Нудный, повторявшийся через промежутки, тонкий лай щенка разрывал ему нервы, пока он шел, почти бежал по Кларе Цеткин. Дождь расходился всё сильнее.

В себя Вова пришел только у Сокольнического Круга, где должен был пересаживаться. Дождь уже шел теперь по-настоящему. Брызгал и вздувал пузыри на асфальте. Он-то, этот дождь, только и спасал Вову и Вовины мысли. Собственно, потому только Вова и смог начать думать «по-человечески», что шел этот дождь. Что лил дождь. Что дождь мгновенно разогнал всех людей (а как это было необходимо!) и что вся большая площадь перед ним была пуста. Исключая, конечно, Вову и дождь. Вова один стоял на трамвайной остановке, прислонясь плечом к столбу. Рукава его плаща сразу потемнели. Тяжелые острые капли стукали его по голове. Струи текли по лицу. Они-то и гасили тот огонь, что пылал в его мозгу. Ему казалось (как иногда кажется при очень высокой температуре), что он находится где-то на большой глубине, а жизнь идет наверху и он едва-едва достигает этой поверхности, где идет обычная жизнь.

«Выехали...» в который раз повторял себе Вова. «Выехали... Куда? Кто? Все? Где узнать?» Надежда на получение сведений у старушки, у которой он был после Славиного ареста,

была слаба. Собственная детская неосведомленность уже готова была привести его в ярость. С трудом борол в себе эту ярость. Что тупика, как некоего культурно-нравственного комплекса больше не существует — понять было невозможно. Или уже хотелось думать, что его никогда и не было, а был только сон. Сон великолепный!.. А если не сон, то куда же тогда всё исчезло? И как исчезло! На месте тупика — само зло, низкое, мелкое, грубое торжествует на единственных по милости ступеньках тупиковского дома. А! Так значит дом-то обманул его на этот раз, улыбаясь ему как родному уже издалека своими окнами? Теперь, и вовсе без участия времени дом отчуждился совершенно и обнажился в своей полной бездуховности. И как он мог попасться на это теперь, как мог он не понять фальши, как мог он...

Нет! Это всё вздор! «Тупик» исчез физически, но идея «тупика» осталась. И живет в нем, в свободном. Он принял эстафету гонимого «тупика» и никогда ее не бросит! И это самое во всём главное и даже главнее... да, даже главнее Насти. Боль при мысли о ее исчезновении вдруг с такой силой ударила в сознание (как мог он не ценить тогда по-настоящему возможности общения с ней?), что он со всего маху ударился о фонарный столб и даже издал какой-то странный рычащий звук при этом...

Но где же всё-таки они все? У Верки-Зверки? У Устиньи Ивановны? Или у художницы? Но тупиковых так много, а за всеми другими из братства тоже ведь следят... Даже Ваниного адреса («курносый, белобрысый» — как презирал ведь!), даже Ваниного адреса у него не было. Да и уцелели ли они все? Он уже слыхал от отца о волне арестов, прокатившихся по Москве. Глухо говорили о каких-то организациях молодежи. А Настя? Исчезнуть так совсем, не дать знать о себе... А знала ли она мой адрес? — Нет. Только фамилию и что сын профессора. Конечно не хотела навлекать опасность на нас... Да, конечно так. Думала ли она о возможности такого исхода событий тогда, там, на пустыре? Наверное думала. И просила его не ходить... Берегла его со всеми его истериками (Вова

снова содрогнулся, вспомнив пустырь и себя в нем). Что я делал? Как я мог? Надо было о деле, о деле говорить с ней тогда! Предложить им свою комнату, убрать их из тупика, помочь им... Господи, Господи, простишь ли Ты мне когда-нибудь это ужасное преступление? Всё бы, всё бы я отдал им теперь, а вот их нету. Исчезли. Нету их, А он сидел всё время у себя на Пречистенке, как дурак, и даже ничего не знал! Но надо же действовать! Где узнать о них? В церкви? А открыта ли она? Отца Михаила тоже, конечно, взяли. Что же делать? Боже, что же делать? — Ничего́. Не́чего делать. Молиться. Ждать. Чего ждать? — Знака, вести. Откуда? Куда? Но не могу поверить, чтобы не было знака...

С сухим шипом брызгая пушистыми пучками белых искр с проводов подходили мокрые, лакированные от дождя трамваи и, ломаясь в мокром лакированном асфальте, делали круг и подъезжали к остановке. Из застекленной будки под лакированными зонтами пробегали к ним люди и толкаясь исчезали на площадках. Всосав их всех в свое пустое нутро трамваи уходили. Вова по-прежнему один стоял под проливным дождем, прислонясь мокрым плечом к фонарному столбу и вполне равнодушно смотрел на уходившие переполненные трамваи.

«Надо что-то решить, надо понять, осмыслить, что случилось, надо для себя что-то окончательно решить. Первое и это абсолютно ясно — случайного быть не может. Всё что было — было нужно мне. Тупик и всё «знание», связанное с ним было совершенно необходимо мне, хоть и ставшему на идеалистические позиции и признавшему абсолют — единственную вечную ценность — но не имевшему настоящей веры и реального ощущения Бога. Не было основы. И вот тупик дал мне это главное. Бог — не умозрение. Бог это то совершенно идеальное, творческое и отдельное, к чему стремится всякая живая настоящая душа. Бог это абсолютная реальность, и жизнь мыслима только в подчинении Ему, и поэтому от Бога принятые испытания надо нести так, как несли и несут их все тупиковые. Слава и другие — не сон, а огромная, живая, трепещущая Богом сила, которая дает свет далеко вокруг себя и

этим светом будут жить много, много других душ. Слава сам — конечно особо отмеченный Богочеловек, и его Господь поставил на мученичество. И дело не в счастьи данного момента, не в очаровании чего-то прелестного но преходящего, а дело в самом главном, в цели всего, в пути к Богу, в правильности этого пути, в стремлении очистить себя от всякия скверны. И в вере и в надежде. И если это нужно и важно, то я снова найду свой «тупик» и снова встречу всех «тупиковых», только я не должен выходить из той же орбиты Бога, в которой находятся и они. А удар этот, Господи, посланный Тобой, принимаю со смирением (как Настя говорила мне), не буду растрачивать себя на метания и ропот, т. к. сила моя духовная, да и физическая нужна всем им, прежде всего. Искать же их начну немедленно и... Господь поможет мне. Поеду в церковь, к старушке, попытаюсь в Темирязевке разыскать Верку-Зверку, даже в контакт с библиотекаршей войду».

Вова стряхнул с себя дождевую воду и пошел к подходившему трамваю.

Наталия Ильинская

* * *

Как тень горы, упала тень разлуки
На светлый луг, и он померкнул весь.
В траву напрасно зарываю руки, —
Я здесь еще — и я уже не здесь.

А за горой, над самой острой гранью
Висит заката розовая прядь, —
Я уложу ее в воспоминанье,
Прикрыв глаза, чтоб складок не измять.

Лидия Алексеева

ПОСМЕРТНЫЙ ДНЕВНИК

1

Ночных часов тяжелый рой.
Лежу измученный жарой
И снами, что уже не сны.
Из раскаленной тишины
Вдруг раздается хрупкий плач.
Кто плачет так? И почему?
Я вглядываюсь в злую тьму
И понимаю не спеша,
Что плачет так моя душа
От жалости и страха.
— Не надо. Нет, не плачь.
. . . О если бы с размаха
Мне голову палач!

2

На барабане б мне прогреметь —
Само-убийство.
О, если б посметь!
Если бы сил океанский прилив!
Друга, врага, да и прочих простив.
Без барабана. И вовсе не злой.
Узкою бритвой иль скользкой петлей.
— Страшно?.. А ты говорил — развлечение.
Видишь, дружок, как меняется мнение.

3

Дымные пятна соседних окон,
Розы под ветром вздыхают и гнутся.
Если б поверить, что жизнь это сон,
Что после смерти нельзя не проснуться.

Будет в раю — рай совсем голубой —
Ждать так прохладно, блаженно-беспечно
И никогда не расстанусь с тобой!
Вечно с тобой. Понимаешь ли? Вечно...

4

Меня уносит океан
То к Петербургу, то к Парижу
В ушах тимпан, в глазах туман,
Сквозь них я слушаю и вижу —

Сияет соловьями ночь,
И звезды, как снежинки тают,
И души — им нельзя помочь —
Со стоном улетают прочь,
Со стоном в вечность улетают.

5

Зачем как шальные свистят соловьи,
Всю южную ночь до рассвета?
Зачем драгоценные плечи твои,
Зачем?.. Но не будет ответа.

Не будет ответа на вечный вопрос
О смерти, любви и страданьи.
Но вместо ответа над ворохом роз,
Омытое ливнями звуков и слез,
Сияет воспоминанье
О том чем я вовсе и не дорожил
Когда на земле я томился. И жил.

6

Все розы увяли. И пальма замерзла.
По мертвому саду я тихо иду
И слышу, как в небе по азбуке Морзе
Звезда выкликает звезду.
И мне — а не ей — обещает беду.

7

В зеркале сутулый, тощий,
Складки у бессонных глаз.
Это всё гораздо проще,
Будничнее во сто раз.

Будничнее и беднее —
Зноен опаленный сад,
Дно зеркальное. На дне. И
Никаких путей назад:

Я уже спустился в ад.

8

«Побрили Кикапу в последний раз,
Помыли Кикапу в последний раз!
Волос и крови полный таз
Да-с»*

Не так... Забыл... Но Кикапу
Меня бессмысленно тревожит,
Он больше ничего не может,
Как умереть. Висит в шкапу —
Не он висит, а мой пиджак —
И всё не то. И всё не так.

Да и при чем бы тут кровавый таз?
«Побрили Кикапу в последний раз»...

---

* Стихотворение художника Н. К. Чурляниса (1875-1911).

9

Было всё — и тюрьма, и сума.
В обладании полном ума,
В обладании полном таланта,
С распроклятой судьбой эмигранта
Умираю...

Август 1958 *Георгий Иванов*

**
*

Я не могу простить себе —
Хотя другим я всё простила, —
Что в гибельной твоей судьбе
Я ничего не изменила —
Ничем тебе не помогла,
От смерти не уберегла.
Всё, что твоя душа просила,
Всё то, что здесь она любила...
Я не сумела. Не смогла.

Как мало на земле тепла,
Как много холода — и зла!

Мне умирать, как будто, рано,
Хотя и жить не для чего.
Не для чего. Не для кого.
Безбрежность моря-океана
Отчаяния моего.
Отчаяния торжество.

Глухого маятника маяние —
Воспоминания. Раскаяние.
И слезы — не вода и соль,
А вдовьи слезы — кровь и боль.

Мне очень страшно быть одной,
Еще страшнее быть с другими —
В круговращеньи чепухи —
Страшнее. И невыносимей.

В прозрачной тишине ночной,
Как наказанье за грехи,
Звенят, чуть слышно те стихи,
Что ты пред смертью диктовал.
Отчаянья девятый вал.
Тьма.
И в беспамятство провал.

Ирина Одоевцева

Печатаемые ниже стихи получены нами из-за «железного занавеса», от поэта, которого там не печатают. *РЕД.*

ВСТРЕЧА

Бензином пахла мостовая
И за решеткой гаснул сад.
Весенний вечер, остывая,
Был весь от солнца полосат.

То свет, то мрак. Лучи и тени.
Их было жаль топтать ногой.
Они как пестрые ступени
Вели из мира в мир другой,

Такой зеркально-непохожий,
Сквозной и зыбкий как весы.
Где ты, бродя, быть может тоже
Украдкой смотришь на часы,

Такой же странно-человечий
В потоках света и тепла.
И ждешь сто лет той самой встречи,
Что здесь быть встречей не могла.

МРАЧНЫЙ БЕРЕГ

Многое в жизни видали мы
И всё-таки может присниться:
Море, солнце, пальмы
И нежное небо Ниццы.

На набережной гром карнавала.
Музыки скрежет и визги.
Плеск набежавшего вала,
Его изумрудные брызги.

Прожили мы в жизни много.
И всё-таки жалко отчасти,
Что всё было сумрачно, строго
И вовсе не было счастья.

Что долг обернулся изменой
И вера изверилась вскоре.
И только прекрасной, нетленной
Осталась торжественность моря.

ГОЛЫЙ ГОСТЬ

Ночь — всех призраков пора,
С грустью в сердце вспомнишь это.
Ходит в гости до утра
Призрак вечности к поэту.

Обезглавленный, босой,
Робеспьер или Людовик,
Он размахивал косой,
Уж заржавленной от крови.

И садился на кровать,
И дышал темно и глухо.
Ах, как трудно умирать! —
Наклонясь шептал мне в ухо.

Ах, как трудно из тюрьмы,
Где решетки, цепи, звенья,
Выйти к свету, как из тьмы,
Не зажмурясь на мгновенье.

На мгновенье ослеплен,
На мгновенье полон страха —
Это сон или не сон:
Эти люди, эта плаха...

И потонет в ночь и мглу
След, оставленный любовью:
Капли крови на полу,
Капли слез на изголовьи...

ЧАЙКИ

На речке — зыбкий смерч волны,
Метут метелью белой хлопья.
Мы этой сутолкой больны
На сонной пристани в Европе.

Летя, шумит круговорот.
О, сколько крыльев, сосчитай-ка!
Дрожит, шумит, блестит, растет
Их белый круг — летают чайки.

Для сердобольных горожан,
Бросающих кусочки хлеба,
Сквозь желтый утренний туман
Их легкой бурей пахнет небо.

То поднимаясь в высоту,
То вниз скользя с воздушной горки,
Хватают чайки налету
Им в воздух брошенные корки.

Родных морей покинув даль,
Чтобы спастись от непогоды,
Они в реке найдут едва ль
Свой призрак счастья и свободы.

Но ветер, грузно и темно,
Им машет факелом огромным,
Как будто им, как всем бездомным,
Еще вернуться суждено...

ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Любовь моя, сестра труда
И счастья кроткая подруга!
Кто нас с тобой позвал сюда,
Как мы нашли с тобой друг друга?

Средь тысяч солнечных систем
Крутились вихри синей пыли.
И всё, что было перед тем,
Мы, улыбнувшись, позабыли.

Моя далекая звезда!
Еще не время! Голос птичий
В пути тревожит поезда
Ночным серебряным величьем.

Еще не время... Столько лет
Не изменило, хоть бы частью,
Теченья бурь, путей планет,
И ливней с радугою счастья.

Послушай этот водопад!
Тебе так много нужно силы,
Чтоб сердце, с жизнью невпопад,
Опять о прошлом не просило.

Виктор Ляпин

ТУРГЕНЕВ В АМЕРИКЕ

Хотя 75-летие со дня смерти И. С. Тургенева и было отмечено в Советском Союзе, но личность и творчество этого писателя не вызвали, повидимому, того отклика, которого они заслуживают. В канун годовщины «Литературная газета» сообщила, что Государственный Литературный музей организует вечер памяти писателя и выставку материалов, хранящихся в фондах музея. Было проведено несколько вечеров на родине Тургенева, в Орле. Памяти писателя была посвящена специальная сессия Института мировой литературы Академии Наук и Гослитмузея, на которую были приглашены и участники Международного конгресса славистов, происходившего тогда в Москве.

Некоторые сентябрьские номера толстых журналов отметили годовщину несколькими статьями и публикациями. Так, в журнале «Вопросы литературы» (№ 9, 1958 г.) появилась «публикация» Б. Гиленсона перевода предисловия Синклера Льюиса к «Отцам и детям», изданным в 1943 году (издание это отнюдь не последнее, о чем читатель узнает ниже). Русскому читателю в этом предисловии будет интересно одно замечание американского писателя: «Хочется надеяться, — писал Синклер Льюис, — что, прочитав 'Отцов и детей' в этом прекрасном издании, новые читатели увидят Россию, которая добрее, патриархальнее, чем Россия ночлежек и подвалов в произведениях Горького, но от этого картина не потеряет своей реальности и впечатляемости».

В декабрьском номере журнала «Звезда» были опубликованы письма И. С. Тургенева к Е. И. Рагозину, одному из редакторов и издателей газеты «Неделя», примыкавшей в начале семидесятых годов к демократическому лагерю русской журналистики. Рагозин обратился к Тургеневу с просьбой дать для «Недели» какой-нибудь рассказ. Тургенев обещал и первоначально предполагал дать туда рассказ «Русский немец и реформатор». Но не окончил его, так как знал, что «никакая тогдашняя цензура» его бы не пропустила. Вместо этого рас-

сказа он отправил Рагозину рассказ «Наши послали!» с подзаголовком «Эпизод из истории июньских дней 1848 года в Париже». Послесловие и примечания к этим письмам написала Л. Николаева.

Этим, в сущности и ограничиваются официальные отклики на 75-летие со дня смерти Тургенева. Эти официальные отклики, конечно, не отражают того постоянного интереса к Тургеневу, который существует к нему среди рядовых читателей.

Размышляя над причинами бедности официальных откликов, приходишь к заключению, что подлинная причина ее лежит в том, что Тургенев чужд официальной литературной общественности и чужд он не только потому, что описывает жизнь давно ушедшего времени; он глубоко чужд ей по всему своему духовному политическому облику. Тургенев был убежденным западником и мысли, вложенные им в уста Потугина в его ночной беседе с Литвиновым в «Дыме», — это мысли и чувства самого Тургенева. Позволю себе напомнить только одно место из этой беседы: — «Да-с, да-с, я западник, я предан Европе, т. е., говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которой так мило у нас теперь потешаются — цивилизации — да, да, это слово еще лучше — и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры нет у меня и не будет. Это слово ци-ви-ли-за-ция... и понятно, и чисто, и свято, а другие все — народность там, слава, что ли, кровью пахнут... Бог с ними!».

Как это ни покажется парадоксальным, из остальных стран мира наибольший интерес к Тургеневу — в Америке. Сам Тургенев никогда не был в США (хотя его и не раз приглашали приехать сюда, например, Генри Джеймс старший — отец писателя Генри Джеймса). Тем не менее трудно найти другую страну, где Тургеневым так увлекались бы и знали, как именно в Америке. Здесь больше чем где-либо он был действительно «послом русской интеллигенции» и послом русского народа, — как пишет А. С. Ярмолинский в своей работе, посвященной жизни и творчеству Тургенева (1926 г.).

Симпатии к Тургеневу в Америке, хотя и возникли случайно, имели под собой и политическое основание. В Америке это было время гражданской войны между Севером и Югом, и Россия, не дожидаясь ее окончания, признала правоту Севера. В 1863 году в Нью Йоркскую гавань прибыл русский флагманский корабль; приветствовать русских офицеров было поручено молодому американскому дипломату Юджину Скайлеру. Русские так понравились ему, что он решил изучить их

язык и познакомиться с русской литературой в подлиннике. Скайлер нашел в Нью Йорке православного священника, который согласился давать ему уроки. Через три года Скайлер настолько овладел языком, что в 1867 году выпустил в своем переводе «Отцов и детей» Тургенева. В том же году он получил назначение на пост консула в Москву и по дороге к месту новой службы остановился в Баден-Бадене, где тогда жил Тургенев, чтобы лично познакомиться с писателем, вызвавшим в нем такую большую симпатию. В Баден-Бадене, кстати, начинается действие романа «Дым». Тургенев дал Скайлеру несколько рекомендательных писем, в том числе к В. Ф. Одоевскому и Льву Толстому. Обо всём этом рассказал позднее сам Скайлер в своих «Очерках» («Избранные очерки» вышли уже после смерти их автора, в 1901 году). В эту первую встречу Скайлера с писателем, Тургенев рекомендовал ему перевести повесть Толстого «Казаки». По приезде в Москву Скайлер воспользовался письмом Тургенева к Одоевскому и был очарован им и его женой. Поразили Скайлера многосторонность интересов и образованность Одоевского и его демократизм. С Толстым Скайлер познакомился в следующем году в Ясной Поляне и тогда же рассказал Л. Н. какого высокого мнения был Тургенев о его повести. Толстой, по словам Скайлера, был явно обрадован этому отзыву и в свою очередь хорошо отозвался о «Дыме», тогда только недавно (в 1867 г.) опубликованном. Любопытно замечание Скайлера, что ни из этой беседы, ни из более поздних встреч с Тургеневым он не мог вынести впечатления, что оба писателя были тогда не в ладах друг с другом.

Скайлер послушался совета Тургенева и приступил к переводу повести Толстого, но в силу ряда обстоятельств ему удалось закончить этот перевод только через десять лет. В предисловии к этому переводу (1878 г.) Скайлер упоминает и об отзыве Тургенева, который считал «Казаков» «самым замечательным произведением русской литературы».

Книга «Избранных очерков» Скайлера познакомила американских читателей со многими деталями литературной биографии Тургенева и Толстого. Скайлер рассказал, между прочим, и о том, что царское правительство использовало кличку «нигилист» в качестве жупела для характеристики представителей молодой, радикально и революционно настроенной интеллигенции. Не думали эти интеллигенты, что по стопам царского правительства пойдет и будущая, вышедшая из революции советская власть.

Популярность Тургенева в Америке росла с появлением каждого нового его произведения. Любопытно, что один из крупнейших американских журналов — *Atlantic Monthly* в отделе «Новинки литературы» не только давал отзывы о произведениях Тургенева, появлявшихся по-английски, но откликался и на немецкие и французские переводы. Так в январьском выпуске этого журнала за 1872 год напечатана была обширная рецензия на пятый том сочинений Тургенева в немецком переводе; том этот включал и «Накануне». К этому времени, впрочем уже существовали и французский и английский переводы этого романа. В своем обзоре рецензент подчеркивает: Елена и Инсаров — не просто люди из хорошего общества; вся книга — грустная, ее конец трагичен и тем не менее читатель остается под впечатлением, что на свете есть нечто, что переживает самые большие страдания и самую бренность человека, — в мире существуют «бессмертные чувства и переживания».

Из многочисленных отзывов на «Накануне», приведу еще только один, появившийся в августовской книжке того же журнала за 1873 год: по мнению обозревателя новинок в «Накануне» особенно ярко сказалась тургеневская сила в воспроизведении эпизодов из повседневной жизни. Он умеет показать такой эпизод со всей «неизмеримой глубиной его скрытых намеков». Подчеркивает обозреватель и зоркость художнического глаза и беспристрастность Тургенева, которые помогают его образам жить своею, от художника независимой жизнью.

В августовской книжке *Atlantic Monthly* за 1872 год помещен и первый отзыв о «Дыме». «В этом романе надо, — по словам рецензента, — преодолеть только первые страницы, чтобы получить представление о его сюжете, а потом читатель уж не сможет оторваться от него до самого конца. Пересказав содержание «Дыма», автор резензии приходит к заключению, что американцы и русские в чем-то похожи друг на друга. Сходство это основано на *молодости* как американского, так и русского общества и на обширности обеих стран. «Мы хотели бы, — заканчивает резензент, — чтобы это сходство выразилось в том, что и у нас появился бы такой национальный писатель, как Тургенев».

Указание на сходство обеих стран — Америки и России — было довольно распространенно во второй половине девятнадцатого века. Упоминает об этом и Ройял А. Геттман в своей монографии «Тургенев в Англии и Америке» (она по-

явилась в издательстве Иллинойского университета в 1941 г.). Среди предположений о причинах большой популярности Тургенева, — пишет Геттман, — наиболее часто приводилось указание на молодость славянской и американской культуры и цивилизации: «обе страны были странами будущего». Англичане, — тут же добавляет Геттман, — иначе толковали «молодость» обеих стран, считая, что эта молодость была «примитивным варварством».

Наряду с «Отцами и детьми» большим успехом в Америке пользовался «Рудин», переведенный в 1873 году. В сентябрьском выпуске *Atlantic Monthly* того же года уже была рецензия на эту книгу. Рецензент останавливался на недостатках композиции романа, в частности, на наличии в нем трех эпилогов (кажется, русская критика прошла мимо этой особенности в конструкции романа): один эпилог повествует об отъезде Рудина из дома Ласунских, второй рассказывает о встрече через много лет спустя Рудина с Лежневым и о решении Рудина навсегда уехать из России и, наконец, третий сообщает о смерти Рудина на баррикадах Парижа. Несмотря на эти недостатки обозреватель романа считает «Рудина» чуть ли не выше «Гамлета» или «Ричарда III».

Пожалуй, еще интереснее отзыв о «Рудине» американского писателя Томаса Перри в 1874 году. В своей статье Перри не ограничивается «Рудиным», но включает в нее «Записки охотника», «Накануне» и «Отцов и детей».

«Трудно переоценить мастерство Тургенева в обрисовке характеров, в умении подать драматический момент в жизни его героев». Писатель всегда знакомит читателя со своими героями в той обстановке, в какой читатель мог бы их почувствовать без рассказа писателя *о них*. Мы видим героев и анализируем их черты сами. Чего больше можно требовать от писателя, чем показа их такими, какими они являются в самой жизни, со всеми их недостатками и добродетелями? И при этом писатель ставит их в такие отношения друг к другу, которые вызывают симпатии в читателе».

Почти все романы и рассказы Тургенева возбуждали в американских читателях думы о смысле жизни, об общественном устройстве, иными словами — читательская реакция была окрашена социально-психологически. Исключение составляет «Дворянское гнездо». Роман появился в Америке в разных переводах. Старейший из них — «Лиза», в переводе Ролстона, был издан в 1872 году; в февральской книжке *Atlantic Monthly* за 1873 год был напечатан о нем отзыв. В начале резензии ав-

тор пробует сравнить «Лизу» с другим романом «Мщение» Нойрела (*Noirel*), но тут же отказывается от своего намерения, хотя и не отказывает автору «Мщения» в литературном мастерстве. «Что сказать о втором романе? — спрашивает он и тут же сам отвечает, — это жизнь, не больше и не меньше и, хотя эта жизнь не наша, она вне всякого сомнения подлинная жизнь. Всё здесь описано без всякой аффектации, даже манера письма в романе какая-то естественная; автор никогда не призывает восхищаться тем, как замечательно написана книга, он только вызывает изумление правдой и ценностью созданного в целом». «Тургенев больше чем кто-либо из множества писателей обладает способностью самозабвения... Ни один из его героев не является его любимцем, ни одного из них он как будто ни за что не упрекает; вы любите его героев или ненавидите их за то, что они представляют собой; иногда кажется будто писатель и не считает, что это его дело внушать какие-то определенные чувства к его персонажам. Бывает даже трудно примириться с такой степенью 'непредвзятости'; и всё-таки чувствуешь всю глубину нравственной серьезности произведения этого автора. Он действительно знает, что такое добро и что такое зло, даже тогда, когда кажется нейтральным. В его произведениях вы чувствуете не только присутствие подлинного гения, но и человека с чистой совестью»...

Остановившись затем на характеристике тургеневского письма, рецензент вновь возвращается к передаче впечатлений от чтения романа. «Исподволь читатель знакомится с русской жизнью, как-то незаметно для себя 'руссифицируется' и по мере развертывания действия чувствует, что ему хочется называть своих новых знакомых по имени и отчеству. И вдруг, в какой-то момент все дотоле казавшиеся разрозненными нити повествования собираются в руке писателя, интерес становится всё напряженнее. Всем предыдущим читатель уже подготовлен к тому, что дальнейшее развитие обусловлено характерами героев романа, страстью, жизненной обстановкой... Когда развитие достигает своего апогея — несколько беглых штрихов еще более сгущают трагедию... читатель чувствует, что он уже не в силах продолжать быть участником этих событий, но именно в этот момент перед ним встает картина в целом во всей просветленности ее безнадежного пафоса. Читатель испытывает печаль и боль за Лизу — она так хороша, Лаврецкий так достоин счастья... их горе становится горем самого читателя...».

Три американских писателя испытали на себе особенно сильное влияние Тургенева: Томас Перри, Вильям Дин Хауэлс и Генри Джеймс. Увлечение Томаса Перри сказалось в большом количестве статей, посвященных разбору творчества Тургенева и в переводе (правда, с французского языка) романа «Новь». Своему увлечению Тургеневым Вильям Дин Хауэлс посвятил книгу «Мои литературные увлечения» (1895 г.). Вспоминая годы, проведенные в Кембридже, Хауэлс писал: «В те годы в Кембридже самым важным в моем литературном опыте было знакомство с произведениями Тургенева... автор их стал для меня предметом самого глубокого литературного увлечения моей жизни». Хауэлс сравнивает свои чувства к Тургеневу с ощущением счастья, которого он ждал всю свою жизнь «и вот оно пришло, и я щедро и на всю жизнь вознагражден...». Позже, однако, место Тургенева в литературной биографии Хауэлса занял Лев Толстой.

До конца верным чувствам своей молодости к Тургеневу остался Генри Джеймс. Еще до своего знакомства с Тургеневым в 1875 году в Париже, Джеймс стал откликаться на все произведения Тургенева, появлявшиеся по-английски или по-французски. Так, в апрельской книжке *Atlantic Monthly* за 1874 года Джеймс дал отзыв о повестях «Вешние воды» и «Степной король Лир»:

«Двенадцать лет тому назад он (т. е. Тургенев) был едва известен по имени даже во Франции, где у него сейчас так много симпатизирующих читателей. Теперь все его повести и романы переведены, а некоторые из них даже самим автором... Он пользуется сейчас европейской известностью и популярность его всё растет». Аналогичная рецензия Джеймса в том же году появилась и в другом большом американском журнале *North American Review*. В этой статье интересно замечание Джеймса, что Тургенева следует отнести к категории «прилежных гениев». Ему свойственна установка на узкий круг наблюдений, у него нет способности к «быстрой, страстной, безрассудной импровизации Вальтера Скотта, Диккенса или Жорж Занд. И тем не менее он очаровывает читателей иными средствами: он рассказчик с блокнотом. Привычка записывать впечатления — создалась у него вероятно очень давно»... Автор «чувствует и любит русский характер во всех его проявлениях». Он создал целую галлерею этих характеров, начиная с крепостных крестьян, полуварварских самодуров-помещиков, недалекого, но добродушного провинциального русского общества. «Но русское общество, как и наше соб-

ственное, находится в процессе своего формирования, русский характер — в состоянии переделки, в море перемен... Очарование Тургенева заключается в сочетании в нем благородного (аристократического) темперамента и демократического интеллекта. Его пытливому уму обязаны мы многообразием его сюжетов, его темпераменту — утонченным их оформлением».

В 1875 году Генри Джеймс отправился в Париж, где стал постоянным гостем на журфиксах Флобера. Встречи эти описаны в Дневнике Гонкуров. Упоминает о них и Альфонс Додэ в своей книжке «Тридцать лет в Париже». Джеймс любил эти встречи у Флобера, но предпочитал им беседу с Тургеневым с глазу на глаз в маленькой зеленой гостиной в парижском доме Виардо или в Буживале. Да ведь и всю поездку в Париж Джеймс затеял из-за желания познакомиться с Тургеневым. Об этом периоде в литературной биографии Джеймса много ценного материала содержит книга Корнелии Келли «Ранний период творчества Генри Джеймса» (1930 г.). Но и до личного знакомства с Тургеневым, в результате одного лишь внимательного чтения его произведений, влияние Тургенева на американского писателя было похоже на действие «живительного впрыскивания». Личное знакомство с Тургеневым еще больше очаровало Джеймса. В статье еженедельника *Nation* (апрель, 1877 г.) Джеймс признается, что Тургенев оказался «милее, шире, крупнее во всех смыслах, чем можно было себе представить».

Подводя итоги своим впечатлениям от знакомства с Тургеневым, Джеймс задумывается над тем как лучше строить сюжет романа. Из изучения тургеневских произведений и из личных бесед с ним он понял, что для Тургенева первым делом был не сюжет, как таковой, а показ действующих лиц; на каждого из них у него имелось как бы специальное «досье». Долгое время Джеймс думал, что действие должно развиваться в соответствии с характерами данных героев, вырастать из них, но он не думал о «степени этого соответствия, не думал он и о том, что действие может быть произвольно выбрано автором, чтобы более полно выявить характер данного персонажа... Именно после встречи с Тургеневым Джеймс включил эти новые мысли в число правил, выработанных им для своего творчества».

Тургенев был «так прост, так естествен, — вспоминает Джеймс позже, — так скромен, так лишен всяких претензий и сознания своего собственного значения, что порой начинало казаться — да гений ли он вообще?».

Корнелия Келли подробно анализирует произведения Генри Джеймса, в которых чувствуется влияние Тургенева. Из перечисленных ею произведений Джеймса следует упомянуть «Родерик Хадсон» и «Американец». По словам Келли, Рудин носился перед мысленным взором Джеймса, когда в лице Родерика Хадсона он создал тип американского неудачника. Лиза и Лаврецкий оказали влияние на Джеймса, когда он писал свой роман «Американец», в котором герой влюбляется во француженку, но родные ее противятся ее браку с американцем и девушка уходит в монастырь.

В конце семидесятых годов, в маленьком городке Чотокуа (*Chautauqua*) в штате Нью Йорк, возникло просветительное движение, в программу которого входили лекции по литературе разных стран, в том числе и России. Среди американских писателей большой известностью пользовалась Изабелла Хапгуд, она перевела много произведений русской литературы, в том числе и Тургенева. Позже, в 1902 году *Chautauqua Literary and Scientific Circle* издало ее книгу «Обзор русской литературы», составленную из отдельных очерков писательницы. В этой книге немало страниц отведено Тургеневу. О нем она писала: — «Из всех писателей современников Тургенев был вне всякого сомнения самым крупным... Особенностью его литературного стиля была изумительная мягкость и нежность тонов; в сочетании с какой-то приглушенностью красок это живо напоминает воздух и небо центральной России. Ни одной резкой, грубой черты нельзя найти у Тургенева, ни одного слишком бьющего в глаза оттенка. Описываемые им предметы возникают не сразу, а как бы вырастают постепенно из ряда деталей... Вместе с целой серией мужских образов Тургенев дает галлерею русских женщин 50-х и 60-х годов, нарисованных бесподобно, в манере близкой к гениальности. Часто его героини во всём своем нравственном величии словно намеренно поставлены рядом с незначительными мужскими характерами, как будто для того, чтобы усилить их моральное превосходство».

Может быть самым поразительным в увлечении американцев Тургеневым было то, что оно длилось не год и не два, а продолжалось целые десятилетия. В статье Валерияна Грибоедова *The Nihilists of New York* в апрельском номере 1889 г. журнала *The Cosmopolitan* отмечается, что Америка переживает своего рода «манию» на всё русское. Американцы увлекаются народом, который меньше всего знают, «с жадностью» читают здесь Тургенева и Толстого... В конце столетия в Аме-

рику приехал П. А. Кропоткин (1897 г.) и прочитал в этот первый свой приезд лекцию о русской литературе в Нью Йорке. Во второй свой приезд в 1901 году Кропоткин прочитал серию лекций в Бостоне. Позже из этих лекций составилась книга «Русская литература». Еще позже, в 1915 году, она же вышла под другим заглавием (привожу ее английское заглавие в переводе по-русски — «Идеалы и действительность в русской литературе»). Не малое место занимает в этих очерках Тургенев. Особенно интересна одна мысль Кропоткина, что настоящим ключом к роману «Отцы и дети» является лекция Тургенева о Гамлете и Дон-Кихоте, прочитанная им в 1860 г. Вспоминая о своей беседе с Тургеневым в Париже, Кропоткин пишет, что Тургенев в действительности восторгался Базаровым, как резкостью его, так и его силой; но Базаров подавлял» его, и Тургенев не мог питать к нему тех чувств, которые внушали ему люди его поколения. «Конечно, — продолжает Кропоткин, — он любил Базарова, но это была любовь от разума, непохожая на ту, которую питал Тургенев к Рудину или Лаврецкому. Эту разницу мы не уловили, и это было причиной того недоразумения, которое так огорчало великого писателя».

Может быть ни в чем популярность Тургенева в Америке не проявилась с такой наглядностью как в читательских письмах, посвященных обсуждению его произведений. Кажется, по инициативе Хауэлса журнал *Atlantic Monthly* завел с 1877 г. специальный отдел *Contributor's Club*. Стоит отметить, что читатели относились к Тургеневу подчас строже, чем критики и писатели. Так, в майской книжке журнала за 1877 год мы читаем:

«Говоря о культе Тургенева, некоторые его почитатели считают, что высокая оценка его является признаком хорошего вкуса. Есть и такие, которые хотели бы его видеть главным среди современных беллетристов. Я очень уважаю признанные авторитеты и мне больно, что не могу с ними согласиться. Но что же поделать, если я так и не смог убедить себя в том, что Тургенев — лучший среди современных ему писателей... Он блестящ в отдельных отрывках, но он неровный писатель». И дальше этот читатель иллюстрирует свою мысль разбором непоследовательностей в «Отцах и детях».

Так же отрицателен отзыв другого читателя, помещенный в октябрьском выпуске журнала за тот же год. Частично отрицательный характер этого отзыва объясняется тем, что первая книга, которую прочитал этот читатель, была «Новь» — наи-

более слабая вещь Тургенева. Но в том же номере журнала есть письмо другого читателя с положительной оценкой «Нови»:

«Лично мне кажется, что лучшее качество 'Нови' в том, что этот роман не оставляет в вас грустного осадка, его финал ободряет, а не отдает безнадежностью. Лица, остающиеся в нем до конца — Соломин и Марьяна — оба люди, внушающие читателю чувство удовлетворения; оба могут прожить бодрую и полезную жизнь. А ведь в большинстве произведений Тургенева его герои и героини обречены на жизнь полную испытаний, и когда мы думаем о них, мы лишь надеемся, что они проживут не очень долго...».

Самой интересной чертой книги, по мнению этого читателя, является то, что изображенные в ней персонажи не просто русские — они универсальны и их можно встретить в каждой стране в период социального брожения. «Без особого труда я мог бы подыскать аналогичных людей и у нас в движении, добивающемся отмены рабства или отстаивающем женское равноправие. Я бы сказал, что лишь немногие европейские романы могут дать читателю Новой Англии такое же ощущение, что он у себя дома, как этот роман».

Дискуссия о действующих лицах «Нови» и других романов Тургенева продолжалась и в следующем году...

Не открывая никаких новых «америк» эти письма (а им по восемьдесят лет!) интересны своей непосредственностью и форма таких письменных или устных высказываний характерна для американской молодежи. Как раз недавно преподавательница русского языка в Колумбийском университете М. И. Биншток рассказала любопытный эпизод. При Колумбийском университете создан русский кружок для подготовленных студентов, изучающих русский язык. Кружок устраивает вечера, на которых студенты читают доклады и проводят дискуссии на всевозможные литературные темы. Минувшим летом обсуждался доклад об «Отцах и детях». Кто-то из участников дискуссии сказал, что Базаров «устарел». Разгорелся спор. Жара в этот день в Нью Йорке доходила до 100 гр. по Фаренгейту. М. И. Биншток ушла с вечера около часу ночи, а дискуссия всё продолжалась. И она невольно подумала: не очень-то «устарел» Базаров, если спор о нем, несмотря на жару, мог продолжаться столько часов!

**
*

Смерть Тургенева вызвала широкий отклик во многих странах, в первую очередь, конечно, во Франции. Генри Джеймс был в Париже, когда на Северном вокзале в Париже гроб с останками Тургенева отправлялся в Петербург. Прощальные речи произнесли Эрнест Ренан и Абу. Ренан в своем слове подчеркнул, что Тургенев был одарен не личным чувством и сознанием, это были чувства и сознание целого народа.

В статье, посвященной памяти Тургенева (в январьском выпуске *Atlantic Monthly* за 1884 г.) Джеймс писал: «Его гений был для нас воплощением славянского гения, его голос — голосом тех смутно угадываемых народных масс, над которыми мы сегодня всё чаще задумываемся, как над теми, кто в серых пространствах Севера поджидают своего часа, чтобы выступить на арене цивилизации. В творчестве Тургенева мы находим подтверждение наших смутных ожиданий. С изумительной живостью умел он воссоздать темперамент своих собратьев. Он был космополитом в силу обстоятельств, но его корни были глубоко зарыты в родной почве и никогда не ослабевала его связь с родной землей. В результате невежества в отношении России и русских, с которыми ему приходилось сталкиваться даже в той стране, где он прожил последние десять лет своей жизни, он всё чаще возвращался к воспоминаниям о ранних годах своей юности, в его памяти оживали русские горизонты и он гордился своим родным языком». И Джеймс привел всем так хорошо известное стихотворение в прозе: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

Из работ, посвященных Тургеневу, надо назвать еще книгу профессора Колумбийского университета Дороти Брюстер *East-West Passage* (Лондон, 1954 г.), книгу Д. Магаршака «Тургенев. Жизнь» (Лондон, 1954 г.), и его же перевод «Литературных воспоминаний Тургенева» (1958 г.). Из новых переводов на английский язык отметим последний перевод «Отцов и детей» 1948 года с предисловием проф. Колумбийского университета Э. Симмонса. Предисловие к новому переводу «Накануне» (1951 г.) написано переводчиком романа Г. Гардинером. Характеризуя творчество Тургенева, Гардинер пишет, что оно родственно музыке: «Тургенев напоминает что-то музыкальное, прекрасное по форме, не слишком страстное, но

всё же полное чувства, как музыка Шумана; если бы нужно было искать для Пушкина сравнения в музыке, его нужно было бы сравнить с Моцартом, а Тургенев — Шуман в литературе...»

Из статей, посвященных Тургеневу, упомянем обширный очерк «Тургенев — капля живой воды» американского критика Эдмунда Вильсона (в журнале *New Yorker*, 19 октября 1957 г.). Заглавием для очерка послужила сказка, которую Тургенев рассказал детям своего друга Полонского о маленьком мальчике в рот которого попала капля живой воды, стекавшая с свода пещеры, полной змей и пресмыкающихся. В этом очерке Вильсон использовал много малоизвестного и забытого материала из жизни Тургенева. Хочется напомнить хотя бы об одном эпизоде из последних дней жизни Тургенева: за две недели до своей смерти Тургенев продиктовал Полине Виардо рассказ *La fin*. Диктовал он его по-французски и по-немецки. На вопрос Виардо, не хотел ли бы он продиктовать его по-русски, Тургенев ответил со слезами на глазах, что у него нет достаточно сил, чтобы заботиться о стиле, о котором он должен бы был заботиться, если бы диктовал по-русски! Рассказ этот в русском переводе включен в новейшее издание Полного собрания сочинений, вышедшего в Советском Союзе.*

В. Александрова

---

* В работе по собиранию матерьялов о Тургеневе в Америке, разбросанных по старым американским журналам, большую помощь оказала мне сотрудница Славянского отдела Нью Йоркской публичной библиотеки *Р. П. Яхнина*, за что я и приношу ей сердечную благодарность. *В. А.*

АФИНОГЕНОВ И ПАСТЕРНАК

В середине тридцатых годов в Переделкине, неподалеку от Пастернака, жил драматург Александр Николаевич Афиногенов. Трудно представить себе более непохожих людей и писателей, чем автор поэмы «Волны» и автор пьесы «Страх». Прежде всего, они разнились возрастом: Пастернак на тринадцать лет старше Афиногенова. В 1937 году Пастернаку было сорок семь лет, и по понятиям Афиногенова, он был уже старым человеком. В одном из писем к Вл. И. Немировичу-Данченко, обсуждая постановку своей пьесы в Художественном театре, Афиногенов писал: «Михаил не может быть таким старым... сорок пять... это значит, он уже старый инженер, а по замыслу он у меня инженер советский, на гражданской войне не был, молод, весел, и главное — нет для него проблемы — на ком он женат». Подобно герою своей пьесы, Афиногенов, родившийся 22 марта 1903 года, на гражданской войне не был, старой жизни не знал и рос «советским», или, как тогда говорили, «своим в доску». Пастернак вырос в Москве, Афиногенов — в Скопине, городишке Рязанской губернии. Отец Пастернака был известный художник, а мать замечательная пианистка; отец же Афиногенова был железнодорожным служащим, а мать сельской учительницей в селе Чернаве, Скопинского уезда (после революции она заведывала детским садом ВЦИК РСФСР). Пастернак учился в Московском и Марбургском университетах, тогда как Афиногенов безуспешно «долбил премудрость немецкого языка» и остро чувствовал недостаток культуры: в письме к матери, в 1934 году, он жаловался, что «людей я знал и видел до черта, а вот действительных знаний, культуры, книг, всего, что составляет фундамент остальных знаний, нет у меня». Как и полагается «советскому», «своему в доску» парню, он был докой по части марксизма-ленинизма. В 1921-1924 гг., учась в Московском институте журналистики, он ревностно изучал и конспектировал книги Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Бебеля, Каутского, причем с наибольшим упорством и успехом овладевал такими разделами марксова «Капитала», как теория прибавочной стоимости и учение о зе-

мельной ренте. Вряд ли эти занятия помогли ему впоследствии как драматургу, но они помогли ему выдвинуться сперва как агитатору, потом как партийному комиссару в литературе. Агитатором Афиногенов стал еще в Скопине в 1919 году, когда ему было всего лишь шестнадцать лет и когда он — «высокий и худощавый, с копной русых курчавых волос на голове, с нежным румянцем и веселыми ямочками на щеках, с живыми светлыми глазами, порывистыми движениями, звонким мелодичным голосом»[1] — выступал на молодежных собраниях по тезисам и директивам Рязанского губкома комсомола. В 1928 г. Афиногенов был уже директором Первого рабочего театра Пролеткульта, а в начале тридцатых годов он принадлежал уже к «правящей верхушке» в советской литературе.В двадцать семь лет он был председателем Всероскомдрама,[2] ответственным секретарем театральной секции РАППа, редактором журнала «Театр и драматургия», членом многих редколлегий. Триста театров ставили его пьесу «Страх». Рецензии о ней печатались во всех газетах и журналах. Директора МХАТ и МХАТ II посылали ему корзины цветов. Всё это, разумеется, не могло не вскружить головы молодому Афиногенову. Известный режиссер Ю. А. Завадский в своих воспоминаниях отмечает, что Афиногенов «кичился своей славой и на окружающих посматривал свысока». Пастернак и Афиногенов... Афиногенов и Пастернак... Казалось бы, что общего могло быть между ними? И, тем не менее, со второй половины тридцатых годов вплоть до смерти Афиногенова в 1941 году их связывала тесная и горячая дружба. История этой дружбы дает много для понимания духовной жизни русского общества наших дней и, в частности, того, какое место автор романа «Доктор Живаго» занимает сейчас в этом обществе.

В пьесе А. Н. Афиногенова «Чудак» старый рабочий Петр Петрович говорит директору фабрики: «Ты думаешь в одних нас, коммунистах, руда, а прочие так, беспартийная глина с песком? Ты копни глинку, копни поглубже, может, заблестит и золото». Правда, что Афиногенов был комсомольским агитатором с 1919 года, членом ВКП(б) с 1922 года, но если коп-

---

[1] Воспоминания Б. В. Игрицкого в книге «А. Н. Афиногенов: Статьи, дневники, письма, воспоминания» (Издательство «Искусство», Москва, 1957). Настоящая статья написана, главным образом, по материалам этой книги.

[2] Всероссийского общества композиторов и драматургов.

нуть его поглубже, то под коммунистической серой глиной можно было обнаружить настоящее русское золото самой высокой пробы. Пусть он кичился своей славой, пусть посматривал на окружающих свысока, — в сущности, это вполне нормально для молодого человека, в двадцать семь лет подхваченного волной успеха, — но сердцевина у него была не гнилая, а здоровая, добрая.

У Афиногенова были глубокие корни в русской земле, было крепкое чувство жизни, и он не мог долго оставаться во власти того, что Пастернак называет в своем романе «колдовской силой мертвой буквы». На какой-то срок этот рязанский юноша поддался чарам мертвой буквы, и, при всем своем таланте, писал сперва пьесы, в которых действовали не живые лица, а принципы, идеи. Не зная ни одного иностранного языка и не видевши ничего, кроме рязанских полей, он начал, тем не менее, с пьес из иностранной жизни. Первая его пьеса называлась «Роберт Тим», — о разрушителях машин в Англии восемнадцатого века. За ней шли пьесы с боевыми названиями: «Кто кого», «В ряды», «На переломе», всё, главным образом, как он сам говорил, «о борьбе германских рабочих за единый фронт». «Колдовская сила мертвой буквы» привела Афиногенова «в ряды» РАППа, где он, в компании с Леопольдом Авербахом, принялся насаждать так называемый «диалектико-материалистический метод в литературе». В 1930 г. он даже написал книгу: «Творческий метод театра. Диалектика творческого процесса», которая рекламировалась как теоретическое обоснование рапповской программы «развернутого пролетарского наступления на театр». Но недаром Афиногенов «людей знал и видел до черта», — про него можно было сказать, опять-таки употребляя выражение из «Доктора Живаго», что он еще в юные годы выкупался в «море жизни, море самобытности». И даже тогда, когда он был в рядах РАППа, в нем — в то же самое время, напоминаю — шла совсем иная внутренняя работа. Жизнь боролась с мертвечиной — и побеждала.

Важно понять, что Афиногенов придерживался только буквы, но не духа предписанных партией идеологических формул. Потому он был на редкость чувствителен к тому злу, от которого задыхалась Россия. Почти юношей, двадцати пяти лет, он написал пьесу «Чудак», направленную против партийной бюрократии. Герой «Чудака» Борис Волгин — простой беспартийный труженик, счетовод заштатной фабрики. Кто ему противопоставлен? Партийные, обанкротившиеся чинуши: директор фабрики Дробный, председательница завкома Трощина.

В записной книжке Афиногенова, относящейся ко времени работы над «Чудаком», есть такая запись: «Изо всех слов выбирай те, которые выявляют отношение, и их подавай. Беременные слова». Пьеса «Чудак» была беременна большим — отчасти скрытым — смыслом. Недаром «стандартные лбы», как говорил Афиногенов, сперва отклонили пьесу. Но он всё же добился постановки «Чудака» в МХАТ II — и накануне премьеры писал в дневнике:

«Сокращается срок, дни отсчитываются — приближается расплата. На сердце смутно. Неужели еще раз оплеуха? Со стороны спектакля и пьесы как таковой всё благополучно. Но сосет по выводам:

— А к чему это вы, братцы, гнете, куда заворачиваете?

И если 'заворот' понят не будет, если подымут на штыки и бросят под колеса в грязь, втопчут в талый снег — сколько сил нужно тогда, чтобы подняться... Опять тогда зарыться, опять молча накапливать силы, но кто знает, хватит ли терпения и не надоест ли возиться всем с провальным автором. Мечутся крысы, нюхают воздух, нельзя ли поживиться первой, пока другие не знают, разнести новость по углам — провален автор, сестрицы, контрреволюция обнаружена, подайте его сюда, он расстрелянный валяется, поживка добрая».

Премьера прошла с большим успехом. Театр в 1 300 мест был полон. Крики: «Ура! Браво! Автора! Режиссера!» Двадцать пять раз подымали занавес. Тучный маститый Вишневский целовал юного Афиногенова. Но, как Афиногенов и предвидел, стандартные лбы объявили пьесу «контрреволюционной». Дело решилось неожиданным образом: на спектакль приехали кремлевские хозяева. Молотов настаивал на том, чтобы запретить пьесу, но Сталин высказался против запрещения. Тогда, в 1929 году, Сталин начинал свои пятилетки, и он понимал, что пятилетки нуждаются в поддержке таких «чудаков», как Волгин, — поддержке простой беспартийной интеллигенции.

Успех «Чудака» по всей стране окрылил Афиногенова. Он принялся за новую, еще более смелую и глубоко жизненную пьесу «Страх». Ее поставил Художественный театр в 1931 году. В первоначальном варианте ее запретили. Она сильно пострадала от переделок. Но и в том виде, в каком она увидела свет рампы, она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Не только потому, что в ней был резкий протест против партийного обращения с интеллигенцией. Нет, главное было в том, что Афиногенов показывал, к чему ведет так называемое

«развернутое социалистическое наступление». Страх показывался, как основная черта советской жизни. В центре пьесы «Страх» — профессор Бородин, ученый физиолог, научный руководитель Института физиологических стимулов. Отчасти он напоминал академика И. П. Павлова. Проф. Бородин утверждал, что поведение человека определяется не «классовыми интересами», не политикой, а вечными биологическими стимулами: любви, голода, гнева, страха. Он говорил:

«Вместе с партийными товарищами мы провели объективное обследование нескольких сотен индивидуумов различных общественных прослоек. Общим стимулом поведения восьмидесяти процентов всех обследованных является страх. Восемьдесят процентов всех обследованных живут под вечным страхом окрика и потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник боится обвинения в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты. Да, да... На высоком месте не так страшна опасность разоблачения».

Подумать только, что это говорилось со сцены Московского Художественного театра в 1931 году, всего лишь за год до массовых высылок казаков Кубани и крестьян Украины и только за пять лет до ежовщины. После доклада проф. Бородина арестовывали, в тюрьме он, разумеется, раскаивался и признавал «заблуждения», но, как бы то ни было, его слова западали в сердца миллионов зрителей. И когда проф. Бородин в своем докладе, обращаясь к власти, говорил: «Уничтожьте страх, уничтожьте всё, что рождает страх, и вы увидите, какой богатой творческой жизнью расцветет страна», то это и был голос жизни, боровшейся с «колдовской силой мертвой буквы».

Точно какая-то невидимая сеть была в начале тридцатых годов накинута на русскую землю. При бешеной, истерической внешней активности, при всех штурмах, мобилизациях, походах, ударниках, пятилетках, страна, тем не менее, оцепенела, замерла. Оборвались связи с внешним миром, опустился тот «железный занавес», о котором Лев Никулин писал в «Литературной газете» от 13 января 1930 года. Но «волшебные дрожжи существования» бродить все же не переставали. Александр Николаевич Афиногенов сумел — на свой манер —

прорвать «железный занавес», открыть для себя новые горизонты: он женился на американке, научился хорошо говорить по-английски, стал широко и свободно общаться с иностранными, особенно американскими, писателями и журналистами, приезжавшими в Москву.

Дженни, или на русский лад, Евгения Бернардовна, была в Америке танцовщицей. В начале тридцатых годов, известных в Америке, как «розовое десятилетие», «the Pink Decade», Дженни вступила в компартию и поехала с «актерской бригадой» в Россию. Встретилась с Афиногеновым, который к тому времени разошелся со своей первой женой, Натальей Петровной Скуба, да так и осталась в Москве. Поженились они в начале тридцать второго года — и были счастливы. В апреле 1932 г. Афиногенов писал своей матери:

«Ты просишь осветить жизнь с Дженни. Можно сказать и очень много и очень немного — мы живем так славно, что я отдыхаю с ней и всё больше нахожу в ней настоящего товарища, помимо ее чрезвычайной привлекательности. Если так будет продолжаться — дай Бог всякому. Она написала тебе письмо по-английски, получила ли ты его и кто тебе перевел?»

Дженни быстро изучила русский язык и научила Афиногенова английскому. Ни о каких компартиях она больше не думала, а думала только о муже, и ей было суждено сыграть огромную роль в его жизни. Особенно в период ежовщины, о чем будет речь впереди. Дженни обладала прекрасным литературным вкусом, и это, конечно, она посоветовала Афиногенову, что если он хочет научиться хорошему английскому языку, то должен читать Библию в переводе, известном, как «вариант Короля Якова». И вот, как это ни странно, Библия на английском языке стала настольной книгой бывшего комсомольского агитатора из Рязани, партийного комиссара в кожаных штанах. Впрочем, по мере творческого роста, Афиногенов всё больше и больше освобождался от кожаной сбруи партийности. В апреле 1933 года он прислал Горькому нечто вроде «исповеди»:

«...Уж я 'исповедаюсь' вам в жестоких моих мыслях, сомнениях, нерешенных вопросах. Их, этих вопросов, не столько много, сколько острые они и не дают жить покойно. И ответов на них не получаю я ни в умных книгах, ни в беседах. [...][3] Не думайте, что мои сомнения в себе — плод интеллигент-

[3] Этот знак — три точки в квадратных скобках — указывает, что цензор вычеркнул что-то из письма Афиногенова. — *М. К.*

ской рефлексии. Может быть, как раз интеллигентности во мне недостаточно, может быть, тычусь я, как слепой щенок, в уже давно пробитую дверь, но ясно для меня одно — что-то мне надо делать с собой, вылезать из прежней шкуры, поворачивать, переоценивать систему взглядов и вкусов — словом, надо построить жизнь для себя — жизнь человека, определившего свою дорогу писателя и уверенного в себе».

К «исповеди» была приложена рукопись пьесы, о которой Афиногенов писал:

«Дорогой Алексей Максимович! С трепетом и страхом посылаю вам свою пьесу. Не потому, что боюсь строгого вашего взгляда — в деле этом я нуждаюсь прежде всего в правдивой и ясной оценке. Нет, страшновато мне потому, что пьеса эта для меня является откликом на многие и многие вопросы моей жизни как писателя — и выношена она с кровью».

Что же это за пьеса, которую Афиногенов «выносил с кровью»? На какие «вопросы жизни» откликался в ней молодой, но столь уже прославленный драматург? Морис Хиндус, американский журналист, бывавший в Москве у Афиногенова, вспоминает в своей книге «Кризис в Кремле» (Нью-Йорк, 1953):

«Однажды вечером Афиногенов рассказал мне про новую пьесу 'Ложь', самую смелую из всех им написанных. В ней показывалось, как по той или другой причине партийцы на низшей ступени служебной лестницы вынуждены лгать, и эта ложь передается выше, оттуда еще выше — и так до самой верхушки; тогда происходит взрыв, катастрофа... Я выразил сомнение в том, что цензура пропустит такую пьесу, потому что партийные бюрократы обозлятся, увидев себя изображенными в таком виде. Но Афиногенов вскочил с кресла и, ткнув в меня пальцем, сказал: 'Ты ошибаешься. Я обсуждал эту тему со Сталиным, и он мне сказал, что нам нужна такая пьеса'».

Как честный художник, А. Н. Афиногенов свидетельствовал о своей эпохе: страх и ложь в это время определяли психологический климат в стране. Пьеса «Ложь» была закончена в апреле 1933 года — и послана Горькому с письмом-исповедью. Уехав в Сочи, драматург принялся за театральный вариант «Лжи». В письме режиссеру Н. В. Петрову он с увлечением рассказывал о картинах, в которых фигурируют «подметные письма», изображаются «неважные политические настроения на заводе». В августе 1933 года пьеса была сдана театрам. В Москве ее приняли сразу два театра — МХАТ и МХАТ II. Начались репетиции — и тревоги! Еще не то, что до премьеры,

но до так называемого «просмотра» — главреперткомовского, цензурного — началась кампания против пьесы, на которой, по словам критиков, «отрицательно сказалась слабость, обедненность положительных образов (Рядовой, Кулик, Сероштанов), оторванность от коллектива главной героини пьесы, работницы Нины Ивановой, выступающей в поисках правды совершенно одинокой». Для того, чтобы смягчить тон пьесы и сделать ее более приемлемой, Афиногенов переменил название: вместо «Ложь» — «Семья Ивановых». Но это не спасло пьесу.

«Москва полна (конечно, литературная) слухами, сплетнями, пересудами, стиркой собственного белья чужими руками, — писал А. Н. Афиногенов Н. В. Петрову 16 сентября 1933 года. — Кое-какие тучи над пьесой уже носятся, работаю сейчас стиснув зубы, не обращая внимания на слушки и советы, тем более, что второй вариант еще неизвестен тому, от решения которого всё будет зависеть».

«Тот», от решения которого всё зависело, был, конечно, Сталин. По словам М. Хиндуса, «рукопись вернулась к Афиногенову с поправками Сталина; в одном месте Сталин даже переписал своей рукой целую страницу диалога». В книге «А. Н. Афиногенов: статьи, дневники, письма, воспоминания» об этом глухо говорится в примечании: «Насколько известно из переписки и дневников Афиногенова, пьесу 'Ложь' читал И. В. Сталин. После высказанной им оценки пьесы Афиногенов обратился в театры с просьбой снять 'Ложь' с репертуара». Будто ему было легко снимать с репертуара «выношенную с кровью» пьесу! В воспоминаниях драматурга И. В. Штока сказано: «Афиногенов был вынужден разослать театрам письма с просьбой снять пьесу с репертуара». В письме Вл. И. Немировичу-Данченко от 5 октября 1934 года Афиногенов с горечью писал: «Вы один из тех, кто знает всю эпопею с 'Семьей Ивановых' ('Ложью'). Эта пьеса готовилась обоими театрами. МХАТ II шел даже впереди, у него были готовы все декорации, оставалось пять дней до просмотра... и потом — просмотра не состоялось». А в дневнике, на стр. 105-й указанной выше книги, находим такую запись: «Итак, пьеса умерла. Надо начинать заново. Но с чего начать и кому что сказать — неизвестно. Это придет, не волнуйся. Я и не волнуюсь, я просто так спрашиваю, от нечего делать, оттого, что в голове так пусто, будто шаром покатили по стеклянной посуде — одни черепки лежат».

Не приходится сомневаться, что запрещение пьесы «Ложь» убыстрило процесс освобождения Афиногенова от «колдов-

ской силы мертвой буквы». Еще за год до истории с пьесой «Ложь», 19 июня 1932 года, Афиногенов писал своей матери: «Надо многое, очень многое мне самому внутри себя пересмотреть». И в той «исповеди» Горькому, которая уже знакома читателю, написанной 6 апреля 1933 года, автор «Страха» и «Лжи» говорил: «Ясно для меня одно — что-то мне надо делать с собой, вылезать из прежней шкуры, поворачивать, переоценивать систему взглядов и вкусов». Первым делом, у Афиногенова возникло отвращение к «прежней шкуре», к тому, чего он сам, в РАППовский период своей жизни, требовал от писателей, а именно — к пресловутой «партийности литературы». В отрывках из дневника, относящихся к 1935 году, — ведь опубликованы только отрывки! — находим такие записи:

«Художники теперь рисуют портреты стахановцев, писатели пишут романы о Марии Демченко, а через год всё будет другое — и люди, и интересы, а написанное и нарисованное никто не станет читать».

«Смотрел картину с Франческой Гааль (в австрийском кинофильме 'Маленькая мама'. — **М. К.**) — она играла девушку, которая нашла подкинутого ребенка, а ее самое объявили его матерью. Так и пришлось играть роль матери, а молодого человека, который ее даже не любил вначале, объявили отцом. И их счастье составилось ребенком, не принадлежавшим им. Игра и особенно сценарий — превосходны, публика смеется всё время, а, выходя, писатели кривят губы и цедят: 'Ну да, это всё в капитализме возможно, у нас этого делать нельзя'... Какой большой кусок жизни отдают капитализму! Другой писатель: 'Пусть сначала член Цека скажет, что такие картины нужны, а потом я буду сценарии писать'. А надо сначала писать, а потом скажут — нужны они или нет».

Но если не обращать внимания на то, что скажет «член Цека», если не писать романов и пьес о стахановках свеклоуборки вроде Марии Демченко, то о чем же писать? Какие писатель должен брать темы, если он хочет, чтобы написанное читалось с интересом и через год, даже много лет спустя, когда «всё будет другое — и люди, и интересы»? Так в первой половине тридцатых годов бывшего рязанского комсомольца и агитатора осенила мысль, что революции, партии с их центральными комитетами, свеклоуборочные кампании — всё это временно и преходяще, ничтожно по сравнению с тем, что есть в мире вечного и непреходящего. И вместо того, чтобы перерабатывать пьесу «Ложь» в соответствии с указаниями самого Сталина, что было бы вполне нормально для писателя-

коммуниста, Афиногенов принялся писать новую пьесу «Далекое», которую он ставил выше всех других своих пьес. Своему другу — режиссеру Н. В. Петрову он прочитал ее 7 декабря 1934 года, а премьера ее — в театре имени Евг. Вахтангова в Москве — состоялась 20 ноября 1935 года. Действие пьесы «Далекое» происходит на Дальнем Востоке — в глухой тайге, на железнодорожном полустанке, где даже на минуту не задерживаются поезда. Казалось бы, что может там происходить значительного? Наверное, тоска-тощища... Но Афиногенов показывает, что там происходит событие, перед которым бледнеет всё многообразие окружающей жизни. На полустанке умирает человек... Комкор Матвей Малько прожил, по всем большевистским стандартам, яркую и героическую жизнь: участвовал в революции, сражался на фронтах гражданской войны, истреблял «врагов социалистического государства», но тут, на далеком заброшенном полустанке, при смерти, он вдруг почувствовал, что его похождения на этом отнюдь не заканчиваются, — нет, его смертное ложе, как некий корабль, выносит его на новые, совсем уже необозримые просторы, где его ждут еще бóльшие приключения. Тема пьесы «Далекое» — тема смерти.

За такими вечными, непреходящими темами Афиногенову не надо было далеко ходить, — достаточно было протянуть руку и открыть Библию. Если раньше, в тридцать втором году, он начал читать Библию в английском переводе ради языка, то в середине тридцатых годов он припадал к ней, как путешественник в пустыне — к освежающему и живительному роднику. Морис Хиндус пишет, что Афиногенов в те годы постоянно читал Библию. «Он вел при этом дневник, который давал мне читать, — рассказывает Хиндус. — Это — потрясающий документ, который не скоро будет опубликован. В нем Афиногенов занят не социальными проблемами, а вопросами добра и зла, жизни и смерти, задумывается над смыслом жизни — своей собственной и всего человечества. Влияние Библии, заметное уже в пьесе 'Далекое', в особенности ощутимо в дневнике. У Афиногенова ни к кому не было злобы, и он с любовью говорил о всех, даже о врагах, писавших на него доносы».

«Колдовская сила мертвой буквы», однако, продолжала бороться за Афиногенова, как она борется за душу каждого человека в России, да и не только в России. И столь велики были чары «мертвой буквы», что многие, очень многие поддавались ее соблазнам. Как доктор Живаго поддавался им в 1917 году, так, к примеру, и сам Борис Пастернак поддавался

им в 1935 году. В «Известиях», в новогоднем номере от 1 января 1936 года, рядом со статьей Бухарина, в которой говорилось, что «социалистический гуманизм есть фактор величайшего значения именно в наше время», в тех самых «Известиях», где тогда печатался Н. Устрялов, утверждавший, что «в современной мировой атмосфере наш советский гуманизм есть единственное спасение от подлинного варварства, угрожающего человечеству», напечатано такое стихотворение Бориса Пастернака:

Я понял: всё живо.
Векам не пропасть,
И жизнь без наживы —
Завидная часть.

Спасибо, спасибо
Двум тысячам лет,
В трудах без разгиба
Оставившим свет.

Я понял: всё в силе,
В цвету и соку,
И в новые были
Я каплей теку.

И вечным обвалом,
Врываясь извне,
Великое в малом
Отдастся во мне.

И смех у завалин,
И мысль от сохи,
И Ленин, и Сталин,
И эти стихи.

В другом стихотворении, напечатанном рядом с этим, Пастернак не называет Сталина по имени, но говорит о нем, как о человеке в Кремле:

А в те же дни на расстояньи,
За древней каменной стеной,
Живет не человек, — деянье,
Поступок ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел:
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

Если Пастернак поддавался, порой, чарам «мертвой буквы», то Афиногенов и подавно. Вот свидетельство того же М. Хиндуса: «Думаю, что самым счастливым днем жизни для Афиногенова, как и для многих других советских интеллигентов, был день 23 ноября 1936 года, когда Сталин произнес речь о Конституции. Вскоре после того, как Сталин окончил речь, Афиногенов ворвался ко мне в комнату с бутылкой вина в руках и воскликнул: 'Будем праздновать!' Он был счастлив, как ребенок. 'Теперь всё пойдет по-другому', — уверял он меня. Он попросил меня показать ему мой смокинг и спросил, не в Лондоне ли мне его сшили. Я ответил, что в Лондоне. Тогда Афиногенов попросил смокинг взаймы, чтобы дать его портному — и сшить такой же. 'Теперь, — сказал он, — мы сможем одеваться по-европейски'. Поразительное признание со стороны молодого писателя, выказывающее стремление подняться до Запада».

На мой взгляд, однако, тут поразительно не «стремление подняться до Запада», а стремление верить, что «теперь всё пойдет по-другому». То, что Пастернак писал к новому, тридцать шестому, году: «Всё в силе, в цвету и соку», кое-как понять можно: то было до погромных статей «Правды» об опере и балете Шостаковича, «о художниках-пачкунах», об академике Н. Лузине, статей, которые грянули точно гром среди ясного неба и которыми, в сущности, и началась ежовщина. Но Афиногенов даже в ноябре 1936 года, т. е. после состоявшегося в августе процесса Зиновьева — Каменева, после назначения Н. Ежова на пост наркомвнудела (21 сентября), всё еще продолжал верить, что «теперь всё пойдет по-другому». Но не потребовалось много времени, чтобы автор «Страха» и «Лжи» убедился, что эти две черты советской жизни не только не исчезали, но росли по мере того, как ежовщина охватывала всё более и более широкие круги населения, прежде всего интеллигенции — военной, научной, художественной. Дошла очередь и до Афиногенова — в апреле 1937 года.

В марте 1937 г. состоялся пленум ЦК партии с докладом Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». «Троцкистских и иных»... — сюда можно было включить, и включали, кого угодно.

Включили и Афиногенова, которому припомнили его «выношенные с кровью» пьесы. Произошло это так. Четыре дня, 2-3-4-5 апреля 1937 года, длилось общемосковское собрание писателей, начавшееся докладом ответственного секретаря правления Союза писателей Вл. Ставского «Об итогах пленума ЦК ВКП(б) и о задачах Союза писателей». В последний день в прениях по докладу выступил Афиногенов. Его речь не напечатана, но в дневнике собрания, напечатанном в «Литературной газете», есть такое — многозначительное по тем временам — замечание: «Собрание напрасно ожидало, что т. Афиногенов будет говорить о своей творческой работе, в которой он допустил ряд политических ошибок». 23 апреля 1937 года опять состоялось общемосковское собрание писателей по случаю «пятилетия решения ЦК ВКП(б) о перестройке работы литературно-художественных организаций». В докладе П. Юдина, видного работника ЦК партии, имя Афиногенова стояло в ряду уже «разоблаченных врагов». Юдин говорил: «Авербаховская группка, главным образом, Киршон, Бруно Ясенский, Афиногенов...»; «Создалась своеобразная коалиция: Авербах — Ягода — Крючков — Киршон — Афиногенов...» Эта «обойма», как тогда выражались, состояла из имен людей, которые были уже арестованы или предназначались к аресту, — все они, кроме Афиногенова, погибли во время ежовщины. В вину Афиногенову ставилось, например, то, что он, будучи редактором журнала «Театр и драматургия», печатал статьи «террориста Р. Пикеля». Но главный пункт обвинения составляли «порочные» пьесы. В передовой статье «Литературной газеты», напечатанной 15 мая 1937 года под заглавием «Выкорчевать без остатка», говорилось:

«Разве случаен тот факт, что пьеса Афиногенова 'Ложь' так и не увидела театральных подмостков? Лицемеря и двурушничая перед литературной и театральной общественностью, на словах признавая решения ЦК партии правильными, а на деле реализуя гнусные авербаховские установки, Афиногенов свои личные переживания лжеца и двурушника пытался представить типическими. Так возникла у него пьеса 'Ложь'. Под этим углом следует рассмотреть его пьесу 'Далекое', расхваленную бандитом Пикелем. Разве тезис Афиногенова 'ищи в злом доброго и в добром злого' не нашел своего отражения в 'Далеком'? Классовый враг, показанный Афиногеновым в этой пьесе, изображен с помощью этого рецепта».

Вскоре «корчевальная машина» добралась и до Афиногенова: в августе 1937 года его исключили из партии, а 1 сентя-

бря — из Союза писателей. Отметим, однако, что Афиногенов переживает эти события всё еще как коммунист, «сын партии». 16 мая 1937 г. он писал в дневнике:

«Такое количество страшных слов опущено на мою голову, что если бы десятая их доля была правдивой — мне надо было бы немедленно стреляться. Ибо что может быть позорнее в наше время клички — троцкистский агент, авербаховский бандит, участник контрреволюционной группы, разложившийся литературный пройдоха, выжига и халтурщик и что там еще... не запомнить всего. ...Но что же произошло? А вот что. Взяли мирного человека, драматурга, ни о чем другом не помышлявшего, кроме желания написать еще несколько десятков хороших пьес на пользу стране и партии, — и сделали из этого человека помойку, посмешище, позор и поношение общества, вымазали его в самой смрадной грязи и выставили сохнуть на солнце, а проходившим мимо гражданам кричали — вот он, агент и бандит, смотрите, дети, на него, как он угрюм, и худ, и бледен, как презирают все его».

В Москве у Афиногенова была квартира на Тверском бульваре, рядом с Камерным театром, — в боковом флигеле под № 25. В ту пору, когда он председательствовал во Всероскомдраме, управлял театекцией РАППа, редактировал журнал «Театр и драматургия», когда триста театров одновременно ставили его «Страх», заваливая, разумеется, его гонорарами, эта квартира была одним из литературных и театральных салонов Москвы. Афиногенов был очень общителен. Он любил говорить и, как оратора, его ценил другой златоуст, А. В. Луначарский. Афиногенов и читал неплохо — ровно, выразительно, почти не тонируя, без напряжения. К тому же он был шахматист, над шахматной доской засиживался до утра. Он жил на людях, всегда в шумной компании писателей, режиссеров, актеров, композиторов. После премьер квартиру Афиногенова заваливали корзинами цветов, мешками писем. И вдруг всё оборвалось... Из московской квартиры его выселили. Многие из тех, кого он считал своими друзьями, его покинули. Конечно, Афиногенов не мог не понимать, сколь велик был страх в ту пору, когда арестовывали и высылали за «связь с врагами народа», но, тем не менее, он тяжело переживал измену «друзей». В письме Н. В. Петрову (12 февраля 1938 г.) Афиногенов жаловался:

«Из всех впечатлений лета — одно сейчас еще кровоточит — это разочарование во многих из тех, кого знал друзьями, кому верил и от кого молча ждал участливого слова в эти дни.

И сейчас мне еще тяжело ходить по старым местам, встречаться с теми, кто находил для меня такие жестокие слова или просто отворачивался боязливо при встрече».

Нетрудно понять, что такой человек, как Афиногенов, должен был особенно тяжело переживать одиночество, отверженность, образовавшуюся вокруг него пустоту. Вот, например, в конце лета 1937 года умер его друг, Азарий Михайлович Азарин, актер МХАТ II и Малого театра. Не кто другой как Азарин создал роль Бориса Волгина в спектакле «Чудак», принесшем Афиногенову первую славу. У них было заведено собираться через каждые десять спектаклей и устраивать вечеринку. И вот, Азарин умер. Афиногенов пишет в дневнике:

«Хотел было послать цветов, поехать на похороны, повидать хоть мертвым, потом раздумал — вдруг там не захотят меня видеть — приехал де изгнанный и подозреваемый, нарочно себя показать... сразу чистота желания была отравлена. И я плакал сегодня в одиночестве, уйдя погулять».

Выселенный из московской квартиры, Афиногенов уединился в Переделкине. У него был наготове маленький вещевой мешок, каждую ночь он ждал ареста. Вряд ли Афиногенов выдержал бы напряжение того времени, если бы к нему не пришла помощь с четырех сторон. Прежде всего, со стороны семьи. Евгения Бернардовна, которая только что родила дочку, названную Зоей, приложила все старания к тому, чтобы Афиногенову хорошо жилось и работалось в Переделкине. Удивительной чистотой веяло в доме Афиногеновых с его деревянными стенами, с большой залой внизу, где осенними и зимними вечерами зажигали камин, с широкой лестницей, ведшей на второй этаж, в кабинет опального писателя. Кабинет был просторный, светлый, уставленный книжными шкафами и полками, и выходил окнами прямо в поле, расстилавшееся перед домом, с холмами, поросшими лесом по краям. Летом в окна кабинета лились запахи трав и цветов из речной долины. И вот, эти русские поля, эта речушка с таким чудесным названием Сетунь, всё это дыхание русской земли и было второй стороной, оказавшей поддержку Афиногенову. 18 сентября 1937 года, уже исключенный отовсюду — из партии и из Союза писателей, Афиногенов писал в дневнике:

«Благословенные дни! Осень, похожая на самое нежное лето... Вчера ездили на Николину гору — дорога лесом, клёны, дубы, березы — уже началась осенняя раскраска. Ехали медленно, солнце, аллеи деревьев, потом мост через Москва-реку, потом на берегу реки, в тишине заката, на еще зеленой

траве у невысокой осоки... Мир и тишина, людей нет, так бы и сидел тут неподвижно, ловя еле заметное течение — тонкие всплески мелких рыбешек, неслышное пение комаров и очень далекие голоса.

Алеша Карамазов упал на землю и плакал от непонятных чувств, он встал с земли другим, возмужавшим, готовым к трудной жизни... Но он припал к земле, земля дала ему силу... Вот так же и мне надо ощутить ласку природы, чтобы стать сильнее. И это для меня осень такая нежная, что все удары и неприятности проходят в ее золотистом отливе смягченно, как раз в меру моих сил — окрепших, но всё еще слабых».

Третьей стороной, откуда пришла поддержка Афиногенову, был русский народ и близкая народу, а не партии, интеллигенция. Простые люди на каждом шагу оказывали внимание Афиногенову, в котором видели жертву ежовщины. 16 мая 1937 года Афиногенов записал в дневнике такие случаи:

«Вахтер в подъезде вдруг подошел, пожал мне руку и зашептал горячо и смущенно: 'До чего я вам соболезную, Александр Николаевич, слов нет высказать...'

Часовщик, подавая мне часы, смотрел на меня жалостно и потом сказал: 'У каждого свое горе, товарищ, и вы знайте, что всякое горе проходит, если остается жизнь'.

Проходившая парочка, счастливая и милая, узнала меня, и он шепнул ей: 'А ведь похудел... еще бы, от такой клеветы и умереть нетрудно'. Потом пришло по почте письмо от женщины, которой я никогда не знал, и она, неизвестная, ободряла меня и тоже говорила, что грязь отлипнет, останется правда».

Не будет преувеличением сказать, что Афиногенова впервые коснулась ласка народа и он впервые почувствовал теплоту того народного тела, которого он был молекулой. То он был во власти «колдовской силы мертвой буквы», которая кружила его, заставляла агитировать, ораторствовать, заседать, организовывать, одним словом, «фукцировать», как где-то сказано у Пильняка, и вдруг он выпал из этого круговращения и увидел другую, совсем другую, подлинную жизнь. Вот его переживания в дачном поезде по дороге из Москвы в Переделкино:

«Уже не страшно, ибо знаю, что везде есть жизнь и в той далекой жизни я сейчас куда нужнее, чем здесь, где меня только подозревают и никак нельзя доказать никому, что подозревать меня не в чем и не надо. Все будут качать головами и хмыкать многозначительно, выжидающе. Выжидание, бездея-

тельность — вот моя жизнь теперь. И если бы не этот процесс внутреннего очищения и роста — прямо головой в реку!

А там, где ты будешь жить потом один (Афиногенов, вероятно, подразумевает ссылку, к которой он готовился. — **М. К.**), там тоже люди, им ты будешь нужен, тебя они примут без подозрения и ухмылок, там никто не будет знать тебя, и маленькая твоя работа сможет принести действительную пользу. Это — не прибеднение, это вот то самое осознание своей связи с миром, которое прорезало мне 'зеницы'... это сознание того, что люди вокруг тебя — лучше тебя, и ты присматривайся к ним, забыв о себе и своих нелепых переживаниях.

С этим я вышел из кино, с этим сел в дачный поезд. И там — это чувство росло и крепло... Ехали бабы с мешками и корзинами, сидели напротив две маленькие девочки, серьезные и рассудительные, ну совсем как взрослые женщины... Что-то доказывал старик в грубой синей фуфайке, сером ватнике, щетинистый и подвыпивший... Рыжий парень, рослый, уверенный в себе, угощал жену колбасой и слушал старика. Шла продавщица мороженого, отворяла дверцу фанерного ящика, вынимала кирпичики мороженого и давала сдачи... Люди ехали — каждый в свое место, каждый со своей жизнью, и каждая эта жизнь была уж никак не меньше моей...

А ведь это только один вагон одного маленького поезда... Сколько же на земле живых жизней и сколько еще будет встреч и переломов в жизни! И как можно грустить о потерянном месте под солнцем — когда впереди еще и солнце взойдет не раз и самому захочется в тень или тихий закат жизненного вечера...

Дождь бил косыми струйками в левые окна, небо хмурилось, но на сердце было радостно, то самое состояние подарка, которое меня охватило три дня назад, снова было со мной, и я вышел на платформу, пошел по скользкой дорожке вниз и всё улыбался самому себе... Так вот иногда в 33 года человек находит себя заново и обнаруживает, что это всё — впервые для него».

Исключение Афиногенова из партии и Союза писателей было поистине подарком, самым ценным, какой только жизнь могла сделать человеку. Этот подарок был связан с другим подарком — большой, возвышающей и укрепляющей душу дружбы. Давно уже, по крайней мере, пять лет, Афиногенов читал Библию, которая определила не только творческий замысел пьесы «Далекое», но вошла в самое систему мышления писателя. Настолько, что он даже начал говорить библейскими

словами: «Прорезало мне зеницы...» Надо думать, что, разочарованный в московских «друзьях», которые теперь отворачивались при встрече, он вспоминал, что говорилось о дружбе в Библии. Правда, что христианство создало идею абсолютной ценности отдельной личности, но правда и то, что в христианском мышлении «двое» качественно-выше, чем «один». Не зря Христос всегда посылал своих учеников по двое: «И призвав двенадцать, — говорит ап. Марк, — начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами»; «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, — говорит ап. Лука, — и послал их по два перед лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Наконец, каким огромным смыслом нагружено слово «двое» в Евангелии от Матфея: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Как знать, может быть, то, что Афиногенов не был «выкорчеван без остатка», и Пастернак, публично названный «врагом», тоже благополучно пережил ежовщину, оказалось возможным потому, что тяжкую годину эти писатели переживали вдвоем, а не поодиночке. В письме Н. В. Петрову от 12 февраля 1938 года, жалуясь на измену московских друзей, Афиногенов добавлял:

«Зато, в то же время, нашлись и новые люди. Новые встречи обнаружили, что людей всё-таки больше хороших, чем дурных, и в моем одиночестве я никогда, на деле, один не оставался. Я нашел настоящие сердца и именно на их отношении ко всему, на их настоящей вере в лучшие стороны человеческой натуры проверил их искренность и честность. С такими людьми надо жить, для них работать».

Среди тех отрывков из дневника Афиногенова, которые опубликованы, первая запись о Пастернаке относится к 14 сентября 1937 года (вспомним, что 1-го сентября Афиногенов был исключен из Союза писателей, а до того — из партии). Афиногенов пишет:

«Вечером пришли Пастернаки. Пока мы играли в карты, он сидел на диване и читал по-английски, потом просматривал Вебстера. Он поражает меня жаждой знать больше, не пропускать ни одного дня. Он прекрасный пример одухотворенного человека, для которого его поэзия — содержание жизни».

21 сентября 1937 года Афиногенов записал в дневнике:

«Разговоры с Пастернаком навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом, интересном, настоящем. Главное для него — искусство, и только оно. По-

этому он не хочет ездить в город, а хочет жить всё время здесь, ходить, гуляя, одному или читать «Историю Англии» Маколея, или сидеть у окна и смотреть на звездную ночь, перебирая мысли, или, наконец, писать свой роман. Но всё это в искусстве и для него. Его даже не интересует конечный результат. Главное — это работа, увлечение ею, а что там получится — посмотрим через много лет. Жене трудно, нужно доставать деньги и как-то жить, но он ничего не знает, иногда только, когда уж очень трудно станет с деньгами, он примется за переводы. 'Но с таким же успехом я мог бы стать коммивояжером'... Но куда его ни пошли — он всё равно остановит свой открытый взгляд на природе и людях — как большой и редкий художник слова.

Когда приходишь к нему — он так же вот сразу, отвлекаясь от всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждениями, выводами — всё у него приобретает очертания значительного и настоящего. Он не читает газет — это странно для меня, который дня не может прожить без новостей. Но он никогда бы не провел времени до двух часов дня, — как я сегодня, — не сделав ничего. Он всегда занят работой, книгами, собой... И будь он во дворце или на нарах камеры — всё равно он будет занят, и даже, может быть, больше, чем здесь — по крайней мере, не придется думать о деньгах и заботах, — а можно всё время отдать размышлениям и творчеству...

На редкость полный и интересный человек. И сердце тянется к нему потому что он умеет находить удивительные человеческие слова утешения, не от жалости, а от уверенности в лучшем: 'И это лучшее наступит очень скоро — тогда, когда вы вплотную войдете в свою работу, начнете писать и позабудете обо всем, кроме этого'».

«Вплотную войдете в свою работу» означало работу над... романом, к которому он тогда приступил. Мысль о романе зародилась в нем после пьесы «Далекое», весной 1936 года, когда Афиногенов писал в дневнике: «Еще две пьесы были начаты — и брошены (у одной написан акт, у другой три картины)... Что-то искал, хотел, не зная сам точно... Начинал роман — и бросил... не было еще в романе мысли — о чем сказать, на что рассердиться и как начинать его... главное — как начать... Но мысль о романе греет, и в самые трудные минуты, когда скрежещешь зубами от мыслей, от бесплодности прожитых дней, утешаешься — впереди роман, надо выбрать время и начать... когда и о чем, не знаю, но надо начать. Во весь рост стала проблема, — в этом году впервые так остро, —

кто ты есть и чего добиваешься в жизни» (Подчеркнуто Афиногеновым. — **М. К.**). Осенью 1937 года, в Переделкине, быть может, не без влияния Пастернака, уже тогда работавшего над «Доктором Живаго», Афиногенов начинает писать свой роман. Название романа — «Три года». Действие развертывается в середине тридцатых годов в Москве. 25 сентября Афиногенов вздохнул в дневнике: «Если бы мне суметь начать мой роман так же просто и сильно, как это делает Бунин», а 28 декабря он уже записал, что «роман отнимает всё внимание, все силы, кроме него, уже ни о чем не думаешь».

Пастернак дал мудрый совет Афиногенову: действительно, когда он вплотную вошел в свою работу, — работу над романом, — наступило то «лучшее», в чем столь нуждался писатель, которому казалось, что его «вымазали в самой смрадной грязи». Приступая к роману, Афиногенов берет себе в учителя Достоевского. Вот отрывки из дневника 1937 года:

«**18 июля.** Первый день романа. И Толстой и Достоевский писали очень много о первом дне. В 'Братьях Карамазовых' — 191 страница — это первый день: и до 370-й — второй. Вот это размах воображения. И притом какое обилие людей, всё различных — от Зосимы до Хохлаковой, прекрасно выписанная фигура... А доктор Герценштубе, не появляющийся, но он всегда 'ничего не понимает'... Это только узор, бордюрчик... А внутри что делается, не охватить! Три брата — и каждый клад. Каждый — целая жизнь, на каждом отложилась наследственность — Алеша в мать, вторую жену, Иван — от отца юродство, облагороженное образованием и временем, но всё-таки — Федор Павлович тут! Димитрий — вторая отцовская линия — разгульных страстей, да еще мать прибавила огня в характер, понятно, почему потребовалось две матери этим трем братьям — столь разным... Да и Смердяков — ихний братец! В нем тоже карамазовские черты, упрощенные, карикатурные, хоть и трудно писать карикатуру на Карамазова-отца... но угадываются линии, в зародыше, и отца, и двух старших братьев...

И рядом с этим — Илюша, капитан-отец, Алеша... он теперь раскрывается по-новому, совсем не в религиозном ханжестве... нет, в таком принятии всего мира и людского зла, что сам становишься лучше, читая про него, и самому хочется пережить в меру своих сил хоть что-то подобное и так же, как Алеша, чувствовать себя всюду свободным, везде своим, не связанным ничем с местом на земле, — но любящим и землю и ее людей.

Роман многословен, но в этом тоже своя прелесть, когда следишь за ходом мыслей, а тут ведь не отрывочные афоризмы, а целые системы мыслей — и системы продуманные, свои неповторимые у каждого героя... Среди же афоризмов тоже есть изумительные по глубине... 'Жизнь полюбить — больше, чем смысл ее'... Это же действительно так.

Читаешь роман, сживаешься со всеми, кто в нем живет, и еще ощупываешь рукой правую оставшуюся часть — много ли еще? И с радостью замечаешь, что еще много предстоит тебе пережить вместе с ними — и поплакать хорошими слезами, и порадоваться, и застыть в ужасе, леденея и переворачивая страницы, как строки подлинной жизни».

«**24 августа.** У Достоевского планы романов занимали главное внимание. Разработка сюжета, вопросы самому себе, перемены действующих лиц, внезапные повороты характеров — видно по книге, как он лепил их. Это к вопросу о выдумке и описательстве жизни — прямой ответ. Конечно, писательская фантазия создает себе мир по образу и подобию нашему».

«**8 октября.** Как радостно погрузиться в книгу, которая откликается на чувства, владеющие тобой, и забыть обо всем, кроме тех людей, с которыми ты так близко в книге сжился.

'Униженные и оскорбленные' — в роман смело (урок всем позднейшим новаторам) вплетена история самого Достоевского с его первым романом — 'Бедные люди', и сам 'я' в романе — прекрасный образ, добрый и отзывчивый, ласковый и терпеливый. Недаром его полюбила Нелли — подлинная жемчужина романа, ее появления ждешь, о ней страдаешь, и так жаль, что ее мало в романе. Когда появляется она и начинает расцветать улыбкой угрюмая ее душа, становится слегка досадно, что так много места уделено страданиям Наташи, Алеши и проискам князя. Нелли, конечно, подлинная героиня романа, пусть она потом повторится как-то в Неточке Незвановой, но сейчас ее дикость и замкнутость, ее любовь, спрятанная в самой глубине сердца, привлекают и трогают до слез. Ее рассказ о себе, о дедушке, о матери своей действительно способен переломить человека, ее смерть трогает по-настоящему — нельзя, чтобы такие хорошие натуры умирали так скоро (как она говорит автору — зачем у него герой от чахотки умер? Разве не мог оживить героя на радость тем, кто эту книгу читал?).

Самому хочется броситься к столу, сесть, писать, не отрываясь, создавать и оживлять людей... И после такой вот книги проходит усталость, совсем далеко всякие заботы и

мысли — только, как на волне, лежишь и плывешь, отдавшись течению чувств, рожденных книгой».

Далеким прошлым стали те годы, когда Афиногенов ревностно изучал Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, Бебеля, Каутского, — всех их в его сознании вытеснил Достоевский, который и был той четвертой стороной, откуда пришла поддержка в тяжелую пору. Семья, земля, народ (включая Пастернака, далекого от партии и уже по одному тому близкого к народу и более свободного от «колдовской силы мертвой буквы»), наконец, Достоевский, победивший Маркса и Ко... — вот что помогло Афиногенову не только выстоять, но укрепиться и утвердиться в новой жизни. Вся его прежняя — партийная, марксистско-ленинская — жизнь представилась ему призрачной и нереальной, какова она и есть на самом деле. 1 сентября 1937 года он записал в дневнике:

«Сегодня меня будут исключать из Союза. Но мне трудно даже представить себе это, чтобы взволноваться или расчувствоваться. Это уже бьет по омертвевшему месту, чем скорее отрубят последыш и забудут обо мне, тем лучше. Я как будто бы никогда не был в здании на улице Воровского. Как во сне всё это — тяжелом, еле вспоминаемом сне. И одна мысль только греет меня — жить вдалеке от всего, что связывало с прежними привычками и людьми, не знать никого из тех, кого знал, — так только можно будет войти снова и новым в искусство. А писать я всё равно не смогу перестать — будет ли у меня билет Союза или нет. Сегодня утром долго сидел на солнце. Солнце грело по-летнему и не хотелось ни двигаться, ни думать. Просто чувствовать солнечное тепло на лице — это сейчас единственное тепло, которое я ощущаю».

Весьма характерно, что Афиногенов видел в своей судьбе смерть и воскресение. 4 октября 1937 года, в связи со смертью актера Азарина, он писал:

«Умирают люди. Умереть придется и мне. Я уже умер — прежний. Как сквозь дым или густой туман, вспоминаю о прежней жизни теперь... Ведь я был когда-то драматургом. Я же пьесы писал, и стоит открыть ящик шкафа — там увидишь их. Я ходил в театр, любил его, мог просиживать ночи на репетициях, и просиживал. Потом я попал под поезд — меня искромсало, и все обо мне забыли. Теперь — живет другой человек, начинающий жизнь с самых азов, человек, осматривающийся впервые. Этому человеку от силы 20 лет — у него еще всё впереди, но и ничего не сделано им еще. Надо трудиться над собой каждый день, каждый шаг проверять и за-

креплять, а о прошлом не вспоминать, оно уже в царстве Гадеса. В возрасте 33-х лет умер драматург и Бог с ним, — теперь растет кто-то другой, что из него получится, никто не знает, ему еще учиться надо, учиться жизни и всему... Да, новая жизнь, новое существо, странно только, что однофамилец и тезка...»

Эта тема — тема смерти и воскресения — основная тема романа «Доктор Живаго». Если Афиногенова издавна мучила тема смерти, и он посвятил ей пьесу «Далекое», то и Пастернак пишет в своем романе, что «искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь».

В 1937 году, в разгар ежовщины, мысли о смерти, терроре, об обреченности самих правителей, обрекавших людей на расстрелы и гибель в концлагерях, о насилии над душой человеческой бродили в голове каждого человека в России. Пастернак и Афиногенов, которых сдружило народное бедствие, конечно, не могли не говорить на эти темы. Тональность романа «Доктор Живаго» в какой-то мере определена духовным опытом, приобретенным во времена ежовщины. В романе и прямо говорится о «беспримерной жестокости ежовщины», о каторжных лагерях. Но даже там, где Пастернак описывает далекие по времени события, он вспоминает 1937 год. Так, рисуя картину боя, во время которого доктор Живаго нашел один и тот же псалом на груди у партизана и у молодого белогвардейца, Пастернак пишет:

«Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль. Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую войну. Прошли десятилетия и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы».

Когда Лариса рассказывает о Стрельникове: «Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении. Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный и что это перст обречения», — то, читая эти строки, нельзя не вспомнить коммунистов, энкаведистов, которые тоже отдали себя в руки сил «мертвящих и безжалостных»

и стали, как тот же Ежов, в конце концов, жертвами своей же ежовщины.

Живаго, беседуя с Гордоном, говорит: «От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно». Хотя эта беседа, по ходу романа, имела место в 1929 году, в ней слышатся отзвуки 1937 года, когда от всех, в том числе и от Пастернака, требовали подписывать письма с одобрением расстрелов, голосовать на митингах за резолюции с приветствиями «железному сталинскому наркому Н. И. Ежову», а после ежовщины изучать, как новую Библию, Краткий курс истории ВКП(б), полный лжи и фальсификаций, которые, однако, надо было признавать за правду. Такая беседа гораздо более характерна для 1937 года, чем для 1929 года, и в этом можно видеть отчасти художественный недостаток романа. Но такой недостаток есть и в «Войне и мире», где, как это тонко подметил Константин Леонтьев, люди 1812 года разговаривают так, будто они принадлежат 1860-м годам и являются современниками Толстого.

Если вчитаться в роман Пастернака, то нельзя не заметить, что в нем отразилась не только ежовщина, которую Пастернак пережил вместе с Афиногеновым, но еще и многое другое, что занимало Афиногенова. Вот, например, библейские мотивы в «Докторе Живаго». В самом начале романа, Юра Живаго, подойдя к оврагу, видит «членистые стебли хвоща, похожие на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном писании»; баба Устинья на митинге говорит про Валаамову ослицу; наконец, доктор Живаго говорит Ларисе: «Мы с тобой как два первых человека, Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь также раздеты и бездомны в конце его». Точно так же, как Афиногенов изучал композицию романов Достоевского, вероятно, изучал ее и Пастернак, о чем свидетельствует многопланное построение его романа, показывающего некую высшую реальность, но отнюдь не «реалистического». Достоевский, впрочем, и прямо вошел в роман Пастернака: встретившись в вагоне с Клинцовым-Погоревших, доктор Живаго тотчас же почувство-

вал, как «запахло Петенькой Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства»; несколькими страницами дальше доктор Живаго интересно говорит о Маяковском, в котором он видел «продолжение Достоевского», — так мог бы сказать и сам Пастернак, беседуя с Афиногеновым о «самом лучшем, талантливейшем поэте советской эпохи». Наконец, такие строки из дневника Афиногенова: «'Жизнь полюбить — больше, чем смысл ее'... Это же действительно так», перекликаются с высказываниями доктора Живаго о том, что «человек рождается жить, а не готовиться к жизни, и сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны». Или еще один пример: в речи на пленуме правления Союза писателей, произнесенной 16 февраля 1936 года, Пастернак говорил о том, что «плохих и хороших строчек не существует, а бывают плохие и хорошие поэты, т. е. целые системы мышления, производительные или крутящиеся вхолостую», и вслед за ним, 18 июля 1937 года, Афиногенов, размышляя в дневнике о «Братьях Карамазовых», восхищается тем, что там «не отрывочные афоризмы, а целые системы мыслей — и системы продуманные, свои, неповторимые у каждого героя».

Таким образом, по страницам дневника Афиногенова и романа Пастернака можно видеть, насколько были они созвучны друг другу. В характере у обоих была одна общая черта, которую необходимо отметить: оба они обладали тем, что в русском богословии называется «даром слёз». Афиногенов рассказывает в дневнике о том, как он сам плакал, уходя в лес, и как, случалось, плакал Пастернак в доме Афиногенова. В апреле 1939 года Афиногенов в Переделкине читал свою новую пьесу, «Вторые пути», и, рассказывая о читке в письме Н. В. Петрову, он сообщал: «Прошла она чудесно, Пастернак прослезился от волнения и сказал замечательные слова». В своем «Биографическом очерке» Пастернак, между прочим, рассказывает так же, как они с Есениным то «завязывали драки до крови», то, «обливаясь слезами, клялись друг другу в верности».

В жизни человека бывает, что самое тяжкое время потом вспоминается, как самое светлое и благословенное. Сужу по себе: октябрь — ноябрь 1941 года, когда я был солдатом на Волоколамском направлении под Москвой и чувствовал себя несчастнейшим человеком на свете, теперь вспоминаются мне, как лучшие месяцы моей жизни. Для Афиногенова таким лучшим периодом его жизни оказался период ежовщины. В конце

этого периода, 28 декабря 1937 года, Афиногенов писал в дневнике:

«...Именно этот период своей необычной трагичностью, подъемом и беспощадной критикой всей прожитой жизни так выделялся из всей моей жизни, что сейчас как бы обидно на самого себя за то, что он проходит, и вновь я опускаюсь в долину каждодневной работы над романом (раньше — над пьесой), то-есть в состояние привычное, знакомое, в котором может быть много тихих радостей от литературных удач, найденных образов, хорошего письма, но в котором нет сверкания очищающих молний, грозы и бури, когда казалось мне — нет, нет, не устою, упаду, не перейду рубежа, устал... и всё же шел вперед, находя новые силы в себе, не подозревая о том, насколько я оказался силен. Это был период неповторимый!.. О, как понятны теперь строки:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...»

Поистине, Афиногенов мог с полным правом сказать, как он и сказал в письме к Н. В. Петрову от 12 февраля 1938 года: «Многое, очень многое во мне совершенно умерло, многое родилось вновь. Об умершем не жалею, напротив — радуюсь. Родившемуся вновь — радуюсь еще больше». Только что приведенный отрывок из дневника, пожалуй, лучше всего показывает, что именно не родилось, а возродилось в Афиногенове: он полюбил трагизм, и, перефразируя то, что в связи с христианским пониманием трагического в жизни говорил В. В. Розанов, можно сказать, что «сладкая струна христианства заныла в его сердце». Московские «друзья», отшатнувшиеся от него в 1937 году, увидели после ежовщины, после переделкинского сидения, скрашенного дружбой с Пастернаком, совсем другого Афиногенова. Драматург Борис Ромашев пишет, что «Афиногенов 30-го года был совсем не таким, как Афиногенов 40-го: он стал много глубже, серьезнее, ровнее, душевно богаче». «Когда мне хочется подражать моим товарищам в литературной среде, — говорил не без зависти ныне покойный Борис Горбатов, — я бы хотел так же вести и держать себя в трудное время, как мужественно, честно и благородно держал себя в эти дни Александр Афиногенов».

К несчастью, «Афиногенову 40-го года» не суждено было долго жить: вечером 29 октября 1941 года он был убит при

бомбежке Москвы. В армейской шинели, в сапогах, в офицерской фуражке, с новенькими скрипящими ремнем и портупеей через плечо он прилетел в тот день из Самары: его вызвал в Москву начальник Совинформбюро А. Щербаков, чтобы послать — поскольку Афиногенов хорошо знал английский язык и был к тому же известным писателем — в лекционную поездку по Англии и Америке. Дожидаясь приема у Щербакова, Афиногенов сидел в здании ЦК партии у Варварских ворот, когда туда попала немецкая торпеда, — здание было срезано наискось по диагонали. Добавим, что Евгения Бернардовна не намного пережила своего мужа. В 1948 году она с двумя маленькими дочерьми приезжала в Америку навестить своих родителей. На обратном пути на океанском теплоходе произошел взрыв. Евгения Бернардовна погибла. Но дочери, игравшие на палубе в другом конце теплохода, остались живы.

Борис Пастернак узнал о гибели своего друга уже в глуши эвакуации. Три года спустя, 28 октября 1944 года, в газете «Литература и искусство», он опубликовал статью «Афиногенов», в которой писал:

«Афиногенова окружала половина художественной Москвы. Среди друзей, знавших и наблюдавших его, я на довольно близком расстоянии любовался им в последний год его жизни под Москвою, где мы тогда зимовали.

В нем было что-то идеальное. Он был высокого роста, красиво двигался и его высоко поднятая голова с чертами античной правильности как-то соответствовала красоте его внутреннего облика, сочетавшего в себе признаки чистоты и силы. Таков же был и его талант, юношески свежий, светлого, классического склада. Он писал для театра, и как всё истинно драматическое, был в жизни подкупающе естествен. В противоположность писателям, изъясняющимся трудно и неповоротливо, он с умом и дельно говорил о вещах, представляющих интерес и значение. И ставил себе ясные задачи и их легко и удачно разрешал.

Зимой 1940-41 года он читал нам свою чудесную 'Машеньку', шедшую потом с таким шумным успехом в блестящем исполнении Марецкой. ...И вот грянула война. Всё пришло в движение. Молодежь отправилась на фронт. Среди людей тыла Афиногенов еще больше, чем прежде, выделялся неподдельностью своего тона и поведения. Он остался верен навыкам своего призванья и только удесятерил энергию.

С начала войны он работал в Совинформбюро, куда уезжал на целый день, а когда возвращался, урывками и ночами,

когда каждый на его месте свалился бы от усталости, писал 'Накануне' — пьесу, которой суждено было стать его предсмертным произведением. Хотя в ее положениях нет ничего открыто-биографического, она мне кажется списанной с натуры того места, где ее создавали.

Тяжело и сонно шла к концу октябрьская ночь. Перед рассветом вверх к стеклянной террасе по лесистому склону поднимался из оврага туман. Вдали над Москвой, размазывая облака дыма и дождевые тучи, плевало кровью зарево продолжающегося и еще не кончившегося вражеского налета. В кресте прожекторных снопов высоко над домом среди зенитных разрывов белым червячком извивался какой-нибудь 'Мессершмидт'. Это было не только небо ночных работ Афиногенова, но и небо его пьесы, на которое в воображении он переносил всё, что успевал обнять душою, настигнуть и осветить. Поразительную эту вещь он нам читал в ночь такого налета».

А. Н. Афиногенов умер очень молодым человеком: в сорок первом году ему было только 38 лет. Он оставил 26 пьес, что указывает на его громадную продуктивность, необыкновенные возможности. В конце статьи, написанной к трехлетию со дня смерти Афиногенова, Пастернак рассказывает, как «в глуши эвакуации» он узнал о его гибели и не верил пришедшей вести: «Так не вязалась идея смерти с тем олицетворением жизненности и больших надежд и обещаний, каким был Афиногенов». В глазах автора романа «Доктор Живаго», человека старшего поколения, связанного с началом XX века, Афиногенов олицетворял жизненность вечной России, был ранним предвестником того «просветления и освобождения», о котором Пастернак говорит в заключительной главе своего романа.

Мих. Коряков

Б. Л. ПАСТЕРНАК

О трагедии Пастернака, который был принужден отказаться от Нобелевской премии и о стоящей за ней трагедии России я говорить не буду. Не буду говорить и о том, что советская Москва никогда не посмела бы объявить «Доктора Живаго», вопреки мнению виднейших западных писателей во главе с Мориаком — бездарным произведением, а дарование Пастернаку премии — политическим вызовом социалистической власти, если бы не убедилась на опыте, что во имя реальных интересов своей политики Запад приемлет решительно всё, что ему Востоком предлагается к приятию. Лишь недолго пылало, и то лишь в бенгальском огне, который не греет, и никого не испепеляет, сочувствие восставшим венграм; ныне уже многие доказывают, что «инвестирование» страданий без сразу же видимых результатов является политической бессмыслицей, лишь затрудняющей разрешение проблем. Не буду я, наконец, распространяться и на тему о проявленном западной общественностью интересе к «Доктору Живаго». Радость по поводу успеха пастернаковского романа была отнюдь не чистою радостью. Уж очень заметна была в ней кипучая работа книжного рынка по превращению трагедии писателя и России в доходное дело. Всё это, в конце концов, не очень важно. Очень важен лишь вопрос — почему советская Москва с такой лютой ненавистью набросилась на, в сущности, аполитически настроенного поэта и философа. Но этот вопрос выясним лишь в процессе тщательного анализа творческого облика и духовного подвига Пастернака.

Отличительною чертой русской культуры, объяснимою быть может близостью России к Азии, является полная незаинтересованность в идее автономии культурных областей, определившей собою всё западно-европейское творчество последних столетий. Россия почти не знала декартовски-кантовской беспредпосылочной философии, как она никогда и

не жила искусством ради искусства. Положение кенигсбергского философа, что подлинное искусство представляет собою некую «лишенную целеустремленности целесообразность», никак не применимо к русскому художественному творчеству, почти без исключений стремившемуся к устроению жизни во славу правды и справедливости, что для одних означало христианство, а для других революцию. Такое отношение к искусству, главным образом, к литературе, стало для русской общественности конца 19-го столетия и начала 20-го настолько очевидным, что до революции 1905 года за почти единственным исключением Волынского мало кто замечал, что русская литература живет в сущности вне атмосферы искусства. В этом смысле симптоматично, что организованное Горьким издательство, в котором сотрудничали почти все именитые писатели той эпохи, называлось «Знание», что явно свидетельствовало о науковерческих основах горьковского круга. Распространялись книги «Знание» помимо частников, непосредственно издательством, чем демонстрировалась борьба против капиталистической эксплоатации духовного труда. Большинство авторов «Знания» занималось художественным анализом особенно жгучих вопросов социальной жизни. Сам Горький воспевал подобного черной молнии Буревестника. Талантливый Куприн анализировал в своих романах недостатки буржуазного мира: в «Поединке» — недостатки царской армии, в «Молохе» — несправедливость буржуазных предприятий, в «Яме» — безнравственность общественной жизни. То же самое делал Шмелев в своем талантливейшем «Человеке из ресторана». Андреев в «Красном смехе» воевал против войны, а в «Василии Фивейском» против Господа Бога. Даже Бунин, по своему духовному складу не имевший ничего общего с сотрудниками «Знания», дал изумительный по точности и мрачности анализ русской деревни. Для всего этого круга характерно, что духовными вождями были исключительно прозаики. Только среди них и были талантливые люди. Из поэтов мало кто вспоминается, кроме случайно попавшего в революционный стан, всегда несколько манерно-ломанного Минского и часто появлявшегося в толстых журналах П. Я. (Якубовича-Мельшина), политика честного и мужественного, но поэта весьма шаткого и робкого дарования, да Скитальца, гордившегося тем, что он не «певец», а «кузнец».

Революция 1905 года отразилась в верхнем этаже русской культуры, в ее, говоря марксистским жаргоном, надстройке — весьма положительно. В литературе внезапно появились поэты,

писатели, литературоведы и критики совершенно нового духа и новой формации, которые, несмотря на разность уровня их дарований, быстро слились в недостаточно еще изученное и оцененное движение символизма. Не все, причислявшие себя к этому движению, имели на это право, если под символизмом понимать не только искания новых форм и приемов прозаического и, главное, поэтического словотворчества, а устремление к искусству не как к отражению видимого мира, а как к ознаменованию невидимого. Это, единственно возможное, определение символизма глубокомысленнее всех защищал Вячеслав Иванов в своей теории религиозного символизма. С ивановской точки зрения, Валерия Брюсова причислять к символистам, как духовно, так и стилистически, конечно, невозможно. То, что Брюсов не был символистом, доказывается косвенно тем, что его наиболее способный ученик Гумилев первым подал знак борьбы против символических туманов, в тщетной, как мне кажется, надежде повысить «ремесленную» ценность «цехового» искусства снижением его духовных, в частности, религиозных задач.

Мой схематический набросок карты русской литературы начала века был бы не полон без упоминания тех весьма разнообразных течений в литературе, живописи и даже в общественной жизни, что получили название футуризма. Объединяющим началом всех этих течений было отрицание прошлого. Но больше прошлого футуристы ненавидели вытекшее из него настоящее. Этой ненавистью объясняется и название их манифеста «Пощечина общественному мнению». Так как прошлое в лице символистов оказывалось связанным с небом и вечностью, то небо было объявлено футуристами — коровьим выменем, а звезды — (первый сборник ивановских статей назывался «По звездам») гнойниками на нем. Символическое стремление к преображению мира искусством было у футуристов заменено обезображиванием его. Правильно чувствуя, что смысловое содержание слов ограничивает свободу звуковых сочетаний, некоторые из футуристов, предвосхищая дадаистов, писали весьма звучные стихи без всякого смысла, не считая это, однако, эстетической бессмыслицей:

«Беламотокиой» (Крученых)

Самым характерным признаком футуризма было его стремление к завоеванию улицы. В длинных кофтах цвета «танго» с гримированными, разрисованными лицами, в высоких цилиндрах, футуристы всех толков и мастей кучками появлялись

на московских улицах и на литературных вечерах. С эстрады предвоенных лет часто раздавались иерихонские трубы Маяковского и красными огнями светились оттопыренные нетопырьи уши особенно наглого Вадима Шершеневича.

В Москве всем этим многие возмущались и не только обыватели, но и идейные писатели-общественники. На устах у всех было известное четверостишие:

«И парень этакий-таковский
Смышленый малый Маяковский,
Сумевший кофтой цвет «танго»
Наделать бум из ничего».

Это было, конечно, неверно. Футуристический бум был отнюдь не бумом «из ничего». Он вырастал из острого предчувствия революции, не столько как социального строительства, сколько как разгрома старой культуры. Большевики это почувствовали и наградили футуристов, вручив построение новой пореволюционной культуры не старому большевику — Горькому, а юному Маяковскому, в поэзии которого они, конечно, ничего не понимали, и которого они, конечно, никак не любили. Основанием для этого решения было требование футуризма выбросить за борт исторического корабля Пушкина и Достоевского, Рафаэля и Микельанжело. Культурная политика большевиков первых лет является убедительнейшим доказательством того, что им было не чуждо убеждение анархиста Бакунина, что страсть к разрушению есть подлинно-творческая страсть.

На фоне футуристического движения, шумного, пестрого, наглого, и всё-таки, по существу, пророческого, выдвигаются в конце концов только три подлинно-даровитых и значительных фигуры, из которых, по-моему, настоящим футуристом был только один Маяковский. Хлебников, которого Глеб Струве называет «отцом футуризма» им, конечно, не был. Не был футуристом и Есенин.

К какому же из всех охарактеризованных течений относится Борис Пастернак? В литературе его чаще всего причисляют к футуристам и даже к кубо-футуристам, чему он сам дает некоторый повод, говоря в биографическом очерке о своих статьях футуристического периода. Встречаются также определения Пастернака и как акмеиста, быть может в связи с его весьма положительным высказыванием о творчестве Ахматовой.

Всякие классификации, в особенности в сфере искусства, сложны и спорны. В классификационную графу ни одного более или менее способного писателя, во всем объеме его творчества, вписать, конечно, нельзя. Пастернака же с его «лица необщим выраженьем» вообще нельзя было бы уловить, если бы он в «Охранной грамоте», в «Докторе Живаго» и в «Автобиографии» не дал скупо набросанной, но предельно острой характеристики своего творчества и своих взглядов на искусство, явно связывающих его с символизмом и стоящими за ним теориями критического и романтического идеализма.

«Познать мир, — значит сделать его неузнаваемым», читаем мы у знаменитого философа Генриха Риккерта. Говоря о происхождении искусства, Пастернак пишет: «Мы перестаем узнавать действительность. Она предстоит нам в какой-то новой категории... Мы пробуем ее назвать, — получается искусство». То, что Риккерт говорит о познании, а Пастернак об искусстве, не лишает нас права сравнения обоих высказываний, так как в основе познания, о котором говорит Риккерт, лежит трансцендентальная **эстетика** Канта. Пастернак же включает в свое определение искусства типичное для Канта понятие «категории». Очень существенна мимоходом брошенная Пастернаком мысль, что та категория, в которой «предстоит» поэту внезапно ставший неузнаваемым мир, кажется нам не нашим состоянием, а обстоянием мира. Эта мысль явно связана с учением Канта, что мир, предстоящий наивному человеческому сознанию некой не зависящей от человека реальностью, на самом деле является созданием самого человека, оформлением мира присущими сознанию формами времени и пространства, причинности и вечности.

Это оформляющее мир сознание не есть, однако, сознание отдельного эмпирического человека, а как бы человека с большой буквы, носящего у Канта название «трансцендентального субъекта», у Фихте — абсолютного «я», у Гегеля — абсолютного духа, а у Пастернака — образа Человека, который больше человека. Этот образ и творит мир искусства. В искусстве, читаем мы у Пастернака, «человек смолкает, ему зажимают рот, а заговаривает образ». Но анализ идет еще дальше. Как человек, оформляющий мир присущими сознанию формами, ощущает эти формы как нечто принадлежащее самому миру, так и поэт ощущает каждую метафору не как свое изобретение, а как некое обретение таящейся в мире истины. Эти взгляды Пастернака почти дословно повторяют мысли ивановской теории религиозного символизма. Это объ-

ективирующее начало пастернаковской эстетики сказывается и в его понимании вполне самостоятельной роли языка в творчестве поэта. «В минуту вдохновения, — пишет Пастернак, — живое соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражение, а язык, которым он хочет его выразить»... «Язык — родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека». Мысль превращения языка как бы в самостоятельное творческое существо уже сто лет назад глубоко волновала известного немецкого языковеда Гумбольта и поэтов Гёльдерлина и Новалиса. Вячеслав Иванов переводил в «Мусагете», где бывал и Пастернак, гимны ночи Новалиса, а Белый, которого очень ценил Пастернак, с особенной страстностью занимался проблемами языка, ощущая, как и Пастернак, его живую творческую силу:

«Язык, запрядай тайным сном!
Как жизнь восстань и даруй: в смерти!
Встань в жерди: пучимым листом!
Встань тучей, горностаем тверди,
Язык, запрядай вновь и вновь»...

Моими беглыми соображениями о поэтике Пастернака я, конечно, ни в какой мере не стремился установить ученической зависимости поэта от идеалистической философии, что господствовала в Марбурге во время его пребывания в нем, а также и от романтической настроенности символизма. Мне хотелось лишь нарисовать ту атмосферу, в которой слагался духовный образ Пастернака. К сказанному надо прибавить только еще то, что свое символическое искусство Пастернак никогда не ощущал в отрыве от действительности, что было характерно для некоторых западных романтиков. Не чувствовали этого отрыва, впрочем, ни Блок, ни Белый, ни Иванов, ни Брюсов. Характерно, что почти все беллетристы-знаньевцы эмигрировали: Андреев, Куприн, Шмелев, Зайцев, Бунин, Чириков, а символисты, за исключением поздно покинувшего Россию Вячеслава Иванова, остались в России — Блок, Белый, Волошин. Может быть в этом сказалось их теургическое (Владимир Соловьев) понимание искусства, как сверхискусства, одним своим наличием в стране построяющего ее жизнь. Эту мысль высказывает и Пастернак: «Искусство, — читаем у него, — символично как факт, но реалистично, как деятельность».

Быть может с этим теургическим пониманием искусства связано то, что символисты приняли, каждый по-своему, большевистскую бурю, не как политическую расправу с русским народом, не как изначальный хаос планового хозяйства, а как трагедию, как возмездие за прежние грехи, как музыку космической катастрофы.

Косвенным доказательством миросозерцательной связи Пастернака с символистами и его атмосферической близости к ним можно считать и то, что рисуя в третьей части «Охранной грамоты» портрет своих юных сверстников, снующих со вниз опущенными головами по московским бульварам, Пастернак, в качестве стоящей за ними спасительной силы, называет искусство. Какое искусство? спрашивает он и отвечает — искусство Блока, первого поэта символизма, посвященного, по его собственному признанию, в этот высокий сан мистиком, софиологом и певцом вечной женственности, Владимиром Соловьевым, Белого, автора объемистого труда о символизме и бесспорно самого значительного прозаика символической школы, единственного, к слову сказать, писателя, о котором Пастернак говорит, как о гении, Скрябина, о принадлежности которого к символизму свидетельствует Вячеслав Иванов, и, наконец, любимой актрисы той эпохи, Веры Федоровны Комиссаржевской, не пожелавшей отражать на сцене видимую действительность, а возжаждавшей воплощать невидимое. Когда она, смотря за Волгу, говорила о своей любви к Паратову и о невозможности выйти, по родительской воле, за Карандышева, сразу же исчезала всякая разница между Паратовым и Карандышевым: в ее голосе звучала тоска мировой души по соединению с вечным духом. Это были скорее Плотин и Соловьев, чем Островский. Драму она разрушала психологически.

Утверждая внутреннюю связь Пастернака с символизмом, я отнюдь не оспариваю близости Пастернака, точнее — Пастернака до 1946 года, которого он, по собственному признанию в биографическом очерке, созрев, как поэт, разлюбил, — с футуризмом. Вопрос только в том, с кем из действительно значительных поэтов футуризма он был внутренне связан. О том, что он, в противоположность Маяковскому, никогда не имел ничего общего с футуристической улицей, говорить не приходится. Интересно, между прочим, замечание Пастернака,

что Маяковский терпел вокруг себя эту улицу, боясь своего одиночества.

Оспаривать некоторую близость между Хлебниковым и Пастернаком, а быть может даже и влияние Хлебникова на Пастернака, которое признает Глеб Струве, я бы не стал. Но против того, что Хлебников, душа которого была как бы в себе самом зачатым невнятным хаосом, над которым, освещая его глубину, внезапно вспыхивали какие-то нездешние светы, был футуристом, — я стал бы спорить. Поэт, не укорененный в прошлом, не в силах быть глашатаем и строителем будущего. Не был подлинным футуристом и явно укорененный в прошлом Сергей Есенин. Озорующий по натуре и без вина хмельной народник-революционер славянофильского корня, мечтавший о революционном вожде, как о крестьянском царе, он, в сущности, был одиноким чужаком-пассеистом в футуристическом лагере. Из больших поэтов подлинным футуристом был один только Владимир Маяковский, так как только в нем были сильны и исконны те тенденции, что породили европейский футуризм: тенденции к политизированию искусства и превращению его в общественную силу. Не надо забывать, что создатель итальянского футуризма — Маринетти, иезуит по воспитанию, но тем не менее страшный националист, громогласно требовал в 1914 году вступления Италии в войну против Австрии, а в 1919 г. с полным убеждением вступил в фашистскую организацию, и что немецкий футуризм в лице издателя известного журнала «Die Aktion» Франца Пфемферта — явно тяготел к коммунизму. То, что в Италии и Германии нужно было насаждать, было со времен Радищева вполне очевидно русскому искусству. Очень своеобразный по особенностям своего дарования и своей словесной стилистики поэт Маяковский был в сущности типичным продолжателем исповеднически-политической темы русской литературы, продолжателем Радищева и Горького, что, между прочим, отмечает и вступительная статья к немецкому переводу произведений Маяковского. Не случайно он, еще гимназистом, записался в социал-демократическую партию и расположился на ее левом крыле.

Идейным марксистом он, конечно, никогда не был, но революционером был с малолетства. Пастернаку он напоминал «сводный образ молодого террориста-подпольщика из младших провинциальных персонажей Достоевского». С этим Маяковским-футуристом, большевистским трибуном и политиче-

ским агитатором, у Пастернака не было ничего общего. В биографическом очерке он пишет: «Позднейший Маяковский, начиная с мистерии-буф, был недоступен мне. До меня не доходили эти неуклюже зарифмованные прописи, изложенные так искусственно запутанно и неостроумно. Это на мой взгляд Маяковский никакой, не существующий. И удивительно, что никакого Маяковского стали считать революционером»... «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине». Отрицая Маяковского как футуриста, как трибуна, громогласного агитатора и глашатая грядущего социализма, Пастернак страстно, а временами даже и нежно, любил раннего Маяковского, еще не испорченного футуристическим политизмом. С этим Маяковским, как и с целым рядом других поэтов, Пастернака тесно связывало искание и обретение новых поэтических форм, ведущих дальше того, что было найдено уже символистами. Это новое, вернее всего определяется термином — экспрессионизм, который в начале 20-го столетия оказался господствующим стилем во всех европейских странах. Основным признаком экспрессионизма является его эмоциональная взволнованность, перегруженность, мешающая изображению мира в его первичной естественной данности. Все поэты-экспрессионисты рисуют образы мира в охвате человеческих страстей, как бы сдвинутыми со своих мест и перемещенными во времени, к тому же, и это главное, метафорически сращенными друг с другом, хаотизированными и остраненными (Шкловский). С этим связаны и все более внешние приемы экспрессионистического творчества; отрицание канонизированного синтаксиса, логической внятности мысли и необходимости зрительной реализации образа. Вот несколько примеров немецкой экспрессионистической лирики.

«Лодка моя качалась в лунных истоках»

«Бог с трона своего упал в громокипящие чертоги любви и жизни»

«Я хаос приветствовал бокалом вина.
Он вздрогнул, засмеялся и заплакал,
Потом опять в себе затих»

«Вот в сумерках смерть — велика, неизвестна
Спит,
Раздавливая луну в своей черной руке».

Таков обще-европейский стиль экспрессионизма, который был типичен и для поэтов России начала века. За такие нарочитости и натянутости Вейдле еще в 1928 году, в своей статье о Пастернаке, строго порицал его творчество, не отрицая, однако, что в нем есть «индивидуальная единственность поэта». Этой единственности поэзии Пастернака посвящена статья русского слависта Романа Якобсона, профессора Харвардского университета. Сравнивая художественные приемы Маяковского и Пастернака, Якобсон приходит к заключению, что поэзия Маяковского сильна прежде всего оригинальной метафорой, т. е. сближением образов по их сходству или по противоположности. Поэзия же Пастернака, отнюдь не отталкиваясь от метафоричности, жива, прежде всего, как выражается Якобсон «метаномическими рядами». Передавая интересную статью Якобсона в несколько упрощенном, но отнюдь не искажающем виде, можно сказать, что поле ассоциаций является у Пастернака предельно расширенным, не ограниченным законами сходства и противоположности образов. У Пастернака все образы вступают в перекличку между собою, как бы аукаются в заповеднике его души. Якобсон отмечает, что на первый взгляд может показаться, что за ассоциативным ливнем пастернаковских стихов исчезает собственное «я» поэта, но что это неверно, так как самые заумные образы Пастернака являются в сущности метаномическими спутниками, а то и отражениями самого поэта.

За этими поэтическими приемами скрывается, как мне кажется, очень определенное мироощущение поэта, некий своеобразный пантеизм. Есть пантеизм, живущий жаждою растворения всякой оличенной особи в божественно-безликом мире: тоска водяной капли об исчезновении в океанской безбрежности. Она встречается у юного Толстого. У Пастернака обратное. Он всем безликим явлениям и образам жизни и мира дарует человеческие образы, а так как человек создан по образу и подобию Божьему, то можно сказать, что он всё в природе и в жизни обожествляет. В пантеизме Пастернака нет ничего буддийского. Если считать, что христианство соединимо с пантеизмом, то пастернаковский пантеизм можно будет назвать христианским.

Особенной любовью Пастернака пользуются деревья. Для него они все — живые существа, наделенные свободой передвижения.

«Парк близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктора, и что-то ему напомнить.

Деревья как белые призраки высыпали на дорогу, делая прощальные знаки так много видевшей белой ночи.

Стоящие у церковного входа березы сторонятся при приближении крестного хода».

Не менее оличены и одухотворены и все другие явления природы: гроза по лестницам и галлереям вбегает на крыльцо, лошади и дуновение ветра поют вечную память.

Но одушевляются и тем очеловечиваются у Пастернака не только явления природы, но даже и душевные состояния. Так например, в «Охранной грамоте» Пастернак рассказывает, что вместе с ним в вагоне едет его собственное молчание, при особе которого он состоит и даже носит форму, знакомую каждому по собственному опыту. На той же странице встречаем еще более странный оборот: привычно-импрессионистическое описание городского утра неожиданно заканчивается типично-пастернаковским образом: свежая лаконичность жизни переходит через дорогу, берет поэта за руку и ведет по тротуару. Так и молчание и лаконичность жизни превращаются в живые существа, с которыми складываются весьма сложные человеческие отношения. Рассказ о помощи, оказанной ему свежим лаконизмом жизни, Пастернак завершает признанием, что «братство с огромным летним небом» было незаслужено и что он должен будет в будущем отработать утру его доверие.

Говоря о творчестве Пастернака, при чем не только о его стихах, но в такой же мере и о его прозе, нельзя не остановиться на исключительной музыкальности его словесного дара. Этот дар отнюдь не исчерпывается перезвонами гласных и перещептываниями согласных, что так характерно хотя бы для Бальмонта. Музыкальность Пастернака гораздо более сложное явление. В своей автобиографии он сообщает, что он, несмотря на свою высокую оценку Белого, не посещал его мусагетского семинария, в котором изучался классический русский ямб, так как «всегда считал, что музыка слова явление не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания».

В последней глубине этого звучания Пастернаку слышалась тишина: «Тишина, ты лучшее — Из всего, что слышал». (Звезды 1917).

Из этой тишины на него часто налетал «свист тоски» не с него начавшийся. Налетая на поэта с тылу, он пугал и жалобил его, грозил затормозить действительность и молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему тем временем зайти далеко вперед.

Эта мольба тоски о живом воздухе придает пастернаковской поэзии нечто исключительно бодрящее, светлое и жизнеутверждающее, все те черты, которые внушили Анне Ахматовой строку: «Он награжден каким-то вечным детством». Почти о том же говорит и заглавие статьи Марины Цветаевой о Пастернаке — «Световой ливень».

Надо признать, что письмо редакционной коллегии «Нового Мира», полученное Пастернаком еще в 1956 году, но опубликованное лишь 25 октября 1958 года в № 128 «Лит. газеты», мотивирует свой отказ печатать роман в весьма приличной для Советской России форме. Текст письма свидетельствует о пристальном изучении романа. За Пастернаком признается талант и серьезность проделанной им работы. Нет в письме ни грубых политических выпадов, ни оскорбительных выражений. Чувствуется, что редакционная коллегия стремилась вызвать у возможных читателей впечатление объективности анализа и оценки «Доктора Живаго».

За этой внешностью скрывается, однако, полное непонимание романа, начинающееся отожествлением Юрия Андреевича Живаго с Пастернаком, что недопустимо уже потому, что между семейными обстоятельствами, в которых вырос Борис Пастернак, и сиротским детством Живаго нет ничего общего, а детские годы и детские впечатления всегда ведь оказывают большое влияние на развитие и духовное становление человека. К тому же в автобиографии Пастернак мельком выводит своего приятеля Самарина, судьба которого с точностью совпадает с судьбою пастернаковского героя, в чем невольно слышится предупреждение не смешивать автора с ним. «В начале НЭПА он (Самарин) очень опростился и всё понимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботой. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль».

Хуже этой формальной некорректности, как-никак облегчившей редакции нападки на Пастернака, та, как бы сама собой понимающаяся самоочевидность, с которой члены редакционной коллегии критикуют роман с ортодоксально-марксистской точки зрения.

В дальнейшем редакционная коллегия рисует Живаго матерым мещанином, который по началу, было, приветствовал революцию несколькими громкими фразами, но спохватившись, что она может нанести ему материальный ущерб, решает, несмотря на то, что в Москве до зарезу нужны врачи, смыться в Сибирь, где будет легче прокормиться. Запутавшись против своей воли в ненавистной ему революции, этот интеллигентский индивидуалист больным, голодным, вшивым, возвращается в Москву, где и умирает в трамвае так же бессмысленно, как жил, отрезанным от великих судеб своего народа, слепым и надменным отрицателем свершающихся событий.

Такова примитивная каррикатура на «Доктора Живаго». Что же представляет собою на самом деле духовно весьма сложный герой Пастернака?

В каждом подлинном художественном произведении общее содержание и даже духовные облики выводимых типов являются крепко связанными с формою повествования. Форма, в которой написан «Доктор Живаго», весьма отличается от формы традиционного русского и даже европейского романа 19-го и 20-го веков. Этим обстоятельством объясняется то, что очень многие иностранные, а отчасти и русские читатели, не прошедшие через символизм («Петербург» Белого) находят образы, созданные Пастернаком весьма смутными и трудно уловимыми. Нет сомнения, что это до некоторой степени верно. Неверность начинается лишь там, где эта «смутность» вменяется Пастернаку в художественную вину. Никто не будет оспаривать, что действующие лица «Доктора Живаго» лишены той толстовской стереоскопичности, которую сохранили в своем творчестве и Чехов и Бунин и в самой большой степени быть может Алексей Толстой. Отсутствие этой пластичности, однако, отнюдь не объясняется недостаточностью пастернаковского дарования, а требованием того стиля, в котором задуман и выполнен «Доктор Живаго». Это доказывается хотя бы тем, что расплывчатость образов, как говорят критики Пастернака, относится лишь к главным героям романа, в то время, как носители эпизодических ролей возникают в нем с бросающейся в глаза рельефностью. Напомню хотя бы на-

чальника дистанции Фуфыркина, его тонную жену и экипаж, в котором она за ним приезжает, в то время как он, гуляя по шоссе, любуется складками своих брюк; свирепо ругающегося мастера Худолеева, таскающего за вихры татарченка Юсупку, или мастерски выписанного адвоката Комаровского. Этой видимой пластичностью ни Живаго, ни Лара, ни Антипов-Стрельников не награждены. Но и не видя их так, как мы видим перед собою Анну Каренину и Вронского, мы всё же до конца постигаем их: сливаемся с их переживаниями, слышим в нашей груди биение их сердец, вдыхаем в себя их дыхание. Такие сцены, как предсмертный разговор Стрельникова с Живаго, приезд Лары в Москву, где она как-бы случайно попадая в комнату, где студентом жил ее покончивший с собою муж, видит Живаго в гробу, так потрясающе сильны, что сравнимы разве только с лучшими сценами Достоевского. Ничего удивительного в этой силе нет. Постижения не всегда должны идти путем внешнего созерцания. Человеческих лиц, тел, движений постичь нельзя, не увидя их глазами, но душу можно постичь и в темноте: во мраке любви и смерти.

Кроме как отсутствием пластичности образов, «Доктор Живаго» отличается от классического русского романа некоторой как бы недостаточной связанностью всех действующих лиц друг с другом. Есть что-то случайное в их встречах и взаимоотношениях. Некоторые исчезают с глаз читателя, как бы уходят в глубину волнующейся вокруг них жизни. Но вдруг они снова выплывают для какой-то провиденциальной встречи.

Сводный брат Живаго появляется в романе всего только несколько раз, словно из земли вырастает, чтобы помочь Юрию Андреевичу в тяжелую минуту. Это «случайное» появление ощущается, однако, несмотря на то, что оно ни логически, ни психологически автором не мотивируется, не как случайность, а как веление судьбы или как проявление Божьей заботы. В конце концов случай есть ведь не что иное как атеистический псевдоним чуда. В этом изображении человеческих взаимоотношений вне психологического плана таится одна из характернейших черт романа. Уход Антипова от Лары, его перерождение в жутко-обаятельного Стрельникова, отношение Живаго к жене и Ларисе, всё это остается непонятным. Схема психологического объяснения: вот причина, а вот ее следствие, к действующим лицам романа не применима. Объяснение тому, что они переживают, надо искать не в той жизни, которою они живут на глазах у читателя, а где-то

вне ее пределов, что требует от читателя особой интуиции. Описаний любовных сцен в привычном смысле, в реалистическом стиле — в романе нет; есть только мистика и музыка любви, ее скорбная или торжествующая песнь. Мистики и космической музыки полны и мысли Лары у гроба Юрия Живаго: «О, какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что непохожая! Они думали, как другие напевают... Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще может быть больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались... Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкой мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной».

Можно, конечно, считать, что сверхнатуралистическая, сверхпсихологическая структура и стилистика «Доктора Живаго» лишила его всех черт, как будто обязательных для большого эпического произведения. Но нельзя не видеть, что только эта структура и эта стилистика дали Пастернаку возможность окрылить свое повествование глубоко своеобразными, лично пережитыми раздумьями о судьбах мира, о трагедии человеческой жизни, о природе и назначении искусства. Даже те, которым роман кажется произведением темным, частично хаотичным, не могут не признать, что над этим хаосом всё время полыхают зарницы духа. «Нельзя запечатлеть всех молний» (А. Белый). Эта, пронизывающая весь роман Пастернака философия сливается с органически свойственной Пастернаку музыкальностью его словесного дара, достигающей особого совершенства в его метонимических описаниях природы, образы которой не являются у него, как у Чехова и Бунина, красочно-живописными реальностями, среди которых развертываются судьбы людей, а скорее космическими собеседниками человека: — «Душевное горе обостряло восприимчивость Юрия Андреевича. Он улавливал всё с удесятеренною резкостью. Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в первый раз только сегодня в утешение осиротевшему, впавшему в одиночество, человеку. Точно не просто поясною панорамою стояли, спинами к горизонту, окружные леса по буграм, но как бы только что раз-

местились на них, выйдя из-под земли, для изъявления сочувствия».

Всё сказанное до сих пор о Живаго сливается у меня в душе в некую религиозно-интонированную симфонию, звучащую с каких-то трансцендентных высот над кровавым безумием творимого людьми мира. Об этом кровавом безумии написано и прочитано каждым из нас бесконечное количество книг. Но ни одна из этих страшных книг не наполнила моей души такими безвыходными муками, таким отчаяньем, как «Доктор Живаго». В значительной степени это объясняется, конечно, тем, что события большевистской революции развертываются у Пастернака под исполненными нездешней музыкой небесами. Но есть этому впечатлению и другая причина. Мне кажется, что она заключается в том, что революционные события описаны в «Докторе Живаго» человеком с невероятно зоркими глазами, но лишенным каких бы то ни было идеологически-политических точек зрения. Если бы Пастернак был политиком, то картина революции вышла бы у него более осмысленной и потому менее страшной. Она осмыслилась бы или как возмездие за преступления царского режима или как предупреждение миру — вот что представляет собой социализм, а потому бойтесь его, — или наконец, как неизбежно-темное вступление в светлое царство социализма на путях государственного возвеличения России. У Пастернака ничего этого нет. Нет даже блоковской музыки революции, ни идущего впереди революции Христа. Правда, есть в «Докторе Живаго» несколько скупых слов, как будто бы прославляющих большевистский переворот. В разговоре с тестем, Юрий Андреевич вытаскивает из кармана пиджака газету с предложением прочесть и полюбоваться, а сам «не вставая с корточек и ворочая дрова в печке», громко разговаривает сам с собою: «Какая великолепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые, вонючие язвы. Просто, без обиняков, приговор вековой несправедливости, привыкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед нею и приседали». Конечно, это своеобразное приятие революции, но никакого политического или социального одобрения ее в этих одиноких у горящей печи, себе под нос, раздумьях, в сущности, нет, так как положительной стороною революции является всего только ее артистически упрощенный жест, напоминающий Пастернаку даже «светоносность» Пушкина: особым величием революционного жеста поэту кажется то, что он, «как всё гениальное», был «вполне неуместен и несвоевременен».

Дальнейшее развитие революции явно погасило в нем это изначальное как бы приятие, отнюдь не превратив его, однако, ни в контрреволюционера-монархиста, ни в демократа либерального или социалистического толка. Для правильного понимания Пастернака очень важно осознать, что большевики чужды и враждебны ему не как политическое течение, которому он противопоставляет другое, правильное, а как яркое обнаружение всей той лжи, в которой запуталась общественно-политическая жизнь человечества. Только этим характером художественного обличения большевизма объясняется то, что Живаго признается, что он как-то не заметил смены временного правительства большевистскою властью и что он в сущности не видит никакой разницы между злом белой и красной армии. Этот глубокий аполитизм, против которого можно, а, может быть, и должно спорить, объясняется христианскими предпосылками пастернаковской философии истории, основные мысли которой он с афористической краткостью и с допускающей разные толкования свободою сформулировал главным образом в третьей и четвертой главах своего романа. По мнению Пастернака, даже и не верующим в Бога людям нельзя не видеть, что история, в подлинном смысле этого слова, родилась вместе с христианством в том «новом способе существования и новом виде общения, которое называется Царствием Божием» и в котором — это главная мысль Пастернака — нет народов (в языческом смысле слова), а есть лишь личности. Пастернаку кажется каждый в себе замкнутый факт до тех пор бессмыслицей, пока в него не будет внесен смысл. Смыслом же, осмысливающим факт, Пастернак считает порожденную христианством «мистерию личности». Личность же не всегда есть отдельная человеческая особь, ею может быть и народ, но «не просто народ, а обращенный, претворенный народ». Всё дело, восклицает доктор Живаго, именно «в превращении, а не в верности старым основаниям».

Очень своеобразно пастернаковское учение о личности. Пастернак считает ее бессмертной, но не на том основании, что она, как учит христианство, воскреснет после смерти, а потому, что ее рождение уже было выходом, воскресением, из необъятного царства безлично-самодовлеющей жизни и вхождением в творимую личностями историю.

Этот круг мыслей существенно дополняется другим. Что такое человек? спрашивает Пастернак и отвечает: подлинный человек, т. е. личность нового христианского времени — есть человек, всегда живущий в других людях. Душа человека есть

не что иное, как человек в других людях. В них умерший остается и после смерти. В них он обретает свое бессмертие. Называть эту форму бессмертия памятью Пастернак считает недостаточным, быть может даже неверным. «Какая вам разница, — говорит он больной Анне Ивановне, — что потом это будут называть памятью, это будете вы, в составе будущего».

Редакционная коллегия «Нового Мира» безоговорочно обвинила Пастернака в индивидуализме. За тот же индивидуализм хвалят Пастернака его иностранные почитатели: вот-де сумел мужественно противопоставить начало индивидуализма — началу большевистского коллективизма. Эта терминология, за которой стоит, конечно, вполне определенная философия, сплошное недоразумение, мешающее правильно понять нравственную позицию Пастернака.

Латинское слово индивидуум означает нечто неделимое, т. е. в себе замкнутое, лишенное, по терминологии современного экзистенциализма, дара «коммуникации» т. е. общения. Этой этимологической сущности термина вполне соответствует психологическое и социологическое содержание общепринятого понятия — индивидуалист. Если индивидуалист и не всегда эгоист, то он всё же всегда — существо в той или иной степени эгоцентричное, носящее свою душу в себе самом, в своей груди. С точки зрения Пастернака — индивидуалист, в сущности, бездушен, потому что душа человека есть «человек в другом». Индивидуалист же есть человек в себе. По терминологии Пастернака, человек в себе — есть неизбежно человек обезличенный, так как мистерия личности питается христианством, а христианин живет любовью к ближнему. Ради защиты своих интересов индивидуалисты очень легко объединяются в коллективы, в которых, однако, каждый функционирует, как вариант любого другого сочлена этого коллектива и в котором, защищая другого и других, каждый, в сущности, защищает только себя самого. В том, что этот западно-европейский индивидуализм является лишь обратной стороной большевистского коллективизма, заключается вся неразрешимость современного политического положения.

Лишь на фоне этой философской концепции Пастернака становится до конца понятным уже выше отмеченное отношение Пастернака к большевизму. Уточняя и заостряя взгляды Пастернака, можно сказать, что он отрицает большевиков за то, что вся их историческая деятельность является не только

отрицанием истории, но и насмешкою над ней. Истории, пишет Пастернак, никто не делает; ее не видно, как нельзя увидать, как трава растет. Растет история не в шумихе массовых сцен и не по воле фанатиков, а в тайниках возжаждавших «блаженства духа» личностей — индивидуальных и соборных. Войны и революции Пастернак ощущает, а часто и приравнивает к таким природным явлениям, как гроза или болезнь. В лучшем смысле эти явления представляются бродильными дрожжами истории, но не ею самой. Лишь осмысливание этих природных фактов духом личного творчества может быть названо историей. Надо, правда, оговориться, что сам Пастернак, вопреки религиозной глубине своих мыслей, нередко употребляет термин «история» в ходячем смысле этого слова, что, быть может, объясняется требованиями художественной формы романа. Терминологический педантизм в искусстве неуместен: он убивает жизнь.

Извлеченная мною из «Доктора Живаго» философия истории во многом напоминает историософские построения Бердяева, различающего в истории как бы два этажа: историю и метаисторию. Земным носителем метаистории у Бердяева, как и у Пастернака, является личность, внутри которой и свершается исторический процесс. Выше личности у Бердяева ничего нет, что богословски объясняется тем, что только личности обещано воскресение. Последних глубин христианства в его догматической сущности — Пастернак не касается, но его немое присутствие всё же чувствуется во всех построениях «Доктора Живаго». Да и прекрасные, духовно возвышенные и одновременно исполненные как пейзажной, так и бытовой конкретности стихи доктора Живаго неоспоримо свидетельствуют о сверхфилософской и сверхэстетической связи Пастернака с христианством.

Как Пастернака одни хулят, а другие хвалят, за его индивидуализм, так же одни его славят, как стойкого русского интеллигента, а другие, главным образом, советские критики презрительно именуют его — чуждым массам, интеллигентским отщепенцем. Определение Пастернака, как типичного интеллигента, европейцам простительно, но в русских устах — непонятно. Для русского уха аполитичный интеллигент — абсолютно невозможное словосочетание, так как вся русская революция была, конечно, главным образом, порождением русской интеллигенции, которую уже восемьдесят лет тому назад Анненков определил как некий «революционный орден».

У Пастернака в обеих его автобиографиях нет и намека на какую бы то ни было близость к этому интеллигентскому ордену. Я не знаю другого русского человека, который с такою же сомнамбулической невменяемостью прошел бы мимо всех волнений и проблем русской общественной жизни. К немецкому переводу «Охранной грамоты» приложен, как это обыкновенно делают немецкие издатели, список упомянутых в тексте лиц. Среди семидесяти приведенных имен нет ни одного политического, за исключением Горького, упомянутого, однако, не в качестве общественного деятеля, а лишь по поводу портрета, который должен был писать с него отец Пастернака. Пастернак рос исключительно среди поэтов, писателей, художников, музыкантов, как бы стеною отделен от общественной и партийной жизни бурного начала 20-го века, чем, быть может, и объясняется, что Пастернаку удалось до конца сохранить свои живые человеческие глаза, а большевикам не удалось заменить их протезами идеологических точек зрения, в чем, конечно, и состоит его величайшая вина перед советской властью и партией.

Среди многих замечательных мыслей об искусстве, разбросанных по страницам «Доктора Живаго», встречается и следующая, быть может, главная мысль: «Искусство всегда не переставая занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает».

Не ставя вопроса, как велика дистанция между Откровением Иоанна и «Доктором Живаго», можно всё же сказать, что этот роман бесспорно большое и истинное произведение, значительное прежде всего тем, что в планетарном размахе большевизма, в сверхчеловеческой активности партии, в ее мессианском утопизме, в том шуме и хаосе, которым большевизм наполнил мир, Пастернак услышал голос смерти и увидел немое лицо человека, скорбящего о поругании самого дорогого, чем Создатель наградил человека, — о поругании его богоподобия, в котором коренится мистерия личности.

В том, что Пастернак за десятилетия своего пребывания в Советской России сумел остаться жрецом этой мистерии и смог о своем служении сказать так, как он сказал в своем романе, заключается его великая заслуга перед Россией и заслуга, сохранившей его России — перед всем миром.

Федор Степун

РЕВОЛЮЦИЯ

Памяти старого революционера А. В. Тыркова

Было это, если не ошибаюсь, осенью 1912 года, ехал я на пароходе по Волхову. Крутые берега, то там, то здесь большие северные села. На правом берегу, верстах в двадцати от станции Волхово, раскинулось большое село «Вергежи», а рядом с ним на высоком берегу ровная, словно по нитке вытянувшаяся, старинная липовая аллея, примыкающая к большому белому дому с характерными александровскими колоннами. Очень красив вид этого дома с Волхова. Это — усадьба Тырковых «Вергежи». В этот день у пристаньки на берегу против дома было заметно какое-то движение: толпились люди, сходили по лестнице, кто-то с нашего парохода махал платком, вызывая лодку. На пароходе говорили, что умер старик Тырков.

Вскоре я уехал в Петербург. На ст. Волхово я сел в поезд, и в купе второго класса оказался против дамы лет сорока, с приятным лицом и умными грустными глазами. Это была Ариадна Владимировна Тыркова. Она только что приехала из Константинополя прямо на похороны отца. Много нашлось общих знакомых, вспоминали Первую Думу, кадетский комитет и т. д.

Уже зимой, на Рождество, вдруг неожиданно коротенькая записочка из Вергеж от А. В.: «Приезжайте к нам в Вергежи на елку, повеселимся вместе».

Полон дом народу. Софья Карловна Тыркова — мать, очень бодрая, всегда приветливая старушка, всё старшее поколение Тырковых, взрослые дети, племянники и Аркадий Владимирович Тырков. Признаюсь, мне как-то было не по себе в первые минуты: участник покушения на жизнь императора Александра II, революционер-террорист! Мягкое, приветливое лицо, несколько грустное, и даже улыбка грустная — ничего общего с человеком, способным бросить бомбу. Помню, мы очень веселились в этот вечер. Катались на санях с крутого

берега Волхова, играли в шарады в большом, немного запущенном Вергежском доме. Аркадий Владимирович принимал участие во всей нашей возне. Была морозная лунная ночь, искрился голубоватый снег — прекрасный конь легко нес санки с меховой полостью. Лишь поздно ночью вернулись мы домой.

У меня с Тырковыми установились самые дружеские, близкие отношения. Как-то сижу дома, входит денщик со своим обычным «так что». «Так что, ваше-родие, письмо из Вергеж»... «Приезжайте скорее, угостим Уэльсом» — стояло в письме. Через десять минут я уже сидел на моем вороном красавце Зуаве. Сильный, упругий, словно пружина, похрапывая, шел он крупной рысью по гладкой, укатанной дороге. Солнце садилось. Закат алел, синяя полоса леса четко рисовалась на горизонте, воздух был так тих, что слышно было поскрипывание седла.

В большой столовой за длинным столом сидели все вергежские. Среди них совершенно спокойно, как «свой», был и Уэльс — с умным, очень привлекательным лицом, большими ясными глазами. Он ни звука не говорил по-русски, не говорили и окружающие по-английски, кроме немного говорившей Ариадны Владимировны да англичанина Г. В. Вильямса. И несмотря на это Уэльс сидел, улыбался, как будто всё понимал и на всех приветливо и умно смотрел. Я попал как раз к обеду. Было весело и шумно — пили наливку, пил с нами и Уэльс. А затем запрягли несколько саней и поехали показывать английскому писателю «русскую деревню». В избе, в которую мы всей гурьбой вошли, уже укладывались. С печки свесились кудрявые, взлохмаченные детские головы, баба суетилась с хлебом и квасом, хозяин стоял, приглашая нас сесть. И тут Уэльс был так же прост и невозмутим, как будто всё это ему давно знакомо. В Англии он написал по этим впечатлениям два фельетона, помещенных у нас в газете «Речь». Он описывал свое путешествие в Россию, знакомство с русской жизнью и сравнивал английский народ с русским. «Английский народ и русский, — писал Уэльс, — схожи, как две перчатки, но и так же отличны, как перчатка с правой руки от перчатки с левой».

Потом я часто бывал в Вергежах. Иногда там собиралось много народу. Приезжал И. В. Жилкин, не раз бывал маленький, весь какой-то зябкий А. М. Ремизов в больших очках и пледе на плечах. Аркадий Владимирович почти безвыездно

жил в усадьбе и вел хозяйство. Трудно было встретить более мягкого, более застенчивого человека, чем он. Да и лицо его всегда светилось добротой. Он был всегда ровный, никогда не сердился и ко всем и всему относился как-то чисто философски.

Никогда не забуду одной ночи. Мне очень хотелось расспросить его про убийство Александра II и всё как-то было неудобно; казалось мне, что А. В. эти воспоминания были тягостны. И вот как-то раз я заночевал в Вергежах. В комнате А. В. наверху на диване устроили мне постель. Поднялись мы с ним наверх и легли. Не спалось — оба курили. Я не вытерпел и спросил: «А. В., скажите, неужели вы до сих пор думаете, что убийство Александра II было нужно, и как вы решились участвовать в этом?» — А. В. молчал. Я не видел его лица, но чувствовал, что он думает и весь ушел в свое прошлое.

— Почему я участвовал? Был девятнадцатилетним мальчишкой — вот почему. А правильно мы сделали или нет — не знаю до сих пор. Думаю, что если бы не было покушения, всё равно лучше от этого не стало бы.

— А вы где же стояли?

— Я был махальщиком, стоял на Садовой.

— Вас скоро арестовали?

— Нет, меня и многих других никто не знал по фамилии, не знали даже и «наши», знали лишь имена. Выдал Рысаков, который струсил. Он на допросе назвал меня по имени и сказал, что был такой студент. Жандармское управление потребовало списки всех студентов университета, и представьте, что оказалось на весь университет только два Аркадия — я и еще один. Нас арестовали. В этот день жандармский офицер обещал помилование Рысакову, если он укажет, который Аркадий участник заговора. Его подвели к окну, а нас повели по двору тюрьмы; Рысаков, увидя меня, кивнул головой — это и был знак для стоящего тут же за портьерой офицера. Рысакова, конечно, не помиловали, а меня вместе с другими судили в знаменитом процессе «двадцати».

Грянула война. Помню с какой трогательной сердечностью провожали меня в Вергежах. За два дня до выступления в поход я вечером приказал поседлать Зуава и отправился в Вергежи. Была чудная звездная августовская ночь. Мой Зуав шел крупной рысью, прядя ушами и косясь круглым

лучистым глазом на силуэты придорожных кустов. Мягко мерцали звезды, млечный путь опоясал горизонт. Огни вергежского дома, везде тихо. София Карловна, Аркадий Владимирович, его жена и больше никого. Все в Петербурге, все захвачены разворачивающимися событиями. Не помню о чем говорили, было немного грустно на душе. Думал ли я тогда, что я здесь в последний раз? А на другой день вечером, накануне выступления, которое назначено было с рассветом, вдруг входит Аркадий Владимирович.

— Когда уходите?

— Завтра утром, Аркадий Владимирович.

— Ну, дай вам Бог!

Он крепко меня обнял и по его доброму милому лицу покатились слезы.

Утром мы выступили в поход, в последний поход, которому не суждено было кончиться. Ни с семьей, ни с отцом проститься не удалось — все были в имении. Получил только телеграммы с благословением «на подвиг ратный». Поезда шли непрерывной лентой, переполненные мобилизованными. Мобилизация проходила блестяще, патриотический подъем был общий. Русский народ был всё тот же, что и во время Суворова или Кутузова — шли защищать свою страну! Чтобы в конец убить и этот патриотизм, и этот подъем, надо было иметь в этот исторический момент воистину бездарное правительство и до основания прогнивший режим. Уже в первый месяц войны нам объявили, чтобы мы берегли снаряды. В конце августа разразилась катастрофа под Сольдау... Только великая галицийская битва и взятие Львова подняли дух армии и населения.

Помню, во Львов приезжала Ариадна Владимировна с Г. В. Вильямсом. А. В. была полна революционного негодования, непрестанно возмущалась. Это было вскоре после кровавых и бесцельных боев у фольварка «Могеллы», который солдаты окрестили «фольварк Могилы», где погиб член Государственной Думы шт.-кап. Колюбакин, добровольцем пошедший на фронт. Здесь наши солдаты волнами атаковали в лоб немецкие пулеметы... Уложили почти целую дивизию доблестных войск прежде, чем наконец взяли ставший действительно «могилами» этот фольварк Могеллы. А когда взя-

ли, пришел приказ отходить и фольварк очистить. Так вело войну бездарное верховное командование!

Ариадна Владимировна негодовала: «Сухомлиновы, Распутины... чорт знает, что творится!.. Знаете, впечатление такое, вот словно большой, неуклюжий медведь борется со змеей... Змея ужалит, и в сторону, а медведь всё лапой, лапой и мимо. А змея опять подползет и ужалит, а медведь по воздуху лапой машет...». Ходили втроем по Львову. Вильямс, сдержанный англичанин, всё больше молчал. А. В. передавала петербургские новости. Рассказывала, как в Думе Милюков открыто говорил про гибельное влияние Распутина на царицу, про министерскую чехарду и бездарное правительство. Она была полна негодования и чувствовалось по всему, как ей хотелось показать свою близость к Павлу Николаевичу и подчеркнуть свою роль в кадетской партии. В те времена, начиная с 1905-6 г.г., особенно после неудачной войны с Японией, русская молодежь моего поколения была очень либерально настроена, а часто даже и революционно. Проникал этот дух либерализма и в нашу офицерскую среду, особенно в специальные войска. Очень увлекся и я «кадетскими» настроениями. Дружба с Тырковым, знакомство с Милюковым — всё это очень импонировало мне, и я даже как-то гордился своими «либеральными взглядами».

В апреле 1915 г. началось великое отступление. Артиллерия отходила с обозами без единого снаряда в ящиках, у пехоты не было патронов — отбивались от наседающего врага ручными гранатами да штыковыми атаками. Венгерские полки начисто вырезали целые селения украинцев (русин и гуцулов); случайно спасшиеся с кое-какими пожитками, скотом, собаками торопливо шли с нашими отступающими частями. Было что-то глубоко трагическое в этих растрепанных, измученных женщинах с детьми на руках, со скорбными глазами, в которых отражалось какое-то безысходное горе. Всю ночь Галиция пылала, как огромный костер багровым заревом — горели дрогобычские нефтяные источники. С неба хлопьями сыпалась сажа и гулким эхом разносились взрывы. Интендантство жгло склады продовольствия и фуража. Большое львовское шоссе, которое, извиваясь, словно гигантская змея, спускалось с Карпат, было забито отходящими артиллерией, обозами, транспортами. С боковых проселочных дорог вливались новые отступающие части. В воздухе был несмолкаемый грохот, ругань, длинные колонны сутками стояли, ожидая, пока головная часть пробьет себе дорогу и вольется в общий по-

ток... Вспоминалась невольно «Война и мир» Толстого. Так когда-то отступали русские армии к Бородину. Где-то в глубине души зрело возмущение — люди были мрачны, наша пехота несла огромные потери. Офицеры зло и с досадой, не стесняясь, говорили про измену, про немку-царицу, про Распутина. Так наростало то, что через два года разразилось катастрофой, именуемой революцией. Человеческие массы «раскачиваются» медленно и надо очень много для того, чтобы вызвать взрыв... Первые отдаленные раскаты приближающейся грозы раздались после Мукдена и Цусимы, но умирающий режим ничего не видел и ничего не понял. Инерция огромной народной массы велика, и ее еще хватило и на патриотический подъем в августе 1914 г. и на брусиловское наступление летом 1916 г., но это было уже почти начало конца.

Я приехал в Петербург в отпуск как раз когда там находилась союзная делегация во главе, если не ошибаюсь, с Думергом. Вопрос шел о снабжении наших армий снарядами и тяжелой артиллерией, которой у нас так и не было во всю войну. Делегация присутствовала на заседании Государственной Думы, когда выступал П. Н. Милюков с резкими выпадами против правительства, на что глава французской делегации, как говорили, сказал: «Il leur a craché dans le visage» (он им наплевал в лицо). Во всех гостиных Петрограда повторяли его же характеристику тогдашнего русского правительства «Ce n'est pas un gouvernement, c'est un désastre» (это не правительство, а катастрофа).

Квартира А. В. Тырковой-Вильямс стала своего рода политическим салоном. Мы жили близко друг от друга, и я почти каждый день бывал у А. В. Ее муж Гарольд Васильевич Вильямс был прелестный человек, большой руссофил, прекрасно говоривший по-русски. Вильямс был полиглот, что среди англичан, как известно, не так часто встречается. Помимо европейских языков он свободно говорил на многих других — на языке полинезийцев, на монгольском, татарском. Часто он изучал тот или другой язык в вагоне, во время путешествия. Так, например, отправившись по Волге, он принялся за татарский язык. И, подъезжая к Саратову, говорил: «Сара-тау» — желтая гора — и мог уже объясняться по-татарски.

Как-то прихожу вечером к А. В. Тырковой, застаю большое общество — А. И. Шингарев, А. И. Гучков, два англича-

нина — морские офицеры. За чайным столом у самовара Ариадна Владимировна, Шингарев, Вильямс, оба англичанина, напротив них я и Гучков. Разговор идет по-русски, Вильямс переводит иногда. Англичане сидят со спокойными невозмутимыми лицами. Разумеется всё вокруг войны, Думы, министерской чехарды, Распутина. Шингарев, волнуясь, с влажными глазами, горячо говорит: «Положение невозможное. Это напоминает какую-то игру в мяч. Мы бросили, а мяч в стену и обратно к нам. Мы его поймаем, снова бросаем, а он опять к нам в руки... И так без конца... Не может же это продолжаться вечно? Или «они» должны понять, наконец, и пойти на уступки, дать ответственное министерство, или...». Тут Ариадна Владимировна перебивает: «Мы с Иосифом Сергеевичем революции не боимся! — говорит она, глядя на меня, — вот он говорит, что на фронте тоже ждут не дождутся перемен!».

Стали меня спрашивать про настроения на фронте. Я старался как можно правдивее нарисовать картину фронтовых настроений. Меня часто перебивал Гучков. Он как-то более мрачно смотрел на положение вещей; по его словам, даже несмотря на удачное наступление Брусилова, всё равно революция неминуема.

Когда мы расходились, Вильямс, который стоял с англичанами, подозвал меня: «Приходите завтра к двенадцати, — сказал он, — пойдем в клуб англо-русского объединения завтракать».

Была тихая звездная ночь. Я вышел позже всех и пошел пешком. Петроград уже спал. Изредка проезжал извозчик да кое-где раздавались гулкие шаги запоздавшего прохожего. Я тогда еще ничего не знал, но какое-то внутреннее чувство мне подсказывало, что назревают какие-то большие события, что не зря в квартире А. В. собираются лидеры кадетской партии, приглашаются англичане, многозначительно молчит Вильямс.

На другой день мы с Вильямсом отправились в клуб. Когда мы пришли, большая столовая была уже полна народу. Сначала мне показалось, что были одни англичане, но затем я увидел нескольких русских. Вильямс сказал мне, что это какие-то важные чиновники из министерств. Поздоровался я с вчерашними моряками, которые чрезвычайно радушно пригласили меня к столу. Два длинных стола стояли вдоль противоположных стен, покрытые белоснежными скатертями. Столы

были уставлены массой холодной снеди — рябчики, ветчина, холодная рыба, в вазах икра и, конечно, обилие вин, водок, виски. Каждый, кто хотел, подходил к столу, брал тарелку, нож, вилку и ел стоя, с кем-нибудь разговаривая. Гарольд Васильевич, два моряка и я составили одну группу. Я с интересом наблюдал англичан в роли хозяев. Меня приятно поражала их необычайная простота и умение как-то так устроить, что гости чувствовали себя как дома. Всё было просто, свободно, не хотелось уходить.

Я уже был в школе прапорщиков ю.-з. фронта, где читал тактику артиллерии, когда было получено известие об убийстве Распутина. Сначала, как водится, поползли слухи, потом стали постепенно выясняться подробности. Несмотря на цензуру и на то, что газеты очень скупо писали об этом событии, каким-то образом очень скоро стали известны и все его участники. Восхищались вел. кн. Дмитрием Павловичем, кн. Юсуповым и Пуришкевичем, ожидали каких-то перемен к лучшему, совершенно открыто в собрании офицеров радовались, что больше нет «пьяного мужика». То же самое говорили и юнкера. Я послал А. В. телеграмму: «От души поздравляю».

В декабре я поехал в отпуск в Петербург. Я остановился в квартире Воейковых на Суворовском проспекте, где жила моя троюродная тетка и теща — мать моей первой жены. Нашего милого «дядюшки», как мы его все звали, проф. Воейкова в живых уже не было и я очень опечалился, что не застал этого чудеснейшего человека, настоящего ученого с прекрасной, чистой душой. Кроме жены, которая ждала ребенка, двухлетней дочери Наташи и няни, в квартире временно жил еще Владимир Павлович Носович, который как раз в это время вел следствие по делу Сухомлинова. Наша квартира тоже была своего рода политическим ульем. В. П. Носович был в курсе всех событий. Его сестра была замужем за Протопоповым, нашим симбирским помещиком, которого мы хорошо знали и на балах которого в Петрограде, еще до войны, мы все бывали. Балы устраивались для двух его дочерей — Наташи и Гули (Ольги) и всегда отличались многолюдством и широким гостеприимством. Никому в голову не приходило, конечно, что этот, в общем довольно пустой и легкомысленный человек, у которого и имение и суконная фабрика находились под опекой, к тому же болезненный (у него

на почве сифилиса развивалась сухотка спинного мозга, он постоянно ездил лечиться в Париж и был вечным пациентом д-ра Бадмаева) — чтобы этот человек когда-нибудь мог стать министром внутренних дел.

Обычно, когда собиралась наша многочисленная семья, Носович приходил к обеду в состоянии большого волнения: «Сухомлинов! Он, конечно, не изменник, не предатель, всё это сущий вздор, но он исключительно легкомысленный человек, бабник, его окружает чорт знает кто, и не исключена возможность, что через его молодую жену действовали темные силы! Во всяком случае армия не была обеспечена ни патронами, ни снарядами, и он, военный министр, не мог этого не знать, а между тем царю докладывал, что войска полностью обеспечены боевыми припасами. Уже это одно — преступление! Но вопрос теперь даже не в этом, а в том, что всё уже идет к тому, чтобы дело замять. Приказано перевести его из крепости на квартиру. Не знаю, что они там думают? Вряд ли это может успокоить общественное мнение? А Протопопов занят тем, что всё время наряжается в жандармский мундир».

Все по очереди «висели на телефоне». Звонили знакомым, обменивались новостями. В воздухе чувствовалась тревога, никто уже не боялся вслух ругать правительство, открыто говорили про ненормальность царицы, которая не отходит от могилы Распутина, про странную резолюцию царя на докладе об его убийстве: «Никому не дано права убивать».

Вечером звонок по телефону Ариадны Владимировны: «Приходите скорее, будут интересные люди». Вхожу в гостиную — А. В., Вильямс, Шингарев, Гучков, знакомые англичане, ждут Милюкова. Я подхожу, здороваюсь. Вильямс, указывая на Гучкова, говорит: «Вот ваш военный министр!». Я немного ошеломлен и не сразу понимаю, в чем дело. Шингарев рассказывает про последние думские новости. Говорит, что так дальше продолжаться не может, возмущается новым назначением Штюрмера министром иностранных дел. В десятом часу идем к чайному столу. Милюкова всё еще нет. Шингарев говорит, что он на каком-то важном собрании.

Половина двенадцатого. Наконец звонок. Приехал Павел Николаевич. Он во фраке, смотрит прищурившись на собрав-

шихся, здоровается, начинает говорить о том, какое создалось невыносимое положение. «Если не будет ответственного министерства, — говорит он, — война будет проиграна, это не подлежит сомнению». Я сижу, слушаю и никак не могу понять, как же всё-таки всё это произойдет. Почему вдруг Гучков станет военным министром? И откуда это знает Вильямс? Милюков между тем рассказывает, как на него было произведено покушение. Около часу уходят англичане, потом Милюков, Шингарев, Гучков и я. Идем по Бассейной улице. Город спит. Молчаливо высятся дома с темными окнами, кое-где сидят в тулупах у ворот дворники. Вверху, в темном морозном небе мерцают звезды. Думал ли я тогда, что скоро этого Петербурга больше уже не будет?

Мы проводили П. Н. до его квартиры. У дверей остановились, он нам показал место, где на него хотели напасть.

Пошли до Суворовского, где жил я, втроем.

— Вот Павлу Николаевичу надо быть министром... — нерешительно сказал я.

— Вероятно и будет, — несколько резко ответил Гучков.

Проведя рождественскую неделю дома, я уехал к себе в школу во Врангелевку, под Житомиром. Быстро промелькнул январь. В конце февраля начальник школы полковник Полонский пригласил меня в театр к себе в ложу. В Житомире был небольшой, но довольно славный театр, в котором постоянно играла драматическая труппа, а иногда давали концерты приезжие артисты. Если не ошибаюсь, шла пьеса Сургучева «Осенние скрипки». В ложе были полк. Полонский с женой, наш адъютант, заведующий хозяйством с женой и я. В губернаторской ложе сидел губернатор. В антракте между вторым и третьим действием наш адъютант входит в ложу и говорит: «А губернатор-то спешно поехал домой, говорят получена срочная телеграмма о том, что в Петербурге какие-то беспорядки». Через несколько минут уже весь театр говорил о волнениях в столице. И как словно по воздуху передаются иной раз события! По дороге домой гадали, что могло произойти, а на другой день телеграф принес первые известия о том, что Государственная Дума постановила не расходиться и образовался комитет из членов Думы под председательством Родзянко. Далее события начали разворачиваться с голово-

кружительной быстротой. Известие об отречении царя в некоторой части офицерства вызвало растерянность. Однако, не долгую; огромное большинство скорее радовалось, что будет какая-то перемена, очень надеялись на регентство Михаила. Продолжалось это, как известно, недолго. Пришло известие об образовании временного правительства. Когда я прочел состав министров, мне вдруг стало ясно: ведь Вильямс, А. В. Тыркова, англичане, очевидно, знали о готовящихся событиях!

Что касается Ариадны Владимировны, то она, видимо, была очень довольна надвигающимися событиями, и ей чрезвычайно импонировала близость к лидерам кадетской партии, встречи с Милюковым, Шингаревым, Маклаковым и Гучковым. Вильямс же, очевидно, был связующим звеном с английским правительством. Каковы были настроения, можно судить хотя бы по тому, что В. П. Носович, которому я, разумеется, передавал во всех малейших подробностях про встречи и разговоры в квартире А. В., постоянно заканчивал мои сообщения сакраментальной фразой: «Одним словом, пора менять правительство!». И ведь это говорил обер-прокурор уголовного департамента Сената.

События развивались с молниеносной быстротой.

Последний раз я съездил в Петроград в конце августа.

У кадет тогда шли совещания и собрания. Помню, на одном собрании, которое происходило на Невском проспекте, в здании где-то не доходя до Литейного, председательствовал В. Д. Набоков. Набоков же делал доклад «О дисциплине». По окончании доклада Шингарев, увидев меня, просил рассказать о положении на фронте. Зал был полон. Было много офицеров, солидных каких-то людей в штатском, молодых девушек, повидимому, курсисток. Я подошел к кафедре и на минуту смутился. Вправо от меня сидел президиум — Набоков, Шингарев, Д. Протопопов (кадет), не помню кто еще. Овладев собой, я начал с того, что нарисовал картину ареста генералов и их пребывание под арестом в казармах на Лысой горе в Бердичеве, где над ними издеваются, плюют на них, когда их выводят в уборную и т. д. Я сказал, что всё это продолжаться не может, и правительство, которое допускает это не может пользоваться ни доверием, ни популярностью. Тут я

был остановлен звонком председателя В. Д. Набокова, который вежливо сказал мне: «Прошу вас не критиковать действий правительства».

Да, сорок лет прошло с того времени! Как часто я потом, в огне гражданской войны, среди убийств, грабежа и безумия, вспоминал и это собрание и мягкого, элегантного, воспитанного европейца В. Д. Набокова: «прошу вас не критиковать действий правительства».

Почти каждый день бывал я тогда у Ариадны Владимировны. Гарольд Васильевич целыми днями пропадал на митингах. Приходил и уверял, что большевики всё больше и больше теряют симпатии толпы, что даже на больших заводах рабочие не хотят больше их слушать. Гораздо бо́льшим успехом, по его мнению, пользовались эсэры.

За день до отъезда я пошел в кадетский комитет проститься. В небольшой комнате, заваленной пачками брошюр, воззваний, листовок, за простым столом сидел А. И. Шингарев, кажется Д. Протопопов и какой-то молодой полковник, военный юрист. Шингарев имел совершенно измученный вид. На его бледном усталом осунувшемся лице лихорадочно светились добрые умные глаза. «Уезжаете? — сказал он, пожимая мне руку. — Мы хотим вас просить взять на себя обязанности агитатора за наш список в Учредительное Собрание на Юго-западном фронте. Мы снабдим вас литературой, которую вы будете развозить по фронту, дадим список кандидатов для сбора подписей... Пожалуйста соглашайтесь, нам очень нужны верные люди именно на фронте».

Я заколебался. Очень всё было неожиданно. «Андрей Иванович, а вы уверены, что из этого будет какой-нибудь толк? Я не боюсь нисколько, но я что-то мало верю в это дело. Я знаю настроение солдат и очень сомневаюсь в успехе».

— Мы сами, голубчик, сомневаемся, но надо испробовать все возможности, нельзя же вот так сдаваться без борьбы... Ну, согласны?

— Согласен.

— Ну и отлично, вот познакомьтесь — полковник Ко́лосов, он всё вам подробно объяснит, снабдит всем необходимым... и с Богом. — Андрей Иванович меня крепко обнял, поцеловал, в его глазах стояли слезы. Неисповедимы пути Господни! Вышло так, что в последний раз тогда я видел этого чудеснейшего русского интеллигента.

Колосов оказался очень милым культурным человеком. Он снабдил меня литературой в виде брошюр, листовок, воззваний, что составило три или четыре пакета, около полутора пуда весом, деньгами за месяц вперед и затем долго и подробно говорил, в какие штабы надо ехать, как вести пропаганду и как разъяснять, особенно нижним чинам, программу партии. — «Я, возможно, и сам к вам приеду, чтобы ознакомиться с положением. Нам сообщайте о ходе вашей работы, если удастся письменно. Сейчас будет переписан наш список кандидатов в члены Учредительного Собрания, и вы под ним должны будете собирать подписи...».

Вскоре Колосов вручил мне список, в котором стояли фамилии всех кадетских лидеров. Насколько помню, первым шел П. Н. Милюков, потом В. Д. Набоков, затем Кизеветтер, Кокошкин, Шингарев, полк. Колосов. Кажется семнадцатой стояла моя фамилия. Меня это очень удивило...

— Не смущайтесь, — просто и откровенно сказал Колосов, — можете быть уверены, что будет очень хорошо, если попадут первые двое-трое, у остальных вообще никакой надежды нет. Список этот просто форма — вот и всё, для того, чтобы видели наших кандидатов. — На этом мы простились.

Утром я выехал к себе в Житомир. Я не знал тогда, что с градом Петра, где протекла вся юность и зрелые годы, я расстаюсь навсегда. У Ариадны Владимировны накануне отъезда завтракал. Все они тепло со мною простились, напутствовали всякими пожеланиями в моей новой деятельности. Странным образом никто не отдавал себе отчета в том, что происходит, и никто из нас не предчувствовал, что видимся мы в последний раз. Из вергежских я так потом никого и не видел.

В школе оставались только начальник школы полк. Духонин (брат верховного главнокомандующего) и офицеры. Юнкера были произведены и все разъехались. Чуть ли не ежедневно в нашем офицерском собрании по вечерам собирались офицеры и бесплодно обсуждали вопрос, что делать дальше. Одни предлагали ехать в Киев, другие находили, что необходимо отправляться на юг к Каледину. Собрания обычно происходили под моим председательством. В конце концов выбрали делегацию из трех офицеров во главе со мной к ген. Духонину в Могилев просить, чтобы он дал возможность всем желаю-

щим офицерам школы переехать на юг. Об этом трагическом свидании с ген. Духониным я уже писал в 1922 году, т. е. 37 лет назад, в газете «Русский Голос». При случае расскажу еще раз; теперь же коснусь своего путешествия по фронту. Я начал со ставки юго-западного фронта, потом стал объезжать штаб армий, корпусов и дивизий. На юге стояла золотая осень. После сырой, дождливой, туманной погоды Петрограда было приятно подышать свежим осенним воздухом. Езда на тачанках, подводах, грузовиках, крестьянских телегах, золото садов и рощ, новые лица, новые впечатления успокоительно действовали на душу и вселяли надежду. Однако, этим надеждам не суждено было долго жить. Обычно я останавливался на один-два дня в каком-нибудь местечке, где стоял тот или другой штаб и, представившись начальству, докладывал о своей миссии. Меня приглашали в собрание, где я после обеда или ужина объяснял в чем дело, показывал список и просил высказаться. Огромное большинство офицерства относилось к к.д. партии отрицательно. Более или менее охотно давали свои подписи только старшие офицеры. За столом обычно происходили споры. Я старался доказать, что кадетская программа наиболее умеренная и что будет печально, если всё Учредительное Собрание будет эсэровским. Возврата к старому быть не может и поэтому надо как-то по-новому строить жизнь. Мне на это очень едко, и, я чувствовал, даже с оттенком презрения говорили: «Ничего всё равно не выйдет ни из ваших кадет, ни из эсэров, ни из Учредительного Собрания! Разнесут всё к чертям! Вот вы бы послушали, что солдаты на позициях говорят. Боже вас упаси туда соваться. Заговорите о кадетах — убьют!»

В общем я едва собрал несколько сот подписей. «Литературы» вообще никто совсем не брал и, как я заметил, главным образом из боязни. Так мне и пришлось зря протаскать с собой большой пакет, фунтов в двадцать весом. Когда я приехал, меня ожидал полк. Колосов, который хотел ехать дальше, в Киев, чтобы связаться с тамошним кадетским комитетом. Я ему подробно всё изложил, сдал список и рассказал про свои встречи. Он не удивился: «Что же, мы ничего другого и не ожидали, положение с каждым днем становится всё хуже, но пока есть возможность — будем хоть среди благонадежного элемента что-то делать». На другой день я Колосова проводил. Больше я никогда его не видел.

Будучи уже за границей, случайно в 1921 г. в «Times» я увидел фамилию Г. Вильямса. Я написал ему письмо, спрашивая про Ариадну Владимировну. Вскоре пришел ответ. Оказалось, что А. В. и мать ее в Лондоне. Мы списались. Я спрашивал их про Вергежи и Аркадия Владимировича. В ответ получил длинное письмо от Софьи Карловны. Вот что она писала про Аркадия Владимировича: «Аркадий скончался 5-го марта, проболев почти два года. Жил он всё время в Вергежах, занятий никаких — больше лежал и перечитывал всё, что было в библиотеке, скучал сильно. Условия жизни для него были очень тяжелы, хоть его и оставили жить в комнатах, но всё остальное — и дом, и земли перешли в советское хозяйство. Заведующие этим хозяйством постоянно менялись, и каждый изводил его по-своему — изводил и оскорблял! Сам он в отношении к людям вообще был деликатен и незлобив и на все выходки смотрел точно со стороны, как наблюдатель: «на что люди еще способны?». Он вообще относился философски к жизни, но на его долю выпало слишком много тяжких переживаний. В молодости сидел по тюрьмам, а под старость — опять гонения. Не мудрено, что в конце концов сердце не выдержало!».

Так умер один из милейших людей, которых когда-либо довелось мне встречать. В ту ночь нашего разговора он не знал «до сих пор», правильно ли он сделал в 1881 году — может быть сама жизнь ему исчерпывающе ответила.

И. С. Ильин

ВОКРУГ В. А. МАКЛАКОВА

(Личные воспоминания)

1

Не мне говорить о громадной потере для русских людей, особенно для эмиграции, которую принесла кончина В. А. Маклакова. Я сказал **особенно для эмиграции** и сразу же встала передо мной ужасная правда нашего времени: умер большой русский человек, деяния и писания которого принадлежат России и имя которого покрывает своим блеском ее общественную и политическую культуру, а об этом человеке вряд ли появилось в Советской России что-либо кроме краткой газетной заметки, в которой было сказано, что скончался видный эмигрант, бывший член трех дум, бывший адвокат и автор нескольких книг. И это в лучшем случае. В худшем (и более правдоподобном) к этому были прибавлены эпитеты: «предатель, изменник, враг родины и народа». Есть что-то трагически-парадоксальное в том, что, как ни значительна была деятельность В. А. Маклакова в России, закончившаяся в 1917 г., когда он в качестве русского посла в Париже покинул родину, как потом оказалось, навсегда, — В. А. Маклаков особенно вырос, ставши замечательной и незаменимой фигурой именно в эмиграции: в Европу В. А. Маклаков явился в расцвете своих жизненных сил, таланта и приобретенного опыта, и в Европе появились все его книги и самые ценные, политические и литературные, статьи.

Повторяю, не мне об этом судить — это дело его соотечественников. Моя задача более скромная: я просто хочу поделиться с русским читателем личными воспоминаниями, которыми я обязан судьбе, связавшей семью моего покойного отца А. Р. Ледницкого с В. А. и с его, тоже недавно скончавшейся сестрой М. А. Маклаковой. Но перед тем как начать мой рассказ, мне хочется сделать одно вводное замечание общего характера. С самой моей юности, когда я стал более сознательно присматриваться к В. А., и до конца его жизни,

основным чувством, которое я испытывал по отношению к нему, было чувство восхищения. Я восхищался его русской, слегка картавой, речью, его манерой держать себя, его свободными, быстрыми и однако же мягкими движениями, его черными глазами с их блеском и внимательным, испытывающим и вместе с тем всегда дружественным взглядом (В. А., слушая, точно ждал приятных, интересных сообщений, а когда говорил сам, постоянно следил за собеседником, как бы ожидая его согласия, ничуть, однако, не навязывая ему своих суждений и оценок). Нравились мне его усы, прикрывавшие слегка его губы, что придавало какой-то особый ласковый оттенок его улыбке — а улыбка вообще часто виднелась на его лице, светилась она особенно в этих его черных внимательных глазах. Восхищался я с юности его исключительным ораторским талантом — мне пришлось слышать его раз в Москве и раз в Праге и, конечно, впоследствии читать его речи. Но более всего меня всегда волновал его ум — мощный, ясный, трезвый и чрезвычайно точный. Мне почему-то всегда казалось, что именно таким умом одарен был Пушкин и обычно, когда я думал о В. А. или слушал его, я был во власти этой ассоциации: я чувствовал, что из всех русских людей, которых я знал в литературе и жизни, В. А. Маклаков был ближе всего к уму Пушкина, тому уму, которым так восхищался Мицкевич, — хотя В. А. поэтом не был, хотя в своих литературных выступлениях он реже говорил или писал о Пушкине, чем например, о Толстом, которого он так хорошо и близко знал. От последнего — думаю, по причине частого личного и литературного общения — он унаследовал стиль своего письма: когда я читаю В. А., у меня невольно, несмотря на гармоничную плавность его речи, встает в памяти толстовская фраза с ее логикой и точностью выражения, простотой, лишенной всяких украшений, и с ее крепостью построения. Но ум, культурная позиция В. А., сочетающая русскость в ее исторических и бытовых проявлениях с традицией западной мысли и цивилизации, суд о России, заключающий в себе и любовь, и критику — всё это было в нем какое-то пушкинское.

Я помню, что когда умер Толстой, у многих людей, не только русских, возникло щемящее ощущение какой-то ужасной пустоты; умер человек, которого можно было считать совестью нашего времени. Его присутствие в жизни давало какое-то чувство нравственного покоя: жил потенциальный защитник слабых и угнетенных. Думается, что когда умер Пуш-

кин, многие русские должны были почувствовать, что умерла не совесть русская — умер самый точный и созидательный русский ум.

И вот у меня теперь такое же точно чувство: умер самый умный русский человек нашего времени и хотя я сам и не русский, я ощущаю пустоту, которую создала эта кончина.

**
*

В. А. подробно рассказал о своих дружеских отношениях и жизненных встречах с моим покойным отцом А. Р. Ледницким в своей замечательной по красоте формы и содержания статье, посвященной моему отцу и его дружбе с Ф. И. Родичевым. Эта статья была написана вскоре после смерти моего отца и предназначалась для двухтомного сборника, посвященного его памяти, который решили издать его польские друзья и поклонники. Этот сборник должен был заключать, кроме обширной биографии, которую писал известный польский историк В. Дзвонковский, фрагменты воспоминаний моего отца, некоторые его речи, лекции и статьи; в сборнике должны были также появиться статьи о нем, написанные его польскими, русскими, украинскими, литовскими, французскими, австрийскими и бельгийскими друзьями, а также мои воспоминания о нем. Инициаторы сборника попросили меня собрать статьи друзей отца и я быстро взялся за это дело. Из русских без всякого замедления написали и прислали мне свои воспоминания П. Н. Милюков, кн. Петр Дмитриевич Долгоруков, Н. В. Тесленко, И. В. Гессен, Н. А. Цуриков и др. Прислал мне свою статью и В. А. Маклаков. Желая познакомить польского читателя с некоторыми из этих статей до выхода сборника, я, с согласия авторов, напечатал в польском переводе большой очерк П. Н. Милюкова (в ежемесячном журнале *Przegląd Współczesny*) и статью В. А. Маклакова (в еженедельнике *Wiadomości Literackie*). Все материалы для сборника погибли во время войны, как и весь личный и политический архив моего отца и мой личный научный архив. Сохранились из подготовленного к печати сборника только статьи П. Н. Милюкова и В. А. Маклакова в польских переводах. Но каким-то чудом среди немногих вывезенных мною бумаг уцелел и оригинальный текст статьи В. А. Маклакова. С его разрешения он был лет десять тому назад напечатан в «Новом

Журнале» в Нью Йорке*. В этой статье В. А. подробно и увлекательно рассказал о своих отношениях с моим отцом, взяв дружбу моего отца с Ф. И. Родичевым как отправную точку. Более кратко он упоминает о своих встречах с моим отцом и в своей книге «Из воспоминаний». Окончив юридический факультет, В. А. Маклаков, по совету своего почтенного друга, мирового судьи Любенкова, записался в помощники присяжного поверенного у моего отца. Отец мой был всего на три года старше В. А., но юридической практикой стал заниматься значительно раньше, так как В. А. потратил несколько лет на занятия на естественном и историко-филологическом факультетах прежде чем решил стать юристом. Записавшись в помощники к моему отцу, он, однако, работал с Плевако, который, по старой дружбе с отцом В. А., его на это уговорил. Несмотря на это обстоятельство В. А. часто в своей молодости бывал у нас, так же как и его сестра Мария Алексеевна. Последнюю я помню хорошо только уже с парижских времен: о ней, как о гостье нашего московского дома, у меня сохранилось только смутное воспоминание. В. А., наоборот, я отлично помню, начиная с того времени, когда мы с Собачьей Площадки из дома Романовского, в котором после нас поселился Д. Н. Шипов, переселились в дом, который в 1898 или 1899 году купил у кн. Оболенских (родителей жен С. Н. и Е. Н. Трубецких) мой отец — в Криво-Никольском переулке, соединявшем под прямым углом через Серебряный переулок Арбат с Молчановкой.

В. А., как я сказал, часто бывал у нас и отношения между моими родителями и В. А. были простые, интимные. Будучи тогда ребенком, я естественно мог видеть и запомнить только случайные и поверхностные события, — то, о чем В. А. разговаривал с моей матерью и с моим отцом, прошло мимо меня, тем более, что нас воспитывали по старинному, держали в детской с гувернантками и выводили к гостям только в исключительных случаях. Но посещения В. А. не носили такого официального характера; он всё-таки бывал в качестве помощника-друга и приезжал к моим родителям запросто. И вот помню один маленький эпизод — «тривиальный», как говорят англосаксонцы, а по-русски — обыденный; деталь, можно сказать, бытового характера.

---

* См. кн. 16-ую «Нового Журнала» (1947) *РЕД.*

Я как-то услышал о том, что В. А. собирается ехать в Париж. Важным «событием», однако, оказалось не это. Мать моя, всегда знавшая и помнившая все вкусы и привычки наших друзей, как-то, разговаривая в моем присутствии со своей двоюродной сестрой, вдруг сказала: «А знаешь ли, между прочим, что Вася Маклаков едет в Париж? Он должен вот-вот приехать проститься». Мы сидели в столовой, окна которой, как и окна залы, выходили на улицу. «Интересно, — продолжала мать, — что будет с его шапочкой, придется ему с ней расстаться и надеть котелок, не будет же он разгуливать в ней по улицам Парижа!». Дело было в том, что В. А., одевавшийся всегда (и до конца жизни) просто, без всяких претензий на элегантность или на особый лад, в одном, однако, придерживался определенного стиля — стиля русского. К этому стилю принадлежала вот эта самая пресловутая шапочка. Это была круглая, довольно высокая, без козырька, шапка с двойным околышком, которую В. А. обычно быстро, ноншалантно, кое-как сажал себе почти на затылок. Эта шапка была всегда на нем, и летом и зимой. Вместе с черной бородкой, которую он тогда носил, она придавала ему какой-то особенно русский вид — он напоминал своей наружностью русских людей XVI или XVII века. Во время этого разговора как раз подкатила к дому извозчичья пролетка, в которой сидел В. А. — я подбежал к окну и воскликнул: «Всё в шапке!». Мать, конечно, не спрашивала его, что станет с шапкой в Париже. Повидимому, В. А. пришлось на время заменить ее котелком. Но он сразу же восстановил ее в правах, когда вернулся из Парижа в Москву. После 1917 года В. А. носил в Париже французский берет — он заменял ему его любимую русскую шапочку.

Другое мое детское воспоминание о В. А. Маклакове связано с его посещением нашей смоленской деревни Борок. После польского восстания 1863 года издан был указ, воспрещавший полякам приобретать имения в так называемом «Западном Крае». Семья моего отца, так же как и семья моей матери, своим происхождением были связаны с Литвой и Белоруссией, т. е. именно с этим самым Западным Краем. Обе семьи пострадали от восстания. Бывать мы могли в Могилевской, Минской, Витебской и Виленской губерниях, только у своих родственников, которых усадьбы и имения уцелели и сохранились в польских руках. Всё польское дворянство, особенно дворянство этих **восточных** окраин исторической Польши, было всегда страстно привязано к земле и стремилось

к восстановлению своего сельского хозяйства и жизни в деревне. Как только отец мой получил материальную возможность приобрести земельную собственность, он купил имение Борок Смоленского уезда, в 18-ти верстах от Смоленска на запад, над Днепром, на правом его берегу. Это был самый близкий доступ к родине, к местам, с которыми связывала нас семейная и национальная традиция. Борок было небольшое (600 десятин) имение, но прекрасно расположенное. Кроме того с течением времени отец мой его не только замечательно украсил, перестроив дом и разбив живописные сады и парк, но и поднял всё хозяйство на очень высокий уровень. Борок — историческое и трагическое место. Борок — это Катынь, т. е. место расстрела польских пленных офицеров большевиками во время последней войны (Борок — название нашего имения, Катынь — название волости, двух приходов, одного на левом берегу Днепра, другого на правом, и железнодорожной станции Брестской ж. д., расположенной напротив ворот нашего парка и окруженной нашим лесом, т. наз. Катынским лесом, на восточном крыле которого, соприкасавшемся с владениями наших соседей, тоже поляков — Козлинских, и произошло массовое убийство польских офицеров).

В Борке я провел двадцать лет своей жизни, т. е. двадцать летних каникул, иногда и рождественских и пасхальных — и с ним связаны мои наилучшие воспоминания. Мы окружены там были главным образом русскими помещиками — часто давнего польского происхождения, как напр., Рачинские, Вонлярлярские — людьми прекрасными, с которыми моих родителей связывали наилучшие отношения. В это имение и приехал к нам как-то В. А. И тут опять запомнился мне маленький эпизод, о котором я рассказал В. А. в одно из моих последних свиданий с ним в 1957 году. Он этой подробности не помнил, хотя отлично сохранил в своей памяти борковский визит — так же, как и приезды моего отца к нему в его московскую деревню.

Но и на этот раз мое воспоминание — детское. Что В. А. у нас вообще делал, о чем говорил с моими родителями, я опять-таки не знал и потому не могу помнить. Но я помню, что́ он делал с нами, детьми. Это было время, когда отец уже начал преобразовывать рощи и лески около нашей усадьбы в парк, устраивать крокетные площадки и теннисный корт, разбивать искусственные пруды, газоны, сажать всякие ценные деревья, нарядные кусты и т. п. Мы, дети, занимались тогда

главным образом верховой ездой, крокетом, купаньем в Днепре, греблей. В. А. как-то присоединился к нам, когда мы играли в крокет, и предложил прогуляться по парку. Вдруг, заметив большой муравейник, он заявил, что его непременно следует уничтожить и что он научит нас, как это делать. Я сейчас не помню подробно тех методов, которые мы применяли для уничтожения этого большого муравейника — мы его в центре раскопали, а затем каким-то образом его жгли. Эта жестокая борьба с муравьями была, очевидно, связана с какими-то тогдашними научными теориями, о которых В. А. вероятно знал, как бывший естественник. Как к этой проблеме относятся нынешние естественники, я не имею ни малейшего понятия, но помню, что тогда мне было жаль муравьев и их муравейника: в «Детском Чтении» я как раз в то время читал живо написанные рассказы об изумительной работоспособности и коллективном творчестве муравьев. В. А. уехал, а наш муравейник всё еще дымился, и этот дым остался в моей памяти, связавшись в ней с воспоминаниями о высоком, жизнерадостном В. А. Маклакове с черной бородкой, тогда, в теплый летний день, гулявшем с нами без своей шапочки.

Прошли года. Я был в последних классах гимназии. Я уже много знал о земских съездах, о кадетской партии, о Первой Думе, членом которой был мой отец, о Совете Присяжных Поверенных, в который его постоянно, с начала девятисотых годов, выбирали, несмотря на его большую практику, что тогда было редкостью. Я знал, — об этом часто говорили среди знакомых и помощников моего отца — что В. А. Маклаков стоит, поскольку дело касалось кадетов и Совета Присяжных Поверенных, как-то немного в стороне. Что среди кадетов он пользовался репутацией правого, не принимавшего ортодоксальной линии партии, что в адвокатской среде о нем говорили как о замечательном ораторе, но ораторе, который пишет весь текст своих речей, что он особенно силен в первом натиске, но слабее в полемике, в которой приходится отвечать экспромтом, что в гражданском праве он не силен, что по каким-то причинам его никогда не выбирают в Совет Присяжных Поверенных. В земских съездах В. А. особенной роли не играл. В Первую Думу не попал. Его речь в выборгском процессе, о которой он сам пишет как о большом своем успехе, — не произвела особенно сильного и положительного впечатления в среде перводумцев: ее сочли умной и остроумной, ловкой и любопытной, но люди, которые всё-таки считали себя в некотором смысле героями и пафос воззвания

видели прежде всего именно в этой своей решительной реакции на то ,что они считали нарушением прав первого русского парламента, — говорили о речи В. А. Маклакова без особого энтузиазма. Кстати скажу, что мой отец был противником воззвания и подписал его, как это потом вспоминал П. Н. Милюков в своей уже упомянутой статье, неохотно, только из чувства солидарности со своими коллегами по партии. В моем отце, как в кровном юристе, никогда не было ни увлечения, ни искреннего доверия к актам революционного свойства. Он для польского дела воспользовался достижениями русской революции 1917 г., но эта революция, сама по себе, его смутила, испугала, скажу даже больше — некоторые ее проявления вызвали в нем отвращение. Мне придется вернуться к этому, сейчас я это подчеркнул, чтобы выяснить то обстоятельство, что критика В. А. не исходила из нашего дома, я просто помню, что тогда говорилось — отзвуки этого, конечно, попадали и в наш дом.

Роспуск Первой Думы и затем выборгский процесс определили политическую судьбу перводумцев — это время было периодом их заката. Исключением в этой отборной группе кадетов был Родичев, который во время роспуска Думы был заграницей и поэтому выборгского воззвания не подписал, и Милюков, который не был членом Первой Думы, но продолжал в последующих Думах свою деятельность признанного лидера кадетской партии. Все подписавшие воззвание не только попали в тюрьму, но и потеряли активные и пассивные политические права. В результате этого им пришлось покинуть арену официальной политической деятельности, уйти если не в подполье, то, так сказать, в себя, в свои профессиональные занятия. А это самое время стало как раз временем особого расцвета политической и адвокатской деятельности В. А. Маклакова. Но и в той, и в другой сфере положение В. А. было особое. В. А. очень быстро выдвинулся как блестящий оратор — популярность его в эти годы (1908-1917) достигла огромных размеров, он был в России известен тогда каждому, известен как один из самых талантливых ораторов своего времени. Именно это было основной причиной популярности В. А. в широких кругах русской общественности, но именно это самое определяло его роль в кадетской партии и в адвокатско-судебной среде. В. А. был как бы несколько в стороне от этой последней. Товарищи его по профессии с ним не только считались — им восторгались, многие естественно завидовали его успехам, все знали о его постоянно растущем таланте

красноречия. И ораторский талант стал его основным признаком в этой профессиональной среде: прежде всего оратор, а не юрист, уголовный и политический защитник, а не знаток права, особенно гражданского. Сам В. А. в своих воспоминаниях подчеркивает факт, что он не был цивилистом. В судейской и адвокатской среде, конечно, признавали престиж криминалистов, которые естественно пользовались в стране большей известностью, чем цивилисты, но юридический авторитет был за последними — их рассматривали как творческих сотрудников суда, особенно судебной палаты и Сената, они были своего рода научными деятелями в области права, их интерпретации закона входили в состав уложений. В. А. занял виднейшую позицию в судебной жизни России, но эта позиция была особой. Возможно, что в этом сказалось и то обстоятельство, что В. А. после естественного и историко-филологического факультета в один год прошел курс юридического факультета; его товарищи по профессии не могли не ценить в нем всесторонне образованного человека, который знал хорошо не только русскую историю, но и западную, знал классическую филологию, французскую литературу — но типичного адвоката-юриста они в нем всё-таки не видели. В. А. был чем-то другим; он был своего рода гастролером в громких уголовных и политических процессах, и люди ходили его слушать, как ходили слушать Шаляпина или Собинова; слушать замечательного оратора и очень умного, культурного образованного человека, который пленял их однако не только блеском слова и своей всесторонней эрудицией, но и особым национальным шармом, своей кровной русскостью. Да, адвокат-гастролер, который собственно мог бы выступать как защитник или обвинитель и не будучи профессиональным юристом. В. А. вероятно имел помощников, но такого учреждения, как «канцелярия Маклакова», на подобие, скажем, канцелярии Шубинского, Кистяковского, Ледницкого, а в более ранние времена — Спасовича или Пассовера, не было, о «канцелярии Маклакова» не говорили. Так было, вероятно, потому, что школы, как адвокат, В. А. не создал, не мог, да вероятно и не желал создавать. Выступал он сам, преимущественно ведя большие дела — и даже не **ведя,** а выступая в них, будучи спорадически приглашаем для отдельных выступлений. Так бывало со многими другими известными адвокатами — но они не только **так** осуществляли свою деятельность. Научиться у В. А. юридической практике было поэтому вероятно трудно, а на-

учиться его красноречию невозможно — передать другим тайны своего таланта В. А. не мог.

В известной мере то же самое можно сказать о В. А. политике, о В. А. кадете. Ортодоксальным кадетом В. А. никогда не был и его разногласия с партией были известны еще в России, где его считали «правым» кадетом, близким к октябристам. Он сам очень подробно рассказал об этих разногласиях в своих книгах, напечатанных уже в эмиграции. В этих книгах В. А. ведет последовательную ретроспективную борьбу не только с главным своим оппонентом в партии П. Н. Милюковым, но и вообще с кадетской партией. В. А. стал, если попробовать заключить эти сложные отношения его с кадетской партией до большевистского переворота в краткую формулу, адвокатом-гастролером в партии, которая, в свою очередь, стала как бы его клиентом. Как всякая обобщающая формула — моя формула вероятно многого не вмещает, многое упрощает, но какую-то долю действительной правды она, я думаю, передает.

Конечно, я всего этого в таком виде в своей юности себе не представлял — всё это **теперь** выясняется в моих думах об этом большом русском человеке. Но мои нынешние размышления основаны на замечаниях, толках, разговорах, которые я тогда слышал и к которым я внимательно прислушивался, ибо В. А., как я уже сказал, меня всегда чрезвычайно сильно привлекал. Вовсе не все политические и личные друзья моего отца в такой степени меня увлекали. Я всегда снизу вверх смотрел на С. А. Муромцева, меня обольщал своей петербургской элегантностью, как и всей своей наружностью, В. Д. Набоков, я искренне привязался к всегда грустному, задумчивому В. П. Обнинскому, особенно часто бывавшему у нас с кн. С. Д. Урусовым и А. А. Лопухиным, хорошо знал Ф. Ф. Кокошкина и П. И. Новгородцева, которые также были постоянными гостями нашего дома; особенно полюбил я, но уже гораздо позже, после первой мировой войны, князей Павла и Петра Дмитриевичей Долгоруковых, а до своего отъезда из Москвы кн. Е. Н. Трубецкого, часто посещавшего наш дом в период 1908-1918 годов, Н. В. Давыдова и многих других, но увлечение В. А. было увлечением особого свойства. Уже в моей юности он поразил меня блеском своего красноречия. Красноречие, как явление, как искусство, как личный дар сызмала меня интересовало. Прежде всего я вырос в доме отца, который сам был выдающимся оратором. Об ораторском искусстве у нас в доме много и часто говорили, обсуждали выступления разных ораторов, роль голоса, интонации,

жестикуляции, манеры оратора держать себя в суде или на кафедре. Интересовались этим конечно, многие помощники моего отца, среди которых было несколько весьма в этой области одаренных, представлявших разные типы красноречия, людей как например Ф. К. Арнольд, И. В. Ильинский, Б. М. Овчинников, Е. А. Ефимовский, между прочим сильно подражавший В. А. Маклакову. Мне в юности пришлось слышать (когда я во время происходившего в нашем доме русско-польского съезда или публичных собраний кадетской партии подслушивал ораторов из-за полуоткрытых дверей залы) Кокошкина, Милюкова, С. Н. Трубецкого, Муромцева, С. А. Котляревского, Н. И. Новгородцева, Ф. Е. Врублевского, потрясшего своей речью земский съезд в Москве, проф. Здзеховского, В. Серошевского и конечно — моего отца. Судебные выступления моего отца и его противников часто у нас комментировались. В день именин моего отца, 16 февраля, у нас почти ежегодно бывал большой обед для его помощников, а их бывало у него свыше двадцати. На этих обедах всякий раз происходили состязания в красноречии — почти каждый из помощников произносил речь банкетного характера на разные темы. Прибавлю, что и в гимназии (Медведниковской) у нас изредка появлялись какие-то «ad hoc» лектора, которые читали нам доклады об искусстве красноречия. Было у нас несколько учителей, которые отличались даром прекрасно «рассказывать» урок — они собственно читали нам лекции; упомяну тут М. К. Любавского, ректора Московского университета, преподававшего у нас русскую историю, учителей русского языка С. Г. Смирнова и Климова, преподавателей правоведения и философской пропедевтики, приват-доцентов Ященко и Фохта, директора гимназии В. П. Недачина, Н. М. Кулагина, ректора Петровско-Разумовской академии. Словом, я вырос в условиях, которые развивали во мне вкус к ораторскому искусству, хотя Квинтилиана и Цицерона я тогда еще не изучал, а только слышал о них изредка от моего отца.

В 1912 г. русское общественное мнение было возбуждено балканской войной и позиция, занятая тогда русским правительством, вызвала опасения в России и заграницей возможного военного конфликта между Россией и Австро-Венгрией. Немногие тогда подозревали приближение мировой катастрофы 1914 года, и всё же русское общество было сильно взволновано этими событиями. И вот тогда происходили в Москве, в атмосфере большого общего напряжения и нервности, разные публичные лекции на балканские темы. Кто, какие учреж-

дения, какие политические организации устраивали эти лекции — я сейчас не берусь установить. Всё, что я пишу в этой статье, я пишу только по памяти, я думаю, что это самый верный метод, когда пишешь **воспоминания.** Я не считаю полезным осложнять и подвергать «исследовательской» деформации мои впечатления о В. А. Маклакове, которого я хочу показать читателю просто таким, каким сохранила его для меня моя память. То, что я пишу — не историческое исследование, а личное лирическое воспоминание. Задачи мемуариста и историка — разные. Мемуарист — свидетель, историк — исследователь и судья.

Итак, лекции, связанные с балканским кризисом происходили тогда в Москве, и я был на двух — вероятно, устроенных по почину кадетской партии. Одна — лекция Родичева, другая — Маклакова, обе происходили в зале Московской консерватории и в обоих случаях зала была переполнена взволнованной публикой, постоянно перебивавшей ораторов «громом аплодисментов».

Я хорошо знал — по газетным стенограммам — ораторскую манеру Родичева. Родичев был трибун, которого называли русским Мирабо. Он говорил с остановками, точно задумываясь над каждой фразой, стоя в известном отдалении от пюпитра, без всяких записок, текстов. Он точно ваял, точно ворочал и передвигал огромные глыбы и камни и после совершенных усилий — переводил дух, отдыхал. Эти глыбы мыслей ваятель обделывал, обтачивал, и из этой его работы, которая происходила на глазах зрителей и слушателей, от времени до времени извергались могучие афоризмы, которые ошеломляли слушателя и глубоко западали в его напряженное сознание.

В такие минуты публика, точно пойманная внезапно навязанной ей спазмой мысли и чувства, освобождалась от нее, ликуя в громе своих аплодисментов. Все современники Родичева знают его и помнят как автора мощных, разительных афоризмов, часто полных убийственной иронии и сарказма или проникнутых глубоким негодованием. Из слышанной мною «балканской» лекции я запомнил один такой афоризм: «Нам говорят, что мы должны воевать за свободу наших братьев славян — а я спрашиваю: разве свобода это предмет вывоза заграницу?».

Недели две спустя состоялась лекция Маклакова. Я конечно помчался на нее. Ни слова из этой лекции я не помню

сейчас, не нашел ее в сборнике речей, изданном в Париже. Помню одно — произвела она на меня огромное впечатление. Если бы меня спросили, в чем тайна его красноречия, если бы меня попросили описать ораторское искусство В. А. — я бы оказался в трудном положении. Я слышал В. А. еще только один раз в жизни, в Праге, в самом начале тридцатых годов, когда он в День русской культуры говорил о Петербурге. Я вернусь в своем дальнейшем изложении к этой речи и к нашей тогдашней краткой встрече. Эта речь была тоже замечательной. Но где и в чем искать магию его дара так удивительно увлекать своих слушателей и себе их подчинять — я всё же затрудняюсь сказать. Мои личные воспоминания, сохранившиеся в памяти об этих двух его речах, слышанных мною, конечно, далеко не точны. Текста и этой его пражской речи в парижском сборнике тоже нет. Голос, личный шарм, произношение, невынужденная простота, с которой В. А. держал себя во время произнесения речи, свободная, непреднамеренная жестикуляция, являвшаяся всегда естественным подспорьем для содержания речи и ее эмоциональной вибрации, — быстрый, но всегда умеренно-быстрый, темп речи, интонация безошибочно выдвигавшая особенно значительные слова и, наконец, огромное богатство содержания — вот что мне запомнилось, как отличительные черты его красноречия. Слушатель был постоянно радостно ошеломлен этим потоком искрящихся мыслей, он наблюдал точно какой-то каскад, фонтан мысленных струй, всё новых и новых развитий и переливов той или иной основной мысли, основного в данной части речи положения. Чтобы проверить эти свои воспоминания и выводы, я прочел теперь, пишучи этот очерк, некоторые из речей В. А. Особенно мне понравилась речь, посвященная Плевако. Я думаю, что из этой характеристики Плевако можно применить не мало к самому В. А. — хотя эти два русских оратора представляли два очень различные типа красноречия. Я не буду делать этого сравнения — это выходит за пределы моей задачи. Я хотел просто сказать, что в этой речи В. А. подвержен тому, чему часто подвержены пишущие портреты особенно для них значительных людей — они видят и воспроизводят в них некоторые собственные черты. Ознакомление с текстами речей Маклакова не выяснило того, чего я искал. Никаких особых признаков я в этих текстах, кроме отличной правильности языка, не нашел. Нет в них неожиданных эпитетов (а этим Маклаков восхищается в речах Плевако), оригинальных сравнений, поэтических или, наоборот, прозаических

метафор (отличительный признак письма другого учителя В. А. — Льва Толстого), которые принижают мысль до обыденности с целью ее пояснить, нет бытовых картин, художественных описаний, нет «сказа». Речь Маклакова — речь рациональная, можно даже сказать рассудочная, «здравомыслящая» и красота ее заключается, мне думается, в чрезвычайно удачном сочетании правильности и точности, которые отличают французский классический язык, с простотой и меткостью русского. Искусство Маклакова заключалось не только в поразительном умении читать свои речи — никто из его слушателей никогда не мог заподозрить его в чтении — так свободно, казалось, он говорил; искусство заключалось в умении написать речь так, чтобы она при чтении звучала как устное, а не письменное слово. Это очень существенно. Маклаков так привык писать свои речи и так много их написал и произнес в своей долгой жизни, что это отразилось и на стиле его «печатной» прозы: все его книги написаны тем же правильным, четким, прекрасным, но живым, устным, так сказать, простым языком. Да, чеканная, изящная в своей простоте разумность, вот в чем, я думаю, скрывается тайна его красноречия. Не в громких возгласах выражалась сила этого красноречия, не в эмоциональной напряженности, а в убедительности рассуждения, в удачных сопоставлениях, в выводах, поражающих спокойствием своей логики. Прочтите его думскую речь об Азефе!

Последнее воспоминание о В. А. еще русских времен связано с кратким, случайным замечанием отца. В. А. уезжал ранней осенью 1917 года в Париж в качестве посла Временного Правительства. Отец был тогда председателем Ликвидационной комиссии по делам царства Польского, на правах министра, и в силу этого — членом Кабинета. Узнав о сроке отъезда В. А., отец, хотя чрезвычайно занятой, поехал его провожать. «Странно, — рассказывал отец, — на вокзале, кроме меня, никого из правительства не было, а кажется и вообще никого...». Быть может, что ввиду тяжелых тогдашних политических условий, срок отъезда В. А. скрывался. Сам В. А. об этих проводах рассказал в своей статье о моем отце и в своих воспоминаниях.

2

Годы, когда началась русская эмиграция, были годами, когда происходило политическое возрождение Польши. Многие польские семьи после освобождения от более чем столетнего

русского господства вернулись из России в независимую Польшу. Многие семьи вернулись «домой», потеряв значительную часть своего состояния; так было в случаях, когда кроме того, чем эти семьи владели в так называемом «Западном Крае» у них была собственность и в Центральной Польше. Это были впрочем исключительные случаи, большинство же русских поляков возвращалось нищими. Но все поляки, возвращавшиеся из России в независимую Польшу переживали политическое возрождение страны с энтузиазмом и с готовностью забыть в охватившей их национальной радости личные потери. В таком же настроении водворилась в Варшаве и наша семья. Судьба давних русских друзей моего отца была иная. Многим из них он помог, когда был польским посланником в Москве уже при большевистском правительстве, некоторых из них ему удалось спасти. Огромное большинство из них оказалось в эмиграции — в Белграде, в Праге, в Берлине, в Париже, иные в Варшаве. Отец и я постоянно поддерживали наши отношения с русскими эмигрантами — отец продолжал, в границах своих возможностей, помогать своим русским друзьям. С 1919 г., после десятилетнего перерыва, вызванного войной и революцией, я стал ежегодно ездить в Западную Европу, бывая особенно часто в Париже, иногда в Лондоне. И всякий раз я посещал близких отцу моему русских его друзей. Случилось так, что эти русские друзья, в связи с особыми обстоятельствами, оказались в состоянии помочь моему отцу. Как? Сразу же после приезда моего отца в Варшаву, осенью 1918 года, партия национал-демократов начала атаку против него (я не могу здесь входить в подробности этого столь же печального как и отвратительного дела), не разбираясь в средствах. Чтобы уничтожить своего главного противника, который разбил их в России, «эндэки» выступили с рядом обвинений и инсинуаций против отца, клеймя его в своей прессе как москалофила, германофила, агента России и Германии для переговоров о сепаратном мире, платного агента Германии, русского агента, разбившего польскую армию в России, человека продавшегося евреям и масонам и т. д. и т. д. Когда я сейчас вспоминаю всю эту клеветническую кампанию, во мне снова растет чувство не столько негодования, сколько омерзения и отвращения. Отец в конце концов решил, после двух-трех лет слишком долгого терпения, привлечь к ответственности одного варшавского редактора за клевету. Для этого процесса нужны были разные документы, доказывающие неосновательность всех этих обвинений. Отец воспользовался мною для этого, и

я в те годы навестил бывшего посланника в Стокгольме Гулькевича, советника русского посольства в Риме при Ватикане Лысаковского, А. И. Гучкова в Париже, А. Ф. Керенского в Лондоне — все они мне с радостью дали письма, выясняющие достойную и честную роль отца моего в России до и во время мировой войны. Все эти письма решительно опровергали обвинения в ведении переговоров для сепаратного мира и в деятельности против польской армии. В. А. Маклаков отцу моему в этих обстоятельствах ничем помочь не мог, но я всякий раз, когда бывал в Париже, его навещал. В то время наша семья снова очень сблизилась с В. А. и его сестрой. Моя сестра тогда постоянно жила в Париже, моя мать с 1919 до 1922 года, перед ее кончиной от рака, лечилась тогда в Париже — все мы поэтому, отец и я, часто бывали там и всякий раз виделись с Маклаковыми, которые принимали близкое участие в наших тревогах и горестях.

И вот помню, что когда я ездил за этими нужными отцу документами в Париж и Лондон, я заходил — просто, чтобы его навестить — к В. А. Маклакову и его сестре. Там меня всегда ожидал радушный дружественный прием. В одно такое посещение я услышал от В. А. вещи, которыми стоит поделиться с русским читателем, как ни грустно мне разоблачать некоторых своих соотечественников. Должен сделать небольшое отступление. Национал-демократы, как я уже выше упомянул, проиграв свою политическую войну с моим отцом в России, делали всё, что могли, чтобы опорочить его имя в союзных странах и, конечно, в Польше. Заниматься этим они стали уже под конец войны. Часто им помогали в этом достойном деле их попутчики, которые сами не играли никакой определенной политической роли, но своими писаниями поддерживали линию партии. Национал-демократы часто бывали людьми страстными, фанатиками, ненавистниками, действовавшими, как обычно действуют люди такого сорта. Особенной страстностью и нетерпимостью отличалась талантливая, но совершенно безответственная семья братьев Лютославских. Иосиф, Мариан и ксендз Казимир были активными политиками, известный польский философ и писатель, профессор Викентий Лютославский работал для партии на стороне. Иосифа и Мариана арестовали большевики в 1918 году и моему отцу не удалось их спасти, несмотря на все его усилия — их расстреляли одновременно с Щегловитовым и Н. А. Маклаковым в отместку за убийство Урицкого. Под конец войны в Лондоне стал выходить журнал, посвященный Польше «*The Polish Review*» целью которого

была пропаганда идеи независимости Польши в английских кругах. Отец мой поддерживал этот журнал и сам в нем писал. Редактором журнала был англичанин Харли (*Harley*). И вот когда в конце 1916 года и в 1917 году борьба национал-демократов с моим отцом приняла с их стороны особенно страстный характер (потом, уже в Польше, стало еще хуже), проф. Лютославский, проживавший тогда в Швейцарии, вероятно по наущению своих братьев или других членов партии, отправил из Швейцарии открытку редактору «*Polish Review*» Харли; одновременно открытку такого же содержания он отправил в Москву редактору газеты «*Echo Polskie*», хотя он, конечно, знал, что эта была газета моего отца. Это обстоятельство обнаруживает настоящие намерения почтенного профессора. В этих открытках он просто предупреждал обоих редакторов, что Ледницкий платный агент немцев, и советовал им поэтому перестать печатать его статьи. В Москве открытку, направленную в «Польское Эхо», позднее нашли в каких-то архивах. У нас сделали обыск, — обыск я этот хорошо помню, он производил впечатление простой формальности. Даже большевики, повидимому, не поверили этому обвинению. Обыск произошел в конце 1917 года или в самом начале 1918-го. Через несколько месяцев отец мой был назначен посланником в Москве и тогда уже пользовался чем-то в роде дипломатического иммунитета. В Лондоне дело приняло иной оборот. Замечу маленькую деталь — Лютославский неспроста свой донос написал на открытках: ему важно было, чтобы по дороге ее могли прочесть все военные цензуры и сделать свои выводы. И вот Харли вдруг заметил, что за ним стала следить английская тайная полиция. Он вознегодовал и в Министерстве Иностранных дел потребовал объяснений. Ему показали открытку Лютославского. Он потребовал выяснения дела. Решили опросить людей, с мнением которых Министерство иностранных дел могло считаться. Состоялось собрание, на котором был бывший великобританский консул в Москве Локкарт, хорошо знавший моего отца и с большим уважением писавший о нем впоследствии в своих мемуарах, и... В. А. Маклаков! В. А. мне об этом сам рассказал. «Я в это время был проездом в Лондоне, направлялся в Париж в качестве русского посла. Вдруг меня попросили на конференцию в *Foreign Office*». В. А. рассказал мне историю открытки, которую отец мой и я тогда уже знали от польских друзей, которым в свою очередь об этом говорил Харли. «Когда мне сказали, — говорил В. А., — что Александра Робертовича заподозрили в том,

что он немецкий платный агент — я рассмеялся и указал на два обстоятельства, которые ставили вашего отца выше такого рода подозрений: глубокое и широкое уважение, которым он пользовался во всей России, и его материальное положение. Купить его, — я прибавил, — было бы не легко». Я, конечно, горячо благодарил В. А.

Когда мы с В. А. говорили о процессе, который вел мой отец против редактора варшавской газеты за клевету, В. А. выразил свои сомнения насчет исхода процесса. «Ведь А. Р. должен по опыту знать, что выиграть такой процесс, т. е. добиться от суда не только признания факта клеветы, но и наказания виновного — почти невозможно, ибо всегда окажется для журналиста-клеветника убежище в пресловутом *bona fide*»! — сказал он со своей обычной улыбкой. В. А. ошибся: в первой инстанции факт клеветы был установлен, но *bona fide* действительно спасло редактора от наказания, во второй редактора однако наказали, правда символично — он подошел под амнистию. Но с моральной точки зрения отец выиграл дело, и я помню, как В. А. радостно этому удивлялся и делал мне комплименты по поводу польского суда. Это было в 1925 году.

С осени 1926 до конца 1928 года я жил в Брюсселе и тогда постоянно бывал в Париже, как и потом, когда я совмещал свою кафедру истории русской литературы в Кракове с кафедрой славянских языков и литературы в Брюсселе. Так было до самой войны. В эти именно годы я особенно часто посещал В. А. Тогда он уже жил на *Rue Péguy* около *Boulevard Montparnasse*. Как-то раз я приехал в Париж из Варшавы, заехав по дороге на два-три дня в Брюссель. Это было в 1924 году. Из Варшавы я выехал сразу же после убийства советского посланника Войкова молодым русским эмигрантом Ковердой. Выстрел Коверды всполошил тогда всю Европу и, конечно, глубоко взволновал русские эмигрантские центры. Особенного напряжения эта взволнованность достигла, когда узнали, что Коверду будет судить не гражданский, а военный суд и что ему грозит смертная казнь. Убийство Войкова поставило польское правительство в очень трудное и щекотливое положение. В то время войну 1920-1921 года все еще в Европе и в Польше хорошо помнили; Польша с Пилсудским во главе волей-неволей старалась упрочить мирные отношения с советской Россией. Симпатии всех были на стороне Коверды, но это нисколько не облегчало положения правительства. Одно было для всех осведомленных ясно, что и сам Пилсудский в глубине своего сердца, если не оправдывал, то понимал Коверду. Войков был

в свое время замешан в ужасном уничтожении всей царской семьи. Об этом точно рассказывала произведшая глубокое впечатление книга Соколова. Это, конечно, помнили русские эмигранты и выстрел Коверды приобрел в их глазах символическое значение. Шли митинги, печатались возбужденные статьи. А Польше нужно было как-то выйти из создавшегося опасного положения. Пилсудский, сам или при помощи своих сотрудников, такой выход нашел, и это мне очень хорошо объяснил перед моим отъездом заграницу отец. «Почему военно-полевой суд?» — спрашивал я его. — «Именно затем, чтобы получить не слишком затрудненную возможность избежать смертной казни, которой Пилсудский ни за что не хочет допустить. На военный суд Пилсудский, конечно, имеет влияние, которого он не может иметь на суд гражданский. В последнем всякие политические соображения могли бы сыграть известную роль. Военно-полевой суд — дело другое, там сидят непосредственно подчиненные Пилсудскому офицеры, кроме того люди, которые естественно сочувствуют молодому героюмстителю». Но было и другое, очень важное соображение, которое мне тоже объяснил отец: в гражданском уголовном суде советская миссия имела право представить гражданский иск, и адвокат или адвокаты миссии участвовали бы в разбирательстве дела, а тогда, объяснял мне отец, шли бы на весь мир каждый день телеграммы, обвиняющие польский суд в пристрастном разбирательстве дела. «Но главное — сказал отец — то, что Пилсудский ни в каком случае не даст расстрелять Коверду». С этим я уехал. В Брюсселе мне очень легко — при случае — удалось успокоить русские круги. Я всё объяснил моему другу, недавно скончавшемуся милому человеку, движимому всегда рыцарскими чувствами, А. Э. де Фонтейнесу, председателю союза русских ветеранов, и он быстро успокоил своих друзей. Да в Брюсселе и не так уже много было русских. Признаюсь, что приехав в Париж, я уже не думал о волнениях в среде русской эмиграции. К В. А. я собирался зайти, но особенно не спешил звонить ему, так как знал, что пробуду в Париже некоторое время. Сразу же по приезде я зашел в польский книжный магазин на *Blvd St. Germain*, сборный пункт всех польских ученых, пребывавших в Париже. Там я сразу узнал, что меня срочно разыскивает советник нашего посольства Н. Я его хорошо знал, любил и уважал. Но Н., как и многие другие польские дипломаты того времени, был типичным польским интеллигентом, с молодости преданным идее независимости Польши и Пилсудскому. Эти

два фактора руководили им всецело, государственного же опыта и уменья подойти к той или иной проблеме с государственной точки зрения в нем, как и в других людях того же типа, не было. Это, между прочим, определило отношение этих людей и к русской эмиграции. Они видели в русских эмигрантах только представителей былого русского господства над Польшей и в лучшем случае с ними не считались. Именно люди этого типа были ответственны за бессмысленные отказы в визе на въезд в Польшу таким русским эмигрантам как Милюков и Бунин. Это сильно раздражало моего отца, тем более, что он старался получить для Родичева и для Милюкова высокие польские ордена — первому за неизменно дружеское отношение к Польше, второму за мартовскую декларацию Временного правительства, провозгласившую независимость Польши. К сожалению, отцу провести это не удалось. Бунин, который в своих писаниях столько раз выражал глубокую симпатию и уважение к традициям польской культуры, не получил визы в Польшу! Меня это всё раздражало не меньше, чем моего отца. Эти польские дипломаты не были плохие люди, они не были даже лично враждебны по отношению к Милюкову или Бунину, это были просто люди, которые из идеалистически настроенных молодых интеллигентов стали чиновниками с узкими взглядами, лишенными верного чувства государства. Родина стала государством, но эту трансформацию они понимали и переживали очень односторонне. Государство как таковое заменило в их национальном сознании родину с ее богатой либеральной традицией, и они быстро забыли то время, когда многие поляки сами были эмигрантами, когда и для них родина перестала быть их государством. Когда я позвонил Н., он мне заявил, что его дело очень срочное и важное и потому он просит меня сейчас же к нему заехать. Встретив меня в своем кабинете, он сразу же спросил, не могу ли я помочь посольству в кругах русской эмиграции в Париже, в связи с делом Ковердy. Он объяснил мне, что действия русских эмигрантов очень затрудняют положение польского правительства в Париже и что всё это может осложнить историю с Ковердой. «Не можете ли, — у вас большие связи с русскими, — помочь нам, повлиять на них, угомонить их». — «Разве в посольстве никого нет, кто был бы так сказать прикомандирован к этому сектору, кто за ним следит и с ним общается?» — спросил я и добавил: «Если этого нет, то не могу не выразить своего изумления». «А зачем нам это?» — ответил Н. — «Они нас избегают, а мы — их. Всё это —

бывшие люди и никакого реального влияния они ни на что не имеют, никакой политической роли не играют». «Если вы правы, то в таком случае зачем я вам нужен и зачем вы меня просите вам помочь?» — сказал я не без злобной иронии в голосе. «Не сердитесь, я знаю ваши чувства, знаю ваши связи и потому очень прошу вас нам не отказывать. Русские эмигранты конкретно мало значат, но мутить воду, подстрекать, инсинуировать они могут, у них сохранились давние знакомства, они боковыми дверями входят к Пуанкарэ, к Барту, в разные газеты и вообще только нам мешают своими митингами, протестами, резолюциями... Успокойте их, пусть дадут нам время провести это дело — Коверды никто убивать не собирается, но своими манифестациями русские эмигранты к этому могут привести, не говоря уж о том, что все эти их протесты очень осложняют существование русских в Польше». В конце концов, видя, что дело действительно серьезно, я обещал поговорить с В. А. Маклаковым, как с самым видным и влиятельным в Париже русским. Я сейчас же из посольства позвонил В. А. К счастью он был дома и сам подошел к телефону. После обмена приветствиями, после того как я спросил его, как он себя чувствует, В. А. ответил кратко: «Мы все тут трепещем!» — «Почему, что случилось?» — спросил я не без некоторого лицемерия. «Да как же — Коверда! Вы же знаете, что происходит. Военно-полевой суд, ваш министр иностранных дел Залесский сейчас в Женеве в интервью заявил, что Коверде грозит смертная казнь... Это ужас, это в последней степени волнует русскую эмиграцию, идут митинги, выносятся всякие резолюции, посылаются телеграммы... Бедный Александр Робертович, мы его вероятно замучили этими просьбами что-то сделать, каюсь, я сам послал ему вместе с Павлом Дмитриевичем Долгоруковым телеграмму, хотя мы все понимаем, что он ничего сделать не может. А верно то же самое происходит в Праге, Белграде, Берлине».

Выслушав В. А., я поспешил его успокоить и прежде всего сказал, что Коверда ни в коем случае расстрелян не будет, что Пилсудский ни за что этого не допустит. «Вашими устами да мед бы пить, — ответил В. А. — Но почему вы так думаете, ведь вот Залесский сказал...» «В. А., — перебил я его, я всё вам выясню, когда мы увидимся, но сейчас могу вас заверить, что никто в Польше не боится за жизнь Коверды. Когда мы сможем увидеться?» — «Приходите послезавтра завтракать с нами!» «Отлично, и послезавтра вы уже будете знать об исходе дела Коверды — завтра суд должен вынести свой приго-

вор, я уверен, что послезавтра мы с вами сможем выпить за здоровье Коверды!» «Вацлав Александрович, сегодня у нас последний митинг, и Бог знает какие резолюции он вынесет. Можно ли мне на этом митинге сослаться на вас и передать то, что вы мне сказали? — «Да, но с оговоркой — не называйте моего имени. Скажите просто, что в Польше никто не сомневается насчет исхода дела и что все уверены, что Коверду не приговорят к смерти». На этом мы расстались. Уже на следующий день пресса принесла известия, что Коверду приговорили к долгосрочному тюремному заключению (потом амнистия сократила его до нескольких месяцев). Я пришел к Маклаковым в сияющем виде и с радостным настроением духа. В. А. был немного смущен, когда я ему объяснил, что Залесский ничего не мог сказать иного, что сказал, что военно-полевой суд был именно спасением для Коверды, что Пилсудский никогда бы не дал расстрелять Коверду. «Да, я теперь понимаю, но мы в нашем возбуждении помнили русские военно-полевые суды, мы повторяли себе то, что сказал Залесский, и трепетали, как я вам третьего дня сказал. Ну, слава Богу, что всё так кончилось. Поляки мудрецы. Впрочем вот что я хочу еще сказать: вы не можете себе представить, как хорошо вышло, что вы мне третьего дня позвонили и таким образом, я на многолюдном митинге мог сослаться на ваши уверения. Там готовили ужасные резолюции, протесты — мне удалось всё это приостановить, повторив, без упоминания вашего имени, всё что вы мне сказали и объяснили. Все, успокоившись, разошлись».

В заключение должен прибавить, что тогдашняя страстность и беспокойство В. А. меня поразили — как грустно подумать что это был результат того взаимного недоверия, которое характеризовало отношения между Польшей и русской эмиграцией. Этот эпизод показал, как легко было бы эти отношения исправить.

Моя следующая, значительная для меня встреча с В. А. произошла в Праге после его речи о Петербурге, которую он произнес в день русской культуры. Я в то время гостил у моего друга, нашего тогдашнего посланника в Праге, который потом был последним довоенным польским послом в Москве, Вацлава Гржибовского. Узнав о лекции В. А., я конечно отправился на нее. Как я уже выше сказал, это была блестящая лекция, из которой я впрочем ничего не сохранил в памяти такого, что бы объяснило тайну его красноречия. Я просто запомнил то, что он говорил в этой лекции о Польше, и то, как он меня тогда глубоко тронул. В. А. говорил о Петербурге и

его красоте, о петербургском периоде в русской культуре, особенно в русской литературе, о Пушкине и Достоевском, но он говорил также о роли этого периода в политической истории России. Он упомянул об имперских достижениях этого периода, сделавших Россию великой державой и создавших ей мировой престиж, но он говорил и об отрицательных сторонах этого процесса. И вдруг, я, смотревший с восторгом на этого близкого и дорогого мне человека, услышал: ...«Большим грехом этого периода были разделы Польши, и за этот грех мы дорого заплатили, хотя не все хотели себе в этом отдать отчет, а это был тяжелый грех, который лег на русскую совесть, грех, который нужно было искупить...» Что еще сказал В. А. — я не помню. Я знаю лишь то, что слушал я его с волнением и благодарностью. Сейчас же после лекции я постарался пробраться к нему через множество людей, которые его приветствовали и поздравляли. Как только В. А. увидел меня, он протянул ко мне руки и сказал: «Как я рад, что вы здесь! Я не знал, что вы были в Праге и не видел вас в зале. Если бы я знал, что вы будете, если бы я вас заметил, я бы еще больше сказал о Польше!» Никогда я не забуду этой встречи и этих его слов. Они для меня были очень значительны. За исключением двух-трех речей в Думе, Маклаков в России почти никакого участия в дискуссиях по польскому вопросу не принимал и для польского дела мало что сделал — он всегда занимался другим. Его нельзя в этом смысле сравнить ни с Родичевым, ни с Милюковым, ни с кн. Е. Н. Трубецким, князьями Петром и Павлом Долгоруковыми, кн. Д. И. Шаховским, Ф. Ф. Кокошкиным или В. П. Кузьминым-Караваевым. Но личное отношение его к полякам и к Польше было теплое, доброе — он это показал в своей другой пражской лекции (о Пушкине) и в своей статье о моем отце. Он показал не только симпатию, но и уважение к Польше, основанное на знании польской истории и культуры. Откуда это теплое дружеское чувство взялось в нем, как оно выросло? Может быть потому, что его учитель Плевако, которым он так восхищался, был сыном поляка, а может быть в результате его дружбы с моим отцом? Я знаю одно — это чувство в нем было, и может быть эта живая его симпатия к Польше в какой-то степени определила мое личное отношение к нему, может быть она сделала его таким особенно мне дорогим русским человеком.

Вспоминается мне один веселый эпизод, участниками которого были кн. Павел Дмитриевич Долгоруков и В. А. Маклаков. Он произошел между двумя поездками кн. П. Д. Долгору-

кова в советскую Россию, из которых вторая, как известно, кончилась для него трагически. Первую свою поездку, хотя мой отец уговаривал его этого не делать, кн. П. Д. совершил из Польши, прожив несколько недель у моего отца, отращивая длинную бороду, чтобы придать себе вид, похожий на старого русского крестьянина.

Почти все мы — отец и моя семья особенно с ним сблизились и полюбили его. Перейдя тогда границу, П. Д. сразу заболел дизентерией и должен был вернуться. Прожив некоторое время в Варшаве, он поехал в Париж, напечатал в «Руле» описание своей поездки, привлек этим внимание советской власти и снова поехал, уже не через Варшаву. Ему позволили добраться до Харькова, а там арестовали и затем расстреляли.

Между этими двумя поездками Павла Дмитриевича и произошел тот эпизод, о котором я упомянул. В. А. Маклаков и П. Д. Долгоруков как-то вспомнили об именинах моего отца и оба послали ему телеграмму, в которой сказали, что пьют за его здоровье, при чем В. А. от себя прибавил, что П. Д. жалуется на скромность эмигрантских средств, которые не позволяют отпраздновать этот день получше. «Это тонкий намек на толстые обстоятельства», — сказал, улыбаясь, мой отец и, помнится, сразу же послал ответ, который дал возможность П. Д. продолжать празднование... Глубоко трогательна была эта сердечная простота отношений, связывавшая этих трех людей.

В 1934 году пришла смерть моего отца. Я тогда получил многочисленные письма и телеграммы от его русских друзей, рассыпанных по всему миру. Конечно, В. А. и М. А. Маклаковы оба горячо отнеслись к этой кончине и оба прислали мне очень добрые, сердечные письма. Два года позже В. А. написал свою прочувствованную статью о моем отце. Как я уже говорил, эта статья кажется мне одним из лучших литературных произведений В. А. Вскоре после смерти моего отца я написал французскую книгу о Толстом и о его отношении к Польше, посвятив ее памяти отца. В 1935 году, когда книга пошла в печать меня пригласил Сорбоннский университет прочесть две лекции. Согласившись, я прочел лекции, основанные на моей книге. До поездки в Париж я списался с В. А., который любезно предложил мне прочесть доклад о Толстом и для русских кругов, на русском языке.

Лекция моя о Толстом и Польше состоялась под председательством В. А. на собрании, на котором в первый и, кажется, в последний раз объединились русская академическая группа

и русский академический союз. Пришло довольно много народу, между прочим, был также и В. П. Недачин, который, помню, не переставал повторять каждому: «А ведь это мой ученик, окончивший Медведниковскую гимназию с двумя медалями — золотой русской и серебряной от *Alliance Française*». Очень меня он тогда тронул своей гордостью старого учителя.

После лекции В. А. предложил мне и нескольким моим слушателям (среди них был также Г. В. Адамович, написавший впоследствии прекрасную рецензию о моей французской книге о Толстом в «Последних Новостях») пойти посидеть в кафэ на Монпарнассе. Там он мне признался, что когда узнал от меня о теме доклада — Толстой и Польша — он изумился. «Я думал, — говорил он, — я своего Толстого хорошо знаю, и всё спрашивал себя, где он нашел у него Польшу? А вот оказалось, что я и, верно, многие другие как-то ничего этого не заметили и весь этот необыкновенно любопытный и значительный материал мы все проморгали. Между прочим, ваш детальный разбор «За что?» мне напомнил этот рассказ, который я совсем забыл. Надо будет перечитать». Через несколько дней я был у В. А., чтобы еще раз поблагодарить его за устройство моей лекции, и он начал опять говорить о ней и о «За что?» Он тогда успел уже перечитать этот рассказ. «Я в одном с вами не согласен. Мне кажется, что в этом рассказе сильно проявились не столько положительные чувства Толстого по отношению к Польше, присутствие которых во второй половине его жизни вы вообще очень убедительно доказали, сколько его ненависть к государству: вот всё было хорошо, пока не вмешалось государство, как только оно появилось — началась трагедия». Меня В. А. не убедил. Я успел ввести эти его замечания в заключение моей книги и там же ему возразил. Но здесь не место входить в эти подробности.

3.

В начале второй мировой войны, весною и в начале лета я раза три-четыре был в Париже и, конечно, видался с В. А., но тогда рассказывал больше я, пережив страшную осень и зиму в Польше и хорошо познакомившись с обеими оккупациями — советской и немецкой, попав в руки полевого НКВД и чудом из них освободившись. В августе 1940 года я покинул Европу и поселился в Америке. Навещая Европу в 1948, 1951, 1955 и наконец в 1957-м году, я всегда заходил к Маклаковым

и всегда меня там встречало радушное, дружественное гостеприимство. В 1957 году я Марьи Алексеевны уже не видел. Когда я навестил В. А. в апреле, она была в больнице, и В. А. волновался по поводу того, как и где ее лучше всего устроить — они с сестрой в этом не сходились. О всех этих тревогах и заботах меня подробно осведомил В. В. Вырубов, еще один из «последних могикан», тоже особенно близкий и дорогой русский друг нашей семьи. С ним и Н. Б. Глазбергом, тоже давним другом моего отца, я повидался до моего посещения В. А. Помню, что когда я позвонил В. А., чтобы узнать, когда мне можно будет его повидать я с большим трудом достиг того, чтобы он расслышал и понял, кто с ним говорит. Он очень обрадовался. Когда я пришел к нему часа в четыре дня, он меня принял в столовой и, когда мы сели, указал на две неоткупоренные бутылки вина — белое и Дюбонне, сказав: «А вот это я для вас приготовил, сам я теперь вина уже не пью, но вы возьмите себе, что вам по вкусу». Я был очень тронут, откупорил бутылку Дюбонне с некоторым смущением, но В. А. заметил, что я должен это сделать сам, так как у него нет сил вытащить пробку. Разговаривать нам было трудно не только по причине глухоты В. А., которая за последние годы очень усилилась, но и потому, что нашу беседу постоянно перебивали телефонные звонки. В. А. говорил тут же, в столовой, потому я мог слышать, о чем он говорил: все разговоры (да в начале и мой с ним) касались М. А., ее болезни и того, как ее устроить — в это время казалось, что она начала поправляться. Проблема заключалась в том, что М. А. хотела вернуться домой, а В. А. считал, что для нее лучше и удобнее остаться в госпитале до полного выздоровления. В. А. всё это мне сам объяснил и только позднее, когда я видел его уже в последний раз перед смертью, я понял, что все эти споры и обсуждения, связанные с вопросом о том, быть ли М. А. дома или в госпитале, — которые так занимали и волновали В. А., были уже единственным живым элементом в его существовании. Жизнь как будто бы шла еще нормально, заботы, связанные с болезнью М. А., создавали какую-то иллюзию активности, укрепляли в нем, повидимому, чувство, что их тридцатилетняя совместная жизнь всё еще продолжается. Я с грустью смотрел на так хорошо мне знакомую обстановку этой скромной квартиры, на как бы случайно развешанные на стенах гравюры с видами Кремля и Петербурга и фотографии тоже как бы случайно попавшие и сохранившиеся. И мне внезапно пришла мысль о том, что В. А. был человеком, в жизни которого

внешняя обстановка, вещи, предметы искусства, мебель — не играли собственно никакой роли. Он к ним не был привязан и не собирал их. Он всегда был окружен только самым необходимым комфортом, нужным для существования и работы. Главное в его жизни — были люди, их жизнь, их взгляды, чувства и его с ними отношения, люди в данной действительности, в настоящем, и люди в истории, в прошлом, люди в его личной судьбе и люди в государственной, общественной, политической жизни.

Я пробовал спрашивать В. А. о разных подробностях, связанных с его встречами с моим отцом и с его дружбой с ним, но В. А. всё возвращался к тому, о чем он написал в своей статье о моем отце, и всё время жаловался на то, что память ему уже изменяет. Он всё-таки спросил меня, в свою очередь, как бы желая проверить себя, как относился мой отец к революции 1917 года. Я тогда рассказал ему один характерный случай. В первые дни революции мой отец был в Петербурге и мы дома не знали, как и когда он сможет вернуться в Москву. Мне вспомнилось тоже, что я с несколькими польскими друзьями и родственниками гулял по улицам Москвы, и все мы восхищались спокойным, мирным ходом совершавшегося перед нашими глазами огромного переворота. На площади перед Национальной гостиницей я вдруг увидел в толпе С. А. Котляревского. Я пробрался к нему с трудом и наконец достигнув его, спросил: «Знаете ли вы, где мой отец?» — «Не знаю, — ответил С. А., — но уверен, что он переживает счастливейшие минуты своей жизни». Когда мы вернулись домой, мы нашли моего отца в своем кабинете, рассказывавшего моей матери, сестре и знакомым о своих петербургских впечатлениях. Лицо отца было возбужденное, но мрачное. Барон З. Гейдель, мой будущий тесть, тогда австрийский подданный, принудительно высланный из своего имения в Царстве Польском вместе с семьей в Москву, где вскоре после приезда был арестован и посажен в тюрьму, из которой только после нескольких месяцев его удалось освободить, был всегда очень анти-русски настроен. Но гуляя с нами в этот день по улицам Москвы он всё время восхищался благообразием переворота. Он сразу же выразил и перед моим отцом эти свои чувства: «Вы знаете мои настроения, но сейчас, после того, что я видел, я должен заявить, *que je suis chapeau bas* перед русским народом. Я думаю, что история не знает другой такой элегантной революции». Отец мой стремительно перебил Гейделя: «Я вам сейчас расскажу про эту элегантность!» И тут он

привел целый ряд случаев, которые произошли в Петербурге, он рассказал нам, как солдаты и матросы сдирали с генералов погоны и как одного генерала, кажется Штакельберга, тут же, в его собственной квартире, в которую они ворвались, застрелили. «Подождите, вы еще увидите, чем всё это кончится, море крови зальет Россию и всех нас». В. А. очень обрадовался, услышав мой рассказ. «Да, я всегда думал, что ваш отец именно так должен был оценить нашу революцию. Я понимаю, что она открыла огромные возможности, о которых он всю свою жизнь мечтал — для разрешения судьбы Польши, но как человек с государственным умом, а таких, к сожалению, в нашей русской либеральной среде было мало, он не мог не ужаснуться перед страшными потрясениями, которые ожидали Россию, не мог не распознать уже в первых проявлениях революции ужаса беспомощного падения монархии». Во время этого же разговора я старался использовать эту встречу для пополнения моих сведений о русских друзьях моего отца и потому мы коснулись многих из них. Запомнилась мне веселая улыбка, с которой В. А. сказал мне: «А знаете ли, между прочим, что это ведь мне пришлось как-то объяснить Набокову всю юридическую несостоятельность его знаменитой фразы 'власть исполнительная да подчинится власти законодательной'!» Говорили мы о Муромцеве, о Милюкове, Родичеве, которого В. А. глубоко уважал и любил, и о многих других. Одно хочу заметить — В. А. никогда ни о ком со злобой, злорадством, неприязнью не отзывался. Даже когда ему приходилось говорить о противниках, о людях, которых он в своих книгах критиковал и осуждал, неизменная его улыбка, добрая, иногда как бы снисходительная, иногда точно вопросительная, не сходила с его славного лица. Через несколько дней я уехал в Италию. Там, переписываясь с А. Ф. Родичевой, я узнал от нее о смерти Марии Алексеевны. Я тогда сейчас же написал В. А., но ответа не получил. Через месяц я вернулся в Париж и сразу же навестил В. А. Он мне показался совершенно растерянным. Ни о чем мы уже говорить не могли. Тут именно я понял, что пока М. А. была жива, пока он всё спорил о том, где ей быть, связь с жизнью существовала. Теперь же он мне показался точно слепым идущим по какой-то незнакомой дорожке и беспомощно ищущим за что ухватиться, на чем удержаться. Он всё говорил о том, что взял отпуск, что на работу уже не ходит и что он непременно должен уехать из Парижа, отдохнуть. В. А. уже не твердо держался на ногах, ему трудно было вставать, подходить к телефону. Недолго я у него посидел. И

когда мы в передней прощались и, как всегда, обнялись, у меня возникло твердое чувство — верно и у него тоже — что мы больше в жизни не увидимся. Вернувшись в Америку, я узнал о его смерти. Вскоре некоторые подробности его кончины описала мне А. Ф. Родичева, приславшая мне затем свои воспоминания о В. А. и М. А. Маклаковых. Это был единственный очерк, посвященный В. А., который я прочел после его смерти. Я намеренно не читал того, что о нем появлялось, чтобы сохранить в неприкосновенности мои личные о нем воспоминания. Если в этих воспоминаниях есть какая-либо ценность, то заключается она только в том, что я сделал все усилия, чтобы возможно точно воспроизвести их в том виде, в каком они живут в моей памяти. А эта память любовно сохранила образ этого исключительно одаренного русского человека, этого на мой взгляд самого умного из всех русских людей, которых мне пришлось в жизни встретить!

В. Ледницкий

В. Г. КОРОЛЕНКО ПОД СУДОМ*

I

— Суд идет! Прошу встать! — раздается зычный голос пристава Особого Присутствия Петербургской Судебной Палаты.

Большой, несмотря на утренний час ярко освещенный, и словно настороженный зал судебного заседания, всегда наполненный какой-то особой, присущей только суду торжественностью, в этот день переполнен публикой. Все встают, если не считать тех, которым не хватило мест и кто стоит в проходах и облепив все стены. Этим оставалось разве только вытянуть шеи и смотреть за тем, как гуськом проходили и занимали свои места судьи и сословные представители, растянувшиеся живой лентой за председателем Палаты Н. С. Крашенинниковым. Появление последнего в заглавной роли судоговорения обычно предвещало мало хорошего для подсудимого и защиты.

Высокого роста, сухой и сутуловатый, с пронзительным и острым взглядом узких серых глаз, освещавших продолговатое, покрытое желтизной лицо, Крашенинников считался хорошим юристом и отличным знатоком уголовного процесса, но по натуре своей не способным удовольствоваться отведенной ему ответственной ролью руководителя процесса, а желавшим быть неограниченным его распорядителем. Судья волевой и властный, проницательный и умный, он ловко и искусно подставлял тот «желобок для обвиненья» подсудимого, который Лев Толстой своим духовным взором видел во всяком процессе. Не считая зазорным запутывать и сбивать с толку неискусных и неопытных свидетелей защиты в пользу обвинения, Крашенинников не стеснялся выносить фактически один (лишь слегка наклоняясь ухом то к одному, то к друго-

---

* Очерк И. Л. Цитрона печатается с рукописи, любезно предоставленной нам вдовой покойного И. Л. *РЕД.*

му из соседей-судей) те определения от имени суда, что играют важную, а иногда и роковую роль в исходе процесса и участи подсудимого. Слывя грозой для молодых и еще недостаточно искушенных адвокатов, он не особенно стеснялся и с пожилыми, бывалыми.

Таков был председатель того Присутствия Палаты, перед которым 27 ноября 1912 года предстал в качестве подсудимого В. Г. Короленко, — того «состава Присутствия», о котором известный адвокат Грузенберг полушутя-полусерьезно говорил, что его часто надо больше бояться, чем «состава преступленья»...

По тому, с каким холодным равнодушием Крашенинников, заняв свое место, окинул взглядом скамью подсудимых, занятую на этот раз большим и талантливым писателем, как с выражением превосходства оглядел скамью защиты, на которой расположился Грузенберг с молодым помощником, теперь на склоне лет вспоминающим давнее и невозвратное время, и каким взглядом полного пренебрежения метнул в переполнившую зал публику, присутствующие сразу почувствовали воцарившуюся в зале атмосферу судебного ристалища.

— Подсудимый, встаньте! — раздался напоминавший военную команду окрик председателя.

Сидевший спокойно и без признаков волнения Короленко, не спеша, поднялся.

— Ваше имя, отчество, фамилия?

— Владимир Галактионович Короленко.

— Звание?

— Литератор.

— Признаете ли вы себя виновным в приписываемом вам преступлении?

— Нет, г-н председатель, не признаю.

— Садитесь.

Начинается чтение обвинительного акта, вменяющего в вину редактору «Русского Богатства» все резкие выражения по отношению к предкам царствующего императора со стороны автора «Записок», Л. Толстого. В них Толстой, как известно, не хотел себя стеснять. Но существовавшее, хотя и не опубликованное, высочайшее повеление ограждало его от всякого преследования, и никакие просьбы и увещевания самого Толстого о привлечении *его* к законной ответственности не оказали на власть никакого воздействия.

Уже в самой принадлежности к царской семье автор «Записок» видит несчастье, а в дальнейшем высказывает мысли,

которые обвинительный акт характеризует как мысли о «безумии, преступности и греховности русских государей». Добровольно отрекшемуся от престола и мнимо умершему в Таганроге императору Александру I автор «Записок» приписывает мысль о том, что «вся мерзость жизни во всём ее ужасе» открылась ему и он понял, что он величайший преступник. Обвинительный акт формулировал действия дворянина Короленко как «оказание дерзостного неуважения к верховной власти и порицание установленного законами образа правления». Преступление это, предусмотренное ст. 128 Уголовного Уложения, грозило подсудимому годом тюремного заключения, а в особых случаях и тремя.

— Подсудимый, встаньте! — раздается снова голос председателя, — признаете ли вы себя виновным в приписываемом вам преступлении?

— Нет, г-н председатель, «преступления» я не совершал, а ознакомившись с рукописью Льва Толстого, уже известной из полного собрания его сочинений, распорядился сдать ее в печать.

— Знали ли вы, что часть «Записок» не пропущена была цензурой в сочинениях Толстого?

— Знал, г-н председатель, что предварительная цензура у нас отменена законом. И одним из принципов нашего журнала всегда было отстаивать свободу слова в мере, допускаемой пределами закона.

— Допустили ли вы также и распространение журнала с инкриминируемой вам статьей?

— Да, допустил.

— Садитесь, г-н Короленко.

В тоне голоса при обращении председателя к подсудимому явственно зазвучала новая, дружелюбная нотка, редко ему свойственная при исполнении судебных обязанностей. Благородство поведения открытого и смелого, исполненного достоинства и не прятавшегося от ответственности, писателя, повидимому, оказало свое действие и на сурового иепреклонного судью.

Наступил тот критический момент процесса, когда «состав Присутствия» подвергся первому большому испытанию. Подсудимый и защита возбуждают каждый от себя ходатайство о приобщении к делу книг, брошюр и газет, на которые каждый из них намерен сделать ссылку в своей речи. Среди этого печатного материала самым важным для защиты был монументальный исторический труд великого князя Николая Ми-

хайловича, посвященный царствованию Александра I-го и характеристике его личности. Крашенинников, как обычно по-своему, «совещается» с другими судьями и, к удивлению и радости заинтересованных в защите лиц, беспрепятственно и без боя удовлетворяет оба ходатайства...

Начинающиеся прения сторон ознаменовываются коротким, но многозначительным и редким в анналах суда инцидентом. Слово предоставлено товарищу прокурора, но проходит томительная минута полного молчания. Все настораживаются, а недоумевающий председатель начинает подавать признаки заметного нетерпения, когда, наконец, раздается тихий и сдержанный от волнения голос обвинителя.

— Я не скрою от вас, не могу скрыть, г.г. судьи и г.г. сословные представители, как тяжело при мысли, что мне приходится обвинять в преступлении писателя, давшего мне столько прекрасных, незабываемых минут в жизни... Ведь у меня под подушкой бережно хранились как сокровища и «Лес шумит», и «Слепой музыкант», и другие творения таланта Короленко. И сколько раз, просыпаясь ночью, я упивался музыкой этих произведений!.. То же самое пережили, вероятно, и вы, г.г. судьи, если не все, то некоторые...

Но сознание долга заставляет, конечно, обвинителя поддерживать обвинение, хотя он тут же делает защите существенную уступку, отказываясь от квалификации преступления подсудимого как «дерзостного» неуважения к верховной власти и ограничивается простой формой. Да и вообще после такого редкого в суде и лирического по характеру вступления обвинителю уже трудно было перейти на боевой и сильный тон, и он сосредоточил свой огонь на критике художественных форм и приемов и тенденциозной односторонности суждений самого Толстого, а против подсудимого поддерживал огонь обвинения лишь в той мере, чтобы не дать ему погаснуть.

Считаясь с этим и идя навстречу обвинению, и защита ограничилась лишь небольшой, но яркой и талантливой речью Грузенберга, сопоставившего образ могущественного императора, баловня судьбы, спасителя Европы с образом безродного и бесправного бродяги Кузьмича. Обрисовав с большой искренностью и душевным подъемом психологическую драму глубокого раскаяния императора в совершенном им преступлении против отца, ставшего к концу царствования нестерпимым, оратор считает решение его об уходе от власти и от мира и сочетание его с образом Кузьмича вполне логичным и обоснованным выходом из создавшегося положения. Другой

вопрос, насколько в действительности удалось императору привести в исполнение решение, аналогичное до известной степени решению самого Толстого, закончившемуся неожиданной кончиной яснополянского старца на железнодорожной станции Астапово. Но факт тот, что и в обществе, и при дворе, и в армии, и в народе многие крепко верили и верят до сих пор в действительность того, что так похоже на легенду... «И всё же, если бы всё это было даже только легендой, — закончил свою речь защитник, — она так близка и родственна русской душе и так пленительна, что меньше всего к ней можно подходить со статьей Уголовного Уложения...».

Остальную часть задачи принял на себя сам подсудимый, превратив отведенное ему законом «последнее слово» в блестящую и отлично обоснованную защитительную речь. Путем целого ряда исторических примеров Короленко доказал, что вопреки утверждениям обвинителя в одном сопоставлении императора с Кузьмичем нет и не может быть ни «дерзостного», ни иного оскорбления. И древний деспот Навуходоносор, превратившийся в одинокого пустынника, и царственный Экклезиаст, и Карл Габсбургский, и Марк Аврелий служат этому достаточным доказательством, не говоря уже о чисто русском лике Грозного Царя. Его наш Пушкин устами Пимена иначе не рисует как: — «Прииду к вам преступник окаянный — И схиму здесь честную восприму», а о других «царях великих» утверждает, что — «Златой венец тяжел им становился — Они его меняли на клобук»... Клобука императору Александру показалось мало, и он спустился ниже, но если это считать оскорблением верховной власти, то придется выкинуть очень много мест и из Псалтыря, и из Экклезиаста, и из многих исторических трудов, даже столь серьезных как Шильдер и вел. князь Николай Михайлович, ибо Шильдер допускал правдивость отождествления императора Александра с Кузьмичем, считая императора «сфинксом, неразгаданным до гроба, и самым трагическим лицом русской истории», а великий князь, стоявший близко к императорской семье, хоть и не верил в существование Кузьмича, но как только цензурные условия позволили, полностью развенчал шаблонный и одобренный цензурой образ Александра Благословенного.

«Закон снял преграды предварительной цензуры, и историческая истина хлынула многоводною рекою, — сказал в заключенье подсудимый. — И вот за то, что мы поместили в портретную галлерею исторических фигур образ Александра I-го осиянным святостью кающегося грешника, редактор

«Русского Богатства» сидит на этой скамье в качестве подсудимого. Историческая правда, как и художественная и научная, имеет свои права, и мы ждем, что приговор Палаты сметет ненужные преграды»...

Короленко умолк, и судебный зал зашевелился. Наступил решающий момент процесса — вынесение приговора. Крашенинников поднялся первый, а за ним потянулись гуськом судьи. Совещание их не длилось дольше 10-12 минут. Зал замер и в глубокой тишине раздались слова приговора. Палата вняла голосу Короленко и убеждениям его защитника и, оправдав подсудимого, освободила и журнал от конфискации, обязав издателя исключить из текста 18 строчек, трактовавших о «несчастии родиться в царской семье»...

В местах для публики раздался взрыв аплодисментов, прерванный угрозой председателя очистить зал, и публика с шумом ринулась в корридор. Здесь уже образовалось целое кольцо, окружившее писателя, которому крепко жали руки и долго не давали уйти.

Мой судебный очерк начинает перерастать задуманные размеры, но я чувствую, что не исполнил бы своего долга перед читателями, не рассказав хотя бы вкратце о другом судебном эпизоде, в котором еще ярче, чем в рассказанном выше, отобразилась необычайная личность покойного писателя.

В ближайшем же, 1913-ом, году Короленко вновь привлекался к суду той же Петербургской Судебной Палаты в слегка видоизмененном составе, но не по 128-ой, а 129-ой статье Уголовного Уложения, грозившей тем же наказанием за помещение в «Русском Богатстве» статьи Елпатьевского «Люди нашего круга». Обвинительный акт вменял подсудимому в вину на этот раз «возбуждение классовой вражды» в населении государства российского, но вся тяжесть наказания отпадала, заменяемая простым штрафом, если на суде было бы доказано, что статья попала в журнал в отсутствие редактора и без его предварительного ознакомления с ее содержанием. В этом случае обвинение сводилось к простой небрежности или недосмотру со стороны редактора, и грозил только штраф. И оказалось, что так оно фактически и было. Целый год до появления статьи Елпатьевского Короленко пробыл в Полтаве и статьи этой в глаза не видал, а увидел ее только, когда она уже была напечатана.

Раздобыв из Полтавы соответствующую справку адресного стола, Грузенберг спокойно дожидался наступления дня слушания дела и, пригласив писателя к себе незадолго до

этого, изложил ему весь, на этот раз и легкий и простой, план защиты, сводившийся к известной поговорке: «без меня меня женили». Защитник не преминул при этом указать подсудимому, что закон освобождает его даже и от личной явки на такое формальное разбирательство... Но по мере развития плана защиты Грузенберг с удивлением замечал, что речь его на этот раз наталкивается на явное сопротивление любимого клиента. Короленко не только отвергал свое право не явиться на заседание суда, предоставив всё защитнику, но настаивал на том, что он явится в суд и примет судебный бой во всём его объеме.

— Я не считаю себя вправе уклоняться от ответственности по формальным основаниям, — категорически и твердо заявил он побледневшему от волненья Грузенбергу, сразу почувствовавшему, что весь его расчет на «благоразумие клиента» провалился.

— Я редактор, и я в ответе за всё, что печатается в моем журнале, — заявил Короленко.

— Вы и будете в ответе, как редактор, допустивший появление статьи по недосмотру. Для ответственности редактора требуется по закону предварительное ознакомление с содержанием статьи, а вы до появления статьи в журнале о ней понятия не имели и ее в глаза не видели. За меня правда, а за вас голый принцип, — горячо убеждал его Грузенберг.

— Правда то, что статьи Елпатьевского я, действительно, не читал, но правда и то, что я обязан был ее прочесть, — значит читал! — упорно настаивал на своем Короленко.

Зная характер и убеждения моего петербургского патрона, Грузенберга, я мог бы смело утверждать, что если не во всех, то в огромном большинстве случаев он либо настоял бы на своем, либо отказался от судебного выступления. Но не таков был случай с Короленко, пользовавшимся не только огромным его уважением, но и глубокой симпатией, граничившей с каким-то дружеским обожанием. Я бы сказал, что перед святостью принципов и убеждений Короленко Грузенберг попросту преклонялся. Поэтому он с глубокой грустью и печалью вынужден был признать свое поражение и принять, скрепя сердце, план судебной защиты Короленко.

Поглядев вслед спускавшемуся с лестницы писателю, он вдруг шепнул мне с невыразимой грустью: — Посмотрите на эти плечи! Крепкие еще недавно, они уже опустились и сгибаются... Зачем же он губит себя, обрекая на сидение в эти годы в каменном мешке?

— Неужели вы не надеетесь на оправданье? — спросил я.

— Нет, с его планом защиты оправданье безнадежно.

Настал день суда, оправдавший пессимизм Грузенберга, к счастью, не полностью. Судебная Палата на этот раз долго совещалась и либо в чем-то разобралась, либо оказалась очень совестливой, но Короленко «честно заработал», по собственному позднейшему его выражению, две недели заключения в крепости. В Сенате, куда дело это перешло по жалобе Грузенберга, Короленко попрежнему поддерживал свою солидарность с содержанием статьи Елпатьевского, и приговор Палаты утвердили. Казалось порою, что он жаждет поскорее приступить к отбытию наказания, до того он волновался, почему приговор не приводится в исполнение. Но на этот счет у Грузенберга были свои соображения, и общими усилиями канцелярии и его помощников делалось всё, чтобы путем письменных и личных просьб, юридических тонкостей и ухищрений во что бы то ни стало добиваться отсрочек отбывания наказания для Короленко, некстати расхворавшегося и всё же каждый день готовившегося к переезду в Выборгскую крепость.

Между тем неожиданно зародившиеся в судебных кругах слухи об амнистии, на которую рассчитывал Грузенберг, перешли в уверенность, и настал желанный день, освободивший в числе других от наказания и Короленко. Чудом спала тяжесть наказания с его плеч, но крепкий организм стал сдавать, здоровье пошатнулось, а сердце писателя, чутко отзывавшееся на все невзгоды русской жизни, стало сильнее пошаливать. Теперь, по настоянию врачей, ему пришлось отказаться от участия в защите киевского мещанина Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве, делу которого он посвятил много времени и не мало забот и в оправдательном приговоре по которому, вынесенном простыми присяжными-крестьянами, он увидел еще одно доказательство правильности его глубокой веры в разум и сердце народа.

Революцию 17-го года Короленко встретил с тревожной надеждой, что «дымное туманное утро по весне может смениться и погожим днем».

В 1921 году Короленко скончался.

И. Цитрон

ЛЕНИНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

(Памятка к сорокалетию Коминтерна)

«Второй Интернационал мертв — писал Ленин 1 ноября 1914 г. — он выполнил свою задачу, организовав во время долгого периода мира пролетарские массы в Европе. Третьему Интернационалу предстоит организовать силы пролетариата для революционного штурма капиталистических правительств, для гражданской войны против буржуазии всех стран за политическую власть, за победу социализма».

Вряд ли Ленин думал тогда, что центром Третьего Интернационала будет Москва. Но после захвата власти в октябре 1917 г. и после германской революциии в ноябре 1918 г. вопрос о создании нового Интернационала стал для Ленина актуальной задачей дня.

«История ВКП» (Краткий курс) так объясняет образование 3-го Интернационала:

«В Европе начался революционный подъем. В Австрии развертывалось революционное движение. В Венгрии возникла Советская республика. На базе революционной волны вышли на поверхность коммунистические партии Европы... Создалась реальная почва для объединения компартий в Третий Коммунистический Интернационал». В результате, «в марте 1919 года в Москве на 1-ом конгрессе коммунистических партий был основан Коммунистический Интернационал... международная революционная организация нового типа»...

Эта версия требует существенных поправок. В марте 1919 г. революционная волна в Европе была не на подъеме, а на спаде. Кроме РКП существовала одна только коммунистическая партия — в Германии, бывший спартаковский союз, который, однако, был п р о т и в создания нового Интернационала. Никаких других коммунистических партий не существовало. Ленин колебался и далеко не был уверен в том, что из этой затеи что нибудь получится. Первый секретарь Коминтерна — Анжелика Балабанова — передает сказанные ей Лениным слова: «Вероятнее всего, что из всей этой истории ничего не выйдет». Оснований для пессимизма было достаточно.

По словам известного историка коммунизма — Ф. Боркенау, Коминтерн был основан «в смутной обстановке». Используя военно-пленных, которых удалось увлечь идеями «ленинизма», Москва тут же образовала «коммунистические партии» Австрии и Венгрии. Спартаковский союз в Германии, разумеется, был важнее всех других. Но лидеры этого Союза — Роза Люксембург, Левинэ, Тышко (Иогихес) и Пауль Леви категорически высказались против того, чтобы русские играли первую скрипку в Интернационале (Карл Либкнехт не успел высказаться по этому вопросу). Таким образом расчеты Ленина на Германию, где почва еще не остыла от революционных бурь, оказались совершенно не реальны: здесь Ленин встретил не помощь, а резкую оппозицию.

Фактически к образованию нового Интернационала стремились одни ленинцы. По этой же причине, вероятно, и метод созыва международного совещания был довольно необычный: наркоминдел Чичерин выпустил по радио воззвание «ко всем, всем, всем»... коммунистам с приглашением прибыть в Москву на совещание. Отозвался только Союз Спартака, пославший в Москву двух делегатов — Левинэ и Эберляйна — со строгим мандатом: ни в коем случае не соглашаться на создание нового Интернационала, а если же он всё-таки будет организован, то не присоединяться к нему. Левинэ был схвачен германской жандармерией на границе, а Эберляйн пробрался и явился в Кремль. Совещание было открыто. По словам Балабановой, предложение объявить совещание учредительным конгрессом нового Интернационала было сперва отвергнуто всеми. Особенно энергично возражал Эберляйн. Затем, после речи б. военно-пленного австрийца, настроение совещания изменилось.

Ленин понимал, конечно, что без участия немцев вся затея теряет смысл, а Эберляйн твердо держался своего мандата. Два дня — 2 и 3 марта — ушли на уговоры Эберляйна. На третий день он согласился воздержаться от голосования. Тогда было немедленно прокламировано рождение Коминтерна. Большая Советская Энциклопедия (1-ое изд.) так описывает муки родов:

«Первый конгресс Коммунистического Интернационала заседал в Москве от 2-го до 6-го марта 1919 года. Созвано было сперва обыкновенное совещание, которое постановило считать себя первым конгрессом Коминтерна. Первые два дня работы прошли в дискуссии о характере совещания».

Ленин был настойчив и наконец, всеми голосами при одном воздержавшемся, была принята резолюция: «Интернациональная коммунистическая конференция постановляет конституироваться как Третий Интернационал и принять наименование Коммунистического Интернационала». Это было 4-го марта 1919 года. В этом импровизированном «конгрессе» участвовало 35 делегатов, в числе которых были делегаты России, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, немцев Поволжья и «народов Восточной России» (?). Принятый «Манифест» подписали 17 делегатов, в том числе от Польши — Уншлихт, от Украины — Скрыпник, от Финляндии — Сирола, от немецких колоний Поволжья — Клингер и от «народов Восточной России» — Ялымов. Подписал и какой-то Макс Альберт, в качестве «делегата Германии». Все эти имена решительно ничего не говорили «мировому пролетариату», к которому они обращались. Руководивший «конгрессом» Ленин возвестил основную задачу Коминтерна: борьба за мировую диктатуру пролетариата. Он писал: «Основание Третьего Коммунистического Интернационала есть преддверие интернациональной республики Советов, международной победы коммунизма».

Новорожденный Коминтерн сразу взял твердый тон. Принятая им платформа признала «принцип» советской диктатуры, а весь созданный организм стал в подчинение к РКП, которая ведь знала «секрет победы пролетариата». Балабанова рассказывает, что ей по телефону сообщили из ЦК РКП, что она — «в порядке партийной дисциплины» — назначена секретарем Коминтерна: «единогласно решено». А затем, «спустя несколько дней я узнала, что ЦК РКП назначил Зиновьева председателем Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ)».[1]

Зиновьев постоянно проживал в Петрограде и лишь наезжал на заседания ИККИ. На деле всё решал ЦК РКП, который свои решения передавал секретарю и членам ИККИ для выполнения. В такой именно системе видели залог победы. Порой этот казенный оптимизм принимал буйный характер. Вот как, например, Зиновьев рисовал мировую перспективу: «Победа коммунизма во всей Европе совершенно неизбежна... Черная краска еще, может быть, там и сям на время победит

[1] Балабанова была видным членом ЦК итальянской социалистической партии и секретарем Циммервальдской конференции. Каким образом ЦК РКП мог ею распоряжаться «в порядке партдисциплины», она не объяснила.

красную краску. Но окончательная победа, тем не менее, достанется красному цвету. И при том — уже в ближайшие месяцы, может быть даже недели. Движение идет так головокружительно быстро, что можно с уверенностью сказать: через год мы начнем уже забывать, что в Европе была борьба за коммунизм, ибо через год вся Европа будет коммунистической. И борьба за коммунизм перенесется уже в Америку, а может быть и в Азию и в другие части света»...

На посту председателя ИККИ Зиновьев чувствовал себя главнокомандующим армиями перед генеральным сражением и указывал своему штабу основные линии своей стратегии:

«...социалистическая революция больше всего назрела во Франции и Италии... Жребий брошен. Натиск против твердынь капитализма начался. И он окончится полной нашей победой. Мы слышим уже треск рушащихся старых зданий капиталистической Европы... Условия для социализма созрели. Диктатура пролетариата поставлена в порядок дня во всем цивилизованном мире. Все нынешние наши неудачи покажутся нам через несколько месяцев ничтожными эпизодами по сравнению с теми великими победами, которые мы за это время одержим».

Когда произносились эти бравады, с севера наступал Юденич и с юга Деникин. Советская Россия была фактически под блокадой, перспективы Кремля были весьма неопределенные, а Зиновьев заливался соловьем...

Троцкий столь головокружительных побед не обещал, но и он не сдавал тона: «Своей октябрьской революцией русский пролетариат... заложил краеугольный камень в здание Третьего Интернационала... Мы являемся свидетелями и участниками одного из величайших событий мировой истории. Какое счастье жить и бороться в такое время»... Надо помнить, что Троцкий выступал тогда в роли «красного маршала», возглавляя вооруженные силы советов. Его слово было особенно веско. В сознании своей авторитетности Троцкий заявил конгрессу:

«...хотя мы сейчас даже не помышляем о том, чтобы напасть на Восточную Пруссию, но одно несомненно: если пробьет час и наши западные братья призовут нас на помощь, мы ответим: «мы здесь, мы за это время научились владеть оружием, мы готовы бороться и умирать за мировую революцию».

Это был призыв к восстанию и вексель на помощь оружием. Это был чистейший блеф, как это потом показали события у предместья Варшавы. Но сейчас всё шло в бравурно-

победном стиле. 28 марта 19 г. ИККИ выпустил «Манифест» — «Воззвание к рабочим и солдатам всех стран» и в нем председатель ИККИ Зиновьев дал директиву: «Солдаты! Не подчиняйтесь тем, кто шлет вас против Красной Венгрии. Восстаньте, устройте свои советы и переходите на сторону красной Венгрии...». Отклика не последовало. Венгерская советская республика была раздавлена, Бела Кун бежал в Москву... Прошло несколько месяцев и неунывающий Зиновьев вновь писал: «...перспектива революционной войны... становится совершенно реальной... Идея революционной пролетарской войны принимает самые конкретные телесные очертания... На наших глазах империалистическая война превратилась в гражданскую, сначала в одной России, а затем в ряде других стран... Грядет мировая пролетарская революция»...

Заверения были самые решительные, но заклинания не действовали и революция о себе не заявляла. Зиновьев, видимо, несколько растерялся, ибо чем иным можно объяснить заявление председателя ИККИ в его «Обращении ИККИ к союзу индустриальных рабочих мира», в котором утверждается без обиняков, что «социальная революция назрела, и история не станет ждать, пока все рабочие будут организованы... Ждать некогда. **Социалистическая революция уже наступила**». Был апрель 1920 г. и было непонятно: кому ждать некогда: истории или Зиновьеву? С другой стороны, если «социалистическая революция уже наступила», то на что сетует председатель ИККИ и кому он угрожает, что «история не станет ждать»? И чего ждать?.. Зиновьев нередко расходился с истиной, но так пересолить можно разве от растерянности.

6 марта 20 г. Ленин тоже говорил — в годовщину основания Коминтерна — на ту же тему:

«Крах капиталистических правительств неминуем... Нет ни одной страны в мире — даже самой неразвитой, где бы все мыслящие рабочие не присоединились к Коммунистическому Интернационалу, не примыкали бы к нему идейно. В этом полная гарантия того, что победа Коммунистического Интернационала во всем мире в срок не чрезмерно далекий — эта победа обеспечена».

Ленин только гарантировал победу, а Зиновьев в своем обращении «К рабочим Германии» от 25 марта 20 г. давал почти ультимативные приказы: «Вооружайтесь германские пролетарии! Всюду, где вы только можете достать оружие, берите его в свои руки! Стройте советы! Стройте Красную армию: не откладывайте дела ни на одну минуту, создавайте красные

отряды всюду где мыслимо... Да здравствует пролетарская революция в Германии и во всем мире».

Директива Зиновьева была логическим заключением прогноза Ленина и обещаний Троцкого.

**
*

В середине июля 1920 г. собрался второй конгресс Коминтерна. Он заседал в Москве от 19 июля до 6 августа. Как мы знаем, первый «конгресс» был ленинской фикцией и по существу только второй конгресс явился учредительным: на нем были представлены коммунистические партии и помимо РКП. На этом конгрессе были приняты устав Коминтерна и «21 условие» для приема в Коминтерн.

Коминтерн был построен по образу и подобию РКП, с той же «железной дисциплиной» и руководством сверху вниз. Здесь ИККИ играл роль Политбюро РКП. ИККИ, конечно, избирался конгрессом, и большинство его состояло из не-русских делегатов, но на деле политику Коминтерна определяли русские делегаты, а «братским партиям» оставалось только выполнять их постановления. Попытка оппозиции внутри какой-либо иностранной партии, без поддержки русских, была заранее осуждена на неудачу, а при поддержке РКП эта оппозиция становилась хозяином партии. Таким образом, действуя через ИККИ, Ленин прибрал к рукам «братские партии», которые должны были, по его плану, начать серию «мировой революции». Летом 1920 года Ленин рассчитывал, что дружественные Советской России рабочие партии окажутся у власти в Германии и Италии. В силу этих надежд в марте 21 г. в Германии произошел коммунистический путч. Он был подавлен, и тем самым вся стратегия Ленина была сведена на нет.

На втором конгрессе Коминтерна присутствовали 169 делегатов с решающим голосом и 48 — с совещательным. Это казалось импозантным, но на деле, по словам Ф. Боркенау, из всех представленных партий и организаций только одна стремилась стать тем, что русские большевики называли «настоящей коммунистической партией». Это была партия... болгарских «тесняков».[2] Надо еще отметить, что к Коминтерну охотно

[2] Болгарские социал-демократы раскололись в том же 1903 г., как и РСДРП. Большевистская часть партии, под руководством Д. Благоева, образовала партию «тесняков». В 1919 году «тесняки» преобразовались в Болгарскую коммунистическую партию. К числу вождей «тесняков» принадлежали Г. Георгиев и Г. Дмитров, будущий глава Коминтерна.

примыкали анархисты, которые считали, что Ленин проводит в жизнь программу Бакунина. Их объединяло с большевиками еще и то, что они считали социал-демократов предателями. А ведь разгром социал-демократов был необходимым условием победы.

Второй конгресс принял «Манифест», в котором впервые прокламировано исключительное значение первого советского государства для рабочего движения и рабочего класса всего мира:

«Вопрос о Советской России стал пробным камнем для всех организаций рабочего класса... Дело Советской России Коммунистический Интернационал объявляет своим делом. Международный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия не включится звеном в федерацию советских республик всего мира»...

«Рабочие и работницы, на земле есть только одно знамя, заслуживающее того, чтобы бороться и умирать под ним. Это — знамя Коммунистического Интернационала»

Под этим «Манифестом» подписи представителей 32-х организаций разных стран. За РКП подписали: Ленин, Зиновьев, Бухарин и Троцкий. Вернемся, однако, к основному: «21 условие»... Чтобы показать, в чем заключался «пафос» этих условий приведем немногие выдержки:

«п. 1... всюду, куда получат доступ сторонники 3-го Интернационала, необходимо систематически и беспощадно клеймить не только буржуазию, но и ее помощников, реформистов всех оттенков»

«п. 2... удалять со сколько-нибудь ответственных постов в рабочем движении... реформистов, работников «центра» и ставить вместо них надежных коммунистов»...

Пункт тринадцатый трактует о «железной дисциплине, граничащей с дисциплиной военной», а пункт 14-ый обязывает «...коммунистические партии... производить периодические чистки личного состава партийных организаций». Заключительный — 21-ый пункт гласит: «Члены партии, принципиально отвергающие обязательства и тезисы, выставленные К. И., должны исключаться из партии. Это относится и к делегатам экстренных партийных съездов». Режим был «оформлен»...

Кто-то из делегатов напомнил Зиновьеву его пророчество на первом конгрессе о грядущей мировой революции, и Зиновьев беззаботно ответил: «Ну что ж, пожалуй, в самом деле мы увлеклись. Пожалуй, и в самом деле, не год, а два и три года надо будет для того, чтобы вся Европа стала советской... Годом раньше, годом позже — потерпим еще немного, но мы будем

иметь международную советскую республику руководителем которой будет наш Коммунистический Интернационал».

Готовность ждать три года была для Зиновьева тех дней проявлением большого либерализма. 12-го августа 1920 г. Зиновьев выступил в Петроградском Совете Р. Д. с докладом о втором конгрессе. Он объяснял:

«Мы приняли устав К. И.; смысл его в том, что мы образуем *единую международную коммунистическую партию* во всем мире, которая имеет свои отделы... *Мы должны* создать железную дисциплину... Без строжайшей дисциплины мы в России погибли бы десять раз. В этой железной дисциплине заключается первая заповедь коммуниста».

Но на конгрессе оказались делегаты, которые не захотели лезть в хомут Зиновьева-Ленина. «Однако, — сообщал Зиновьев, — отдельные голоса, пытавшиеся говорить о «самодеятельности», об «автономии», о том, что нельзя допускать такую «зависимость» отдельных партий от Исп. Ком-та, прозвучали одиноко, и конгресс принял линию, которую выдвинула русская пролетарская революция», т. е. Ленин. И под занавес, для эффектного конца: «Я думаю, буду прав, если выражу уверенность, что Второй Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала был предтечей великого всемирного конгресса международных советских республик» (бурные аплодисменты).

В упомянутом уже «Манифесте» международное положение после Версальского мира было охарактеризовано, как замена доктрины Монрое — «Америка для американцев» — программой — «весь мир для американцев», ибо организация Лиги Наций является ни чем иным, как «мировой монопольной фирмой «Янки и Компания». И остается одно средство, чтобы предотвратить господство «янки» над миром: «Советская Германия, объединенная с Советской Россией, оказалась бы сразу сильнее всех капиталистических государств, вместе взятых».

Однако, советская Германия была мечтой неизвестного будущего, а в реальности шла совето-польская война и устами второго конгресса Ленин взывал о помощи:

«Нам нет надобности разъяснять вам, что Советская Россия не питает ни малейших завоевательных планов по отношению к польскому народу... Но пока в Польше правит клика капиталистических авантюристов и помещиков... пока капиталисты Антанты снабжают Польшу оружием, Советская Россия находится в состоянии оборонительной войны»...

«Второй мировой конгресс Коммунистического Интернационала шлет вам призыв: выйдите на улицу и покажите вашим правительствам, что вы не допустите никакой помощи белогвардейской Польше... Прекратите всякую работу, остановите всякое движение... Не пропускайте ни одного судна, ни одного поезда в Польшу»...[3]

В тот момент Ленин «прощупывал Польшу штыком», и Красная армия приближалась к Варшаве. Ленин имел стратегический план: разбить Польшу, стать у границ Германии, поднять войну против «Версаля»... Шло «головокружение от успехов»... Посему, наряду с «Воззванием к пролетариям и пролеткам всех стран», конгресс обратился и к Красной армии, заверяя ее, что — «вы воюете не только за интересы Советской России, но и за интересы всего трудящегося человечества... Ваш героизм никогда не забудется в истории. Знайте, товарищи: Красная армия есть сейчас одна из главных сил всемирной истории»... «Трудящиеся всего мира на вашей стороне. Близко время, когда создастся международная Красная армия»...

Это был стиль Зиновьева и это было похоже на буйное помешательство...

Но раз Ленин собирался вести гражданскую войну «в мировом масштабе», то понятна и особая резолюция конгресса «О роли коммунистической партии в пролетарской революции», весь смысл которой сводится к наставлению о том, что «в эпоху гражданской войны должно установить в своих рядах военную дисциплину». Вообще ни одна из резолюций не трактует об идеологии, а все поучают, как расколоть, отбросить, исключить и т. п.

Из опубликованного «краткого отчета» о первом месяце работы избранного И. К. мы узнаем, что «открывая заседание, председатель И. К. Зиновьев поставил представителям германских независимых следующие три вопроса: 1) находят ли они, что какой-либо из вопросов, интересующих Независимую Германскую партию, был недостаточно выяснен конгрессом; 2) считают ли они приемлемыми для себя условия приема в Коммунистический Интернационал, утвержденные конгрессом;

---

[3] В Данциге рабочие в порту отказались перегружать оружие, которое Франция посылала в Польшу, но это был результат влияния не Коминтерна и Ленина, а германского Рейхсвера и ген. фон Секта. Немцы всячески поддерживали Кремль в войне против Польши. Уже тогда готовился 4-ый раздел Польши.

3) как они относятся к поставленному конгрессом требованию об исключении из партии правых, социал-предательских элементов?».

Оказалось, что делегация независимых раскололась: Криспин и Дитман не были согласны ни с уставом Коминтерна, ни с пунктом об исключении из партии.

Любопытно сообщение о заседании ИККИ от 11 августа. Речь шла об итальянской партии. «Против исключения из партии Турати, Модилиани, Дарагона никто из итальянских товарищей не возражал... но они требовали подыскать «подходящий повод», «чтобы не потерять массы». Речь шла о признанных лидерах и строителях итальянской социалистической партии и страхи были не напрасны. Для «подходящего повода» было издано воззвание «К ЦК и всем членам итальянской социалистической партии», а также ко «всем революционным пролетариям Италии». В нем возвещается, что «приближаются решающие бои. Италия будет советской страной и итальянская партия будет коммунистической партией». Воззвание это подписали: Зиновьев, Бухарин и Ленин. Ни одной подписи иностранца. История, как известно, пошла «совсем наоборот»: Италия стала первым фашистским государством в Европе.

В центре внимания оставалась Германия, а здесь на пути к путчу лежала германская Независимая социал-демократическая партия. Оставалось ее расколоть, чем Москва и занялась. 28 сентября 1920 г. ИККИ обратился с пространным открытым письмом ко всем членам Независимой партии и к чрезвычайному съезду этой партии в Галле. Письмо требовало раскола и кончалось лозунгами: «Да здравствует здоровая революционная встряска для всех рабочих партий! Да здравствует очистка рядов рабочих партий от всех ненадежных элементов»... На съезде главным оратором коммунистов был Зиновьев, прибывший для сего из Москвы, которому и удалось добиться раскола на основе известных 21 условий приема в Коминтерн. Зиновьев остался весьма доволен и писал о съезде: «Значение 21 условия в том и состояло, что они должны были привести к резкому разграничению... Буржуазная демократия или пролетарская диктатура... — вот в сущности вопрос, приведший в Галле к расколу». И в объяснение всего, Зиновьев разоблачал, что «правые вожди германской Независимой с.-д. партии стали брататься с русскими шейдемановцами — с меньшевиком Мартовым и товарищами. Они поддерживали русский меньшевизм, т. е. контр-революцию». Встреча с Мартовым на конгрессе независимых вовсе не входила в расчеты Зиновьева.

Ленин энтузиазма не проявлял, вспомнил, что его «не понимали» и во времена «Искры», а сейчас «господа Дитманы, Каутские, Криспины, Гильфердинги в Германии, Лонге и Ко во Франции, Турати и его друзья в Италии, Макдональды и Сноудены в Англии и т. д. не понимают диктатуры, не умеют ее подготовлять, неспособны понять и осуществить ее». Дата: 20 октября 1920 г.

Ленин авторитетно декретировал:

«Когда нам эс-эры и меньшевики, Черновы и Мартовы преподносят рассуждение на тему о свободе и равенстве в пределах трудовой демократии... то (мы говорим им): свобода и равенство в пределах трудовой демократии и есть свобода для мелкого землевладельца — собственника... продавать излишки хлеба по спекулятивной цене, т. е. эксплуатировать рабочего... И с таким защитником пролетариат должен поступить, как с эксплуататором»...

Эта статья Ленина датирована 11 декабря 1920 г. Ленин не предвидел, что спустя всего три месяца он изменит всю свою экономическую политику, введет НЭП и... станет, согласно его же теории, «защитником эксплуататоров»... Это не помешало его директиве: «а меньшевиков и эсеров бережно держать в тюрьме».

Ставка на мировую революцию включала и Азию. Здесь Ленин играл на ущемленном национальном чувстве колониальных народов и рассчитывал таким образом обойти Европу с тыла. С этой целью был созван в Баку «Съезд народов Востока», который открылся 1 сентября 20 г. и на котором присутствовали 1891 представитель 32-х национальностей. Председательствовал Зиновьев, а доклады об «общем политическом положении» делали Зиновьев и Радек. Значительную роль играл бывший младотурецкий военный министр Энвер-паша. В своем докладе об этом съезде в ИККИ Зиновьев осведомлял: «В разговорах с Энвер-пашой я спросил, знают ли в Турции, что такое большевик? Турки говорят так: большевик — это человек, который является противником Англии, ответил Энвер. А как они относятся к тому, что большевики борются против богачей и помещиков? Это турок не интересует, ответил Энвер».

«Воззвание к народам Востока» выпущенное съездом, и трактует прежде всего об Англии. Это воззвание, которое подписал «председатель съезда Г. Зиновьев», обращается к английским капиталистам: «не пожрать вам, собакам, народов Востока... слишком большой кусок вы захватили, не по зубам

он вам окажется, и этим куском вы подавитесь...» Зиновьев, очевидно, подделывался под «изящный» стиль «народов Востока» и затем призывал: «Поднимайтесь все, как один человек, на **священную войну** с английскими завоевателями»... «В этой священной войне с вами будут все революционные рабочие и все угнетенные крестьяне Запада... Да горит неугасимым огнем священная война народов Востока и трудящихся всего мира!».

Пафос Зиновьева пропал вотще: мусульманским миром он услышан не был, и священная война Англии объявлена не была, но вскоре после бакинского съезда началось восстание басмачей не против Англии, а против Советской России и во главе этого восстания стоял... Энвер-паша.[4] Больше о съезде народов Востока не было речи.

***

Март 1921 года был для большевиков катастрофическим: внутри — крестьянские восстания почти по всей стране и восстание матросов в Кронштадте, а вовне — провал попытки восстания в Германии и, как результат, раскол германской коммунистической партии. Под влиянием этих ударов Ленин круто изменил свою политику: в России был введен НЭП, т. е. государственный капитализм, а вовне Коминтерн признал, что «революционная ситуация» в Европе кончилась. Ленин перешел на рельсы «мирнообновленчества». Спустя год был подписан в Рапалло совето-германский договор, изменивший всё международное положение.

В результате, весной 1922 года была прокламирована тактика т. н. «единого фронта» и была сделана попытка сговора трех Интернационалов: Второго, Венского и Третьего, которая кончилась полным провалом.

В 1921 году началось оживленное совето-германское военное сотрудничество, которое протекало в глубокой тайне, но не могло не отразиться и на деятельности Коминтерна, ставшего к этому времени орудием внешней политики Москвы.

---

[4] После Первой мировой войны, младотурки — великий визирь Талаат и военный министр — Энвер-паша бежали в Германию, где они связались с Радеком и ген. фон Сектом. По инициативе Радека и с благословения Секта, Энвер вылетел в октябре 1919 года в Москву для переговоров с Троцким о военном сотрудничестве Рейхсвера с Красной Армией, что и было потом осуществлено.

Накануне созыва 3-го конгресса, ИККИ выступило 7 мая 1921 г. с воззванием «К пролетариям всех стран», в котором имелась прямая угроза «версальцам»: «Пусть по ту сторону Вислы и Эльбы, по ту сторону Рейна и Ламанша раздастся живой отклик: Долой версальских разбойников...». В развивавшемся франко-германском конфликте Коминтерн встал на защиту Германии, толкая ее на активное сопротивление Антанте: «Антанта — с французским правительством во главе — собирается затянуть петлю на шее Германии... Германский народ не должен оставаться хладнокровным...». Другое воззвание ИККИ начинается: «Долой рабское иго Антанты!» и так же кончается. Немцы же призывались «к новым боям».

22-го июня 21 г. в Москве, в Большом театре, открылся третий конгресс Коминтерна. На открытии Зиновьев сказал: «...мы уверены, что недалеко то время, когда все без исключения капиталистические тюрьмы будут разрушены восставшими народами»... Зиновьев, как мы видели, всегда говорил «в мировом масштабе». Вспомнив про бакинский съезд, председатель ИККИ заверил конгресс, что «с тех пор влияние К. И. в странах Ближнего и Дальнего Востока возросло и растет с каждым днем... Это залог того, что революция будет не только европейская, но... мировая». Здесь Зиновьев держал знамя высоко. Но после конгресса он как-то сразу завял и впал в минор. Он писал:

«Не будучи пророком, никто из нас не может сказать точно, сколько месяцев или лет (!) пройдет до первой новой победы пролетарской революции в первой из тех крупных стран, которые действительно определяют судьбы мировой революции. Но одно мы знаем твердо... революция не кончена, не так далеко время, когда начнутся новые бои, которые потрясут Европу и весь мир гораздо больше, чем все предыдущие бои вместе взятые»... «Наша основная перспектива... *неизбежность новой революции*» (курсив подлинника).

Тут Зиновьев уже страховался на все случаи жизни...

Главным оратором на 3-м конгрессе был Ленин, который взял на себя трудную задачу объяснить делегатам новую тактику после НЭПа. Речь Ленина была очень обстоятельна и интересна, но мы вынуждены ограничиться одной, хотя и длинной, выдержкой из этой речи:

«Когда мы в свое время начинали международную революцию, мы это делали не из убеждения, что мы можем предварить развитие революции, но потому, что целый ряд обстоятельств побуждал нас начать эту революцию. Мы думали: либо международная революция придет нам на помощь — тогда наши победы вполне обеспечены;

либо мы будем делать нашу скромную революционную работу в сознании, что в случае поражения мы всё же послужим делу революции, и что наш опыт пойдет на пользу другим революционерам. Нам было ясно, что без поддержки международной мировой революции, победа пролетарской революции в России невозможна. Мы еще до революции, а также и после нее, думали, что либо сразу, или по крайней мере очень быстро, наступит революция в остальных странах, капиталистически более развитых, либо мы должны погибнуть. Несмотря на это сознание, мы делали всё, чтобы при всех обстоятельствах, во что бы то ни стало, сохранить советскую власть, *так как мы знали,* что мы работали не только для себя, но и *для международной революции*»...

«...но в действительности движение шло не так прямолинейно, как мы этого ожидали. В других крупных капиталистически наиболее развитых странах революция еще до сих пор не наступила. Правда, революция развивается... во всем мире... Окончательный вывод следующий: *развитие международной революции, которую мы предсказывали, идет вперед.* Но... не так прямолинейно, как мы того ожидали»... (курсив подлинника).

После этого Ленин перешел к описанию внутренних затруднений. Он говорил, что «трехлетняя гражданская война создала громадные затруднения, но она в известном отношении облегчила нашу задачу. Это, может быть, звучит странно, но это так». Он признает, что «в Сибири и на Украине крестьяне были против нас, против большевиков. Крестьяне нередко заявляли: мы большевики, а не коммунисты. Мы большевики, потому что они прогнали помещиков, но мы — не коммунисты, потому что коммунисты против индивидуального хозяйства». Ну а после гражданской войны, признает Ленин, «лишения крестьян стали невыносимыми». Пришлось показать крестьянам, что «большевики — это люди, которые хотят улучшить невыносимое их положение, чего бы это ни стоило». «Таким образом — заключает Ленин — и пришло изменение нашей экономической политики: на место реквизиции стал натуральный налог!» «Дабы пролетариат мог удержать власть, единственное средство, которое мы для этого нашли, был переход к натуральному налогу».

Ленин не скрывал от конгресса социальную сущность НЭПа. «Это — сказал он — означает свободу капитализма... Это есть государственный капитализм» и он сделал отсюда неожиданный политический вывод: «Вся буржуазия помогает теперь меньшевикам и эс-эрам... Поэтому мы должны продолжать

беспощадную борьбу против этих элементов»... Когда вопрос шел об его власти, Ленин логику начисто отменял.

Третьему конгрессу пришлось констатировать, что его попытки поднять революцию в Европе не удались, и ставку на мировую революцию, как задачу дня, приходится оставить. На время Коминтерн заменил Запад Востоком, но тут его успехи приняли экзотический характер. На заседании конгресса персидский делегат Джевадзе объяснял: «Вас удивляет, что во многих восточных странах имеется по нескольку коммунистических партий, как напр., в Турции — три, в Персии — две, в Корее — две и т. д. Это объясняется тем, что каждый паша, каждая группа властителей организует свою собственную коммунистическую партию и хочется использовать коммунизм для своих целей»... Признаков «мировой революции» не оказалось и на Востоке. В этих условиях оставалось только изменить тактику и попытаться сговориться с социалистическими партиями Запада. Необходимо было пробиться к массам, и Радек выдвинул идею «единого фронта».

НЭП в соединении с «единым фронтом», государственный капитализм внутри и союз с «социал-предателями» вовне вызвал, повидимому, большое недовольство у ряда делегатов конгресса, которые раньше принимали за чистую монету все бравады Зиновьева и пророчества Ленина. Лишь недавно опубликована речь Ленина на совещании членов немецкой, польской, чехословацкой, венгерской и итальянской делегаций на 3-м конгрессе, которое состоялось 11 июля 1921 г. Из текста с несомненностью следует, что оно было созвано с целью успокоить взволнованные умы делегатов, а может быть и начинавшееся брожение. Он начал так: «Вчера я прочитал в «Правде» некоторые сообщения, убедившие меня в том, что момент наступления возможно ближе, чем мы полагали на конгрессе и за что на нас так обрушились молодые товарищи»... Он напомнил присутствующим о своей статье «О двоевластии», в которой он писал, что «мы не хотим управлять с меньшинством рабочего класса против большинства», а в другой статье он настаивал на том, что лозунг «Долой Временное правительство», является неверным лозунгом, «ибо если не иметь за собой большинства народа, этот лозунг станет либо фразой, либо авантюрой». Получалось впечатление, что «Октябрь» был результатом народного голосования... Затем он напомнил о положении в стране: «мы ведем теперь войну с мелкой буржуазией, с крестьянством, войну экономическую, которая для нас гораздо опаснее, чем прошлая война». Исходя

из всего сказанного, Ленин требовал координации наступления в важнейших странах: Германии, Чехословакии, Италии... «Европа беременна революцией, закончил Ленин, но составить заранее календарь революции невозможно». («Вопросы истории КПСС» № 5, 1958 г., стр. 15-17).

Новая тактика «единого фронта» оказалась столь же нереальной, как и прежний путчизм, ибо, говоря словами Боркенау, «они хотели продолжать свою революционную политику и в то же время вкушать плоды не-революционной политики». Другой авторитетный историк большевизма, Артур Розенберг, пишет, что «курс 3-го Интернационала, который вел к поражению и развалу, был установлен Лениным на 3-м конгрессе... и привел к распаду 3-го Интернационала».

Как бы то ни было, но весною 1922 года Коминтерн вступил в переговоры с Венским Международным Объединением («2½ Интернационал») и с Вторым Интернационалом на предмет объединения. Однако, переговоры сейчас же наткнулись на непреодолимые препятствия. Ленин и не думал отказываться ни от своей однопартийной монополии, ни от террористической политики по отношению к другим партиям. Но такой отказ был необходимым условием возможного единства не только в России, но и во всем мире. В это время в Москве шел процесс ЦК ПСР, и диктаторы вели его с явной целью расстрела эс-эров. Поэтому, на первом же заседании конференции в Берлине представителей трех Интернационалов, была оглашена «Декларация» Венского объединения, что «образование действительно-пролетарско-единого фронта... удастся лишь в том случае, если споры между пролетарскими партиями будут вестись исключительно идейными средствами, и не будут отравляться тем, что одна партия пускает в ход против других террористические средства борьбы».

Это никак не отвечало «идеям» Ленина, и 22-го мая представители Коминтерна заявили о своем выходе из «девятки».[5] Попытка сговора оказалась мертворожденной.

На состоявшемся в конце 1922 г. (5/XI-5/XII) 4-ом конгрессе Коминтерна были представлены 58 стран, но речей о мировой революции уже не было. Мировую революцию заменила Советская Россия, и укрепление НЭПа стало делом международного пролетариата. В резолюции, принятой конгрессом по докладу Ленина, читаем:

---

[5] Так называли конференцию трех Интернационалов, каждый из которых был представлен тремя делегатами.

«Советская Россия остается для мирового пролетариата богатейшей сокровищницей исторического революционного опыта». Посему «во всех странах должны выдвинуть следующие лозунги: руки прочь от Советской России, юридическое признание Советской России, всесторонняя и реальная поддержка ее хозяйственного восстановления».

Центральная идея Сталина о «построении социализма в одной стране» родилась, по существу говоря, еще при Ленине, когда мировая революция была подменена Советской Россией.[6]

Клара Цеткина писала после 3-го конгресса Коминтерна: «В ленинской России, начиная с 1921 г., существовали рядом государственно-капиталистическая реальность и пролетарская мифология», а после 4-го конгресса она же об этой «мифологии» писала: «От судьбы пролетарского государства зависит участь рабочих, эксплоатируемых и порабощенных всех прочих стран».

Повидимому, не все делегаты 4-го конгресса соглашались поставить Коминтерн на службу Кремлю и возникал роковой вопрос: кто кому служит?.. Зиновьев отвечал: «Кто у кого находится на службе: Советская Россия у мировой революции или мировая революция у Советской России? Советская власть у Коминтерна или Коминтерн у советской власти? Мудрецы! Что 'служит' чему: фундамент дома его крыше или крыша его фундаменту?». Это было мало утешительно... Обещали немедленную мировую революцию, а вместо того на шестом году развивают у себя государственный капитализм и суют иностранному капиталу концессии. Это грозило Коминтерну развалом, и партийные теоретики были призваны объяснить, что же, собственно, произошло и почему. История пожелала пошутить, и с этими объяснениями выступил не кто иной, как бывший старый меньшевик А. Мартынов, который только в 1922 г. стал коммунистом. Вот его объяснения:

«Когда большевики готовились к октябрьской революции, они, учитывая экономическую отсталость России, предполагали в случае победы сделать только первые шаги к социализму. Когда они захватили власть и когда контр-революция их сразу охватила со всех сторон огненным кольцом, они пошли гораздо дальше, чем предполагали. Ведя отчаянную борьбу за власть с целым миром врагов, они для поддержания революционного пролетариата и для обеспечения про-

---

[6] В публикуемой сейчас новой «Истории коммунистической партии Советского Союза» сказано: «Вывод о возможности победы социализма в одной стране был сделан Лениным в 1915 году».

довольствием пролетариата и Красной армии, взяли прямой маршрут на коммунизм. Скажем прямо: они по этому пути пошли не только дальше того, что раньше сами предполагали, но даже дальше того, что требовалось условиями борьбы за власть, ибо они под впечатлением германских событий переоценивали близость социалистической революции на Западе. Октябрьская революция, таким образом, в одном отношении не избегла участи всех прошлых европейских революций, которые неизменно в своем бурном развитии «выходили за пределы экономически возможного по условиям места и времени»... «(поняв, что это) представляет величайшую опасность для революции, они (б-ки) вступили на путь новой экономической политики и вместо коммунизма взяли на ближайшую эпоху курс на государственный капитализм. Чудес на свете не бывает, и большевикам не удалось совершить того, что коренным образом противоречит нашему марксистскому пониманию истории: им не удалось... с одного удара превратить отсталую, на 2/3 крестьянскую страну в коммунистическое государство».

Какой же выход из трагической ошибки в расчете на мировую революцию?

Четвертый конгресс нашел, что «из всего... вытекает необходимость тактики единого фронта... Борьба за образование единого пролетарского фронта только начинается», грозил Коминтерн. «Общий лозунг — «рабочее правительство», а затем идет и программа этого правительства. На первом месте — помощь Советской России: политическая и экономическая:

«Четвертый конгресс — говорится в резолюции — считает обязанностью *всех* рабочих партий и организаций — прежде всего коммунистов — ...оказание немедленной помощи и реальной поддержки в деле восстановления хозяйства (России)».

«Важнейшая задача... заключается в собирании средств, необходимых для приобретения потребных Советской России машин, сырья, инструментов и т д.»

Разумеется, никакие пролетарские сборы не могли восстановить советского хозяйства, и тактика единого фронта провалилась, как и попытка его в 1922 году. Собравшийся, уже после смерти Ленина, 5-ый конгресс Коминтерна (17/VI-8/VII 1924 г.) признал провал тактики единого фронта. Пытаясь «спасти лицо», резолюция конгресса говорит, что «тактика единого фронта была и остается революционно-стратегическим маневром коммунистического авангарда». Революционная фразеология не меняла факта провала тактики и не была убедительна...

**
*

В годы войны, как известно, Коминтерн был ликвидирован и заменен Коминформом, который потом тихо скончался. Почему? Причина лежала в политическом развитии Европы. После того, как фашизм восторжествовал не только в Италии, но и в Германии, кончилась революционная фразеология о мировой революции, и с точки зрения «построения социализма в одной стране» Коминтерн оказался ненужным и потерял оправдание для своего существования. Никакими симпатиями в рабочих массах мира Коминтерн не пользовался, торжеству коммунизма в какой-либо стране в мире он не помог, влияния на иностранные правительства не имел и для внешней политики Кремля и налаживания нормальных отношений с другими государствами служил лишь помехой. Наличие Коминтерна только мешало советской дипломатии, как и мешало проникновению коммунизма в среду европейских и американских рабочих. В то же время он поглощал изрядные средства под флагом организации революционных восстаний. Никчемность Коминтерна для целей Кремля стала очевидной.[7]

На похоронах Ленина Сталин патетически воскликнул: «Клянемся тебе, Ильич, хранить Коминтерн». Сталин не был сантиментален. Когда он, во время войны, обнаружил, что Коминтерн ему не полезен, а то и вреден, то он ликвидировал его вместе с целым рядом его представителей, идеологов и вождей из «братских партий»...

О Коминтерне трудно даже сказать: «мавр сделал свое дело»... Коминтерн, правда, расколол рабочее движение в Европе, но, ведь не это была конечная цель Ленина. Для развития же рабочего движения этот раскол был не шагом вперед, а назад; разочарование и разложение были единственным результатом всей шумихи о «мировой революции»...

Б. Двинов

---

[7] После смерти Ленина Сталин созывал конгрессы Коминтерна еще три раза, главным образом для борьбы с оппозицией: 5-ый конгресс в 1924 году осудил «мировой» троцкизм, 6-ой — в 1928 г. осудил и исключил «правую» оппозицию Бухарина — Рыкова — Томского. 7-ой конгресс в 1935 г. прокламировал политику единого фронта.

РЕФОРМЫ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Обещанная 27 марта 1953 г., т. е. через несколько дней после смерти Сталина, реформа советской уголовной юстиции как будто совершилась. В «Известиях» от 26-го декабря 1958 г. напечатана целая пачка законов, накануне утвержденных Верховным Советом СССР. В этой пачке, помимо нескольких кратких и чисто формальных законов о введении в действие новых мер, мы находим; 1) Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик; 2) Закон о государственных преступлениях; 3) Закон о воинских преступлениях; 4) Основы законодательства о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик; 5) Положение о военных трибуналах и 6) Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик.

И всё-таки можно утверждать, что реформа еще не завершилась. Большая часть вышеперечисленных законов — это только «Основы». Их невозможно применять, пока союзные республики не издадут, в их развитие, кодексы — уголовный, уголовно-процессуальный и судоустройственный. И не только нельзя их применять, но даже окончательно судить о них. Из того, что «Основы» не говорят о некоторых одиозных институтах, нельзя вывести, что они окончательно исчезли. Так например, ст. 23 «Основ уголовного законодательства» дает перечень наказаний и не вводит в него «объявление врагом народа», известное действующему праву. Но статья кончается указанием, что союзные республики могут применять и другие наказания, кроме в ней перечисленных. И вот вдруг та или иная из этих республик, а то и все вместе дружным хором заявят, что мера эта очень подходит к злостным расхитителям общественной собственности или к авторам крамольных книг, вроде «Д-ра Живаго».

В законах 25-го декабря проступает раздвоение советского уголовного права (в широком смысле) на союзное и союзно-республиканское, история которого вкратце такова. Первоначальные кодексы — уголовный, уголовно-процессуальный и судоустройственный (1922-23 г.г.), были актами

отдельных республик, из коих потом сложился СССР. В 1924 г. были изданы союзные «Основы уголовного права», в соответствии с коими были разработаны и изданы кодексы отдельных республик, правда похожие друг на друга, как две капли воды. В 1936 г. сталинская конституция отнесла судоустройство, уголовное право и процесс к компетенции СССР. Начались работы по составлению союзных кодексов, но по причинам, на которых здесь не приходится останавливаться, они никогда не завершились, за одним исключением — в 1938 году было издано союзное положение о судоустройстве, строго централизовавшее судебную систему. Преемники Сталина признали за благо несколько ослабить централизацию. 11-го февраля 1957 г. был издан закон, который отнес к ведению союзных республик законодательство об устройстве суда, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. На следующий день было издано положение о верховном суде СССР, роль которого была значительно сужена.

И вот теперь изданы вышеперечисленные законы. «Возвращается ветер на круги свои», — к тому положению вещей, которое существовало с 1924 по 1936 г.г. Но то, что сейчас сделано, — это лишь первая часть программы, намеченной в 1957 г. Вторая часть, самое издание кодексов, еще впереди. Сколько на это потребуется времени, сказать нельзя. Может быть, всё уже готово и ближайшие сессии верховных советов республик родят пятнадцать близнецов. А может быть отдельные пункты еще не договорены; тогда возможна новая и длительная задержка.

Не будем забегать в будущее и займемся тем, что уже состоялось. Сравнение «Основ уголовного законодательства» с общей частью уголовного кодекса 1926 г. (с изменениями, внесенными многочисленными дополнительными актами) показывает только одну крупную перемену: отменено наказание по аналогии, т. е. за деяния, не предусмотренные уголовным законом, но представляющие равную — с теми деяниями, которые в нем предусмотрены, — степень общественной опасности. В отличие от статьи 16 уголовного кодекса, ст. 1 «Основ», во второй своей части, гласит: «Уголовное законодательство СССР и союзных республик определяет, какие общественно опасные деяния являются преступными, и устанавливает наказания, подлежащие применению к лицам, совершившим преступления». Статья 3 продолжает: «Уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления, т. е. умышленно или по неосторож-

ности совершившее предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние. Уголовное наказание применяется только по приговору суда». Чтобы окончательно убедить суды, что права наказывать по аналогии у них больше нет, введена еще статья 7, которая (в сокращенной форме) гласит: «Преступлением признается... посягающее на социалистический правопорядок деяние, предусмотренное уголовным законом». По существу — всё это возврат к знаменитой статье 1-ой Уголовного уложения 1903 г., которая читалась так: «Преступным признается деяние, воспрещенное, во время его учинения, законом под страхом наказания». Но характерна разница в языке: «Основы» косноязычны и многословны, тогда как статья 1-ая «таганцевского» уложения звучит как плавный и потому легко запоминающийся период, в котором каждое слово имеет свой определенный смысл.

Это сравнение нового советского законодательства с уложением 1903 г. делается не спроста. Несколько лет назад, в связи с полемикой с некоторыми американскими профессорами, которые прославляли советское уголовное право и рекомендовали своим соотечественникам взять его за образец, я проделал тщательную работу по сравнению уголовных кодексов 1922 и 1926 г.г. с уложениями императорской России, и пришел к выводу, что там, где не было политических противопоказаний, законодатели 20-х годов просто брали тексты Уголовного Уложения 1903 г., иногда, впрочем, устава о наказаниях 1864 г. или уложения о наказаниях 1845 г., а в иных случаях даже свода законов уголовных 1832 г., и из всех этих текстов довольно неуклюже слепили советское уложение.

Интересно, что дух уголовного уложения продолжает витать и сейчас, более чем через сорок лет после лишения его силы. Это проступает например в статьях 9 и 17 «Основ». Статья 9 (в отличие от ст. 10 уложения 1926 г.) определяет неосторожность как непредвидение возможности наступления общественно опасных последствий, хотя виновное лицо должно было или могло их предвидеть. Это (за исключением ничего не говорящих слов «общественно опасные») — возвращение не к тексту уголовного уложения, а даже к более либеральному проекту, переделанному Государственным Советом, тогда как кодекс 1926 г. отступал от уголовного уложения в обратную сторону, расширяя понятие преступной небрежности.

В ст. 17 «Основ», говорящей о соучастии, в отличие от кодекса 1926 г. не признается более пособничеством помощь, оказанная после учинения преступления, если она не была за-

ранее обещана. Так было и по Уголовному Уложению 1903 г., тогда как кодекс 1926 г. вернулся к более суровому уложению о наказаниях 1845 г.

Гораздо более многочисленны случаи, когда «Основы» просто переписывают постановления уголовного кодекса 1926 г., а те оказываются перепевом постановлений Уголовного Уложения 1903 г. Это имеет место по вопросу о невменяемости, о необходимой обороне (определение которой уточнено), крайней необходимости, приготовлении и покушении. По вопросу о приготовлении и покушении, за годы действия советской юстиции, состоялось приближение практики к тому, что предусматривалось уголовным уложением, текст которого был испорчен советскими законодателями двадцатых годов. Вероятно, практика эта удержится и после введения в действие ныне принятых законов.

Существенные изменения произведены «Основами» в правилах об ответственности несовершеннолетних. Тогда как по действующему праву несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут быть подвергнуты **всем** наказаниям, установленным кодексом, а в случае убийства, кражи и некоторых других преступлений этой участи могут подвергнуться и 12-летние дети, статья 10 «Основ» устанавливает, что, по общему правилу, лица, не достигшие 16 лет, вместо наказаний подвергаются принудительным мерам воспитательного характера; однако, лица от 14 до 16 лет, учинившие особо перечисленные преступления могут быть подвергнуты общим наказаниям (за исключением смертной казни). С другой стороны, к лицам от 16 до 18 лет могут быть применены, вместо наказания, меры воспитательного характера, если деяние не представляет большой опасности, а исправление виновного возможно без применения наказания. Согласно другим статьям «Основ», несовершеннолетние отбывают наказание лишением свободы только в специально для них организованных колониях. Досрочное освобождение может быть применено к ним через более короткий срок, нежели к совершеннолетним преступникам. Некоторый прогресс несомненен; но как далеко всё это от тонкой системы мер, разработанных в передовых странах Запада, особенно в Швеции, Дании и Голландии.

Список наказаний, как уже было упомянуто, сокращен исключением из него объявления «врагом народа». Отпало также временное удаление из пределов Союза, а также лишение избирательных прав; это последнее потребовало даже изме-

нения конституции, что сделано всё в тот же день 25-го декабря. Смертная казнь сохранена приблизительно в тех же пределах, как в действующем праве, включая предумышленное убийство с отягчающими вину обстоятельствами. Лишение свободы может быть назначено на срок до 10 лет, а в исключительных случаях до 15 лет вместо 25 лет, как то было по новеллам 1937 и 1947 г.г. Это наказание будет применяться (как и сейчас) в двух главных формах — заключения в исправительной колонии или заключения в тюрьме. Довольно путаная ст. 23 «Основ» может быть расшифрована так. Суд может выбрать или ту, или другую форму отбывания наказания, или же постановить, что известный срок осужденный проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию. Тюрьма на весь срок может быть назначена лицам, совершившим тяжкие преступления, а также особо опасным рецидивистам. После отбытия половины срока тюремного заключения, заключенный может быть, в случае примерного поведения, переведен в колонию. Напротив того, лица, злостно нарушающие режим, установленный в колонии, могут быть, по постановлению суда, переведены в тюрьму на срок до трех лет.

Конфискация имущества сохранена, но только за государственные и тяжкие корыстные преступления в случаях, указанных законом (ст. 30). Точный объем ее применимости определится только по издании уголовных кодексов союзных республик.

Смягчение наказания ниже установленного законом низшего предела, в отличие от действующего права, становится возможным по всем делам.

Условное осуждение сохранено приблизительно в том же объеме, в каком оно известно действующему праву. Но сделано любопытное добавление: общественным организациям и коллективам, членом коих состоит обвиняемый, предоставлено право ходатайствовать перед судом о применении к нему условного осуждения; в случае благоприятного решения суда, этот последний вправе возложить на организацию или коллектив обязанность по перевоспитанию и исправлению условно осужденного.

Условное досрочное освобождение, введенное указом президиума Верховного Совета от 2-го сентября 1954 г. по «Основам» будет допускаться по отбытии половины срока, кроме особенно опасных государственных преступлений, а также других тяжких преступлений, предусмотренных законами со-

южных республик, когда освобождение будет возможно лишь по отбытии двух третей срока (ст. 44); по действующему праву, требуется отбытие двух третей во всех случаях. К особо опасным рецедивистам мера эта становится вообще неприменимой. Излишне мягкое обращение с ними было заклеймено тремя из пяти ораторов (включая докладчиков), высказавшихся в Верховном Совете по всей пачке законов. Они указывали, что в порядке «зачета рабочих дней», вопреки закону, многие лица совершившие тяжкие преступления, возвращаются домой через краткие сроки. Докладчики заявили, что по новому законодательству это станет невозможным; но из опубликованных текстов этого не видно, ибо о практике зачета рабочих дней они молчат.

Постановления о погашении судимости (реабилитации) либерализированы допущением этой меры по всем преступлениям; по действующему праву это возможно лишь в случае маловажных преступлений.

Этим исчерпываются все мало-мальски значительные изменения в уголовном праве, произведенные «Основами». Но к уголовному праву в тесном смысле относятся и законы о государственных и воинских преступлениях. Понятие государственных преступлений вводится вместо контр-революционных преступлений. Точнее говоря, последним соответствуют «особо опасные государственные преступления», предусмотренные первым разделом рассматриваемого сейчас закона, тогда как второй и последний его раздел, озаглавленный «иные государственные преступления», покрывает то, что в действующем праве называлось «особо опасными преступлениями против порядка управления». К первым отнесены «измена родине», которой покрываются разнообразные деяния, включающие бегство за границу, отказ возвратиться из-за границы с целью причинить ущерб советскому союзу, оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против советского союза, а также заговор с целью захвата власти. Далее, к особо опасным государственным преступлениям отнесены «диверсия», террористические акты, вредительство, антисоветская пропаганда и агитация. «Иные государственные преступления» представляют набор довольно разнородных деяний, как-то: разглашение государственной тайны, утрата секретного документа, массовые беспорядки, нарушение национального и расового равноправия, бандитизм, контрабанда, незаконный въезд в пределы СССР и выезд за границу, подделка денег и ценных бумаг и недонесение о специ-

ально оговоренных государственных преступлениях. В качестве санкций часто мелькает смертная казнь.

Всё это — в прежнем духе советского терроризма. И всё же есть существенное нововведение. «Основы» не повторяют пресловутой статьи 58 со значком I, кодекса 1926 г., которая давала общее, воистину каучуковое, определение контр-революции, позволявшее подвести под него что угодно и покарать по ст. 16 об аналогии; в связи с отменой последней отброшена и эта статья. Список государственных преступлений остается широким, но делается ограничительным. Из старого списка отпала наказуемость родственников военнослужащих, виновных в побеге за границу, равно как наказуемость борьбы против рабочего класса при царском режиме или во время гражданской войны (очевидно за истечением многолетней давности), и нескольких других составов преступления. Однако, в связи с незавершенностью реформы эти «минусы» могут и исчезнуть: зачеркнутые преступления могут вновь оказаться в кодексах союзных республик.

Закон о воинских преступлениях почти без перемен повторяет главу о них, введенную в кодекс декретом 9-го января 1927 г. и дополненную в указе 15-го февраля 1957 года восьмью новыми составами, из коих любопытно отметить нарушение правил вождения или эксплоатации машин, нарушение правил о полетах или кораблевождения, сдачу противнику средств ведения войны, добровольную сдачу в плен и добровольное участие военнопленного в работах противника, имеющих военное значение.

«Основы судоустройства» коснулись той единственной сферы права, в которой сталинская программа правовой централизации была проведена полностью; поэтому новый закон подлежит конкретизации в порядке законодательства союзных республик. Из вопросов, разрешенных «Основами», в отличие от положения о судоустройстве 1938 г., отметим следующие: 1) В верховных судах союзных республик, по примеру верховного суда СССР, учреждаются «пленумы», отдаленно напоминающие соединенные собрания департаментов старого сената; сделано это для усиления руководства работой местных судебных органов со стороны республиканских центров. 2) Народные суды перестают быть участковыми: впредь будет один народный суд, хотя бы и состоящий из нескольких судей, на район или город. По сообщению депутата Зарабяна, вот уже год как эта мера с успехом проводится в Армении. 3) Народные

судьи будут впредь избираться не на три года, а на пять лет, а народные заседатели — на два года вместо трех; эти последние будут избираться на общих собраниях рабочих, служащих и крестьян, т. е. так, как до сталинской конституции избирались депутаты в местные советы.

Закон о военных трибуналах повторяет действующее право. По словам Расулова, представителя комиссии законодательных предположений Совета Народов (т. е. верхней палаты Верховного Совета), в отличие от действующего права на военную коллегию Верховного Суда СССР распространено руководство его пленума; однако, в законе это прямо не выражено.

Последний из подлежащих рассмотрению законов — это «Основы уголовного судопроизводства», в которых, через посредство уголовно-процессуального кодекса 1923 г., слышатся отзвуки устава уголовного судопроизводства 1864 г. В частности, основные принципы процесса — гласность, устность, непосредственность, непрерывность, равноправие сторон — в «Основах» провозглашены так же отчетливо, как в кодексе 1923 г. Это не помешало советским судам стать какой-то злой карикатурой на правосудие; вероятно, не помешает и сейчас, как не помешала сталинская четырехххвостка тому, чтобы образ правления в современной России остался тоталитарно-деспотическим.

Что же нового дают «Основы» в сравнении с уголовно-процессуальным кодексом 1923 г.? Главные отличия таковы. Во-первых, настойчиво, как бы в порядке отталкивания от недавнего прошлого, подчеркивается, что наложение уголовных наказаний является монопольным правом суда. Ст. 7 гласит: «Правосудие по уголовным делам осуществляется только судом. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию иначе, как по приговору суда». Есть однако в «Основах» статья, которая сразу возбуждает сомнения; это ст. 28, согласно коей по особо опасным государственным преступлениям следствие может быть проведено следователями органов государственной безопасности, преемниками следователей Чеки. Кто знает, во что выльется сотрудничество нынешних чекистов с реформируемыми судебными учреждениями, и не будут ли последние просто штемпелевать проекты приговоров, заранее составленные в органах безопасности? С другой стороны, один из участников прений в Верховном Совете заявил, что, конечно, и впредь будут дей-

ствовать товарищеские и иные общественные суды. Пусть наказания, ими налагаемые, не будут считаться уголовными. Дело конечно не в ярлыках, а в сущности принимаемых мер.

Во-вторых, судейская независимость, утверждаемая и действующим правом, заново подчеркивается «Основами». Согласно ст. 10, суды разрешают дела на основании закона, в соответствии с социалистическим правосознанием и в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей. Однако, слова «в соответствии с социалистическим правосознанием» наводят на размышления. На практике это правосознание равносильно партийным директивам. Недаром верховный суд СССР 28-го июля 1950 г. обратил внимание судей на то, что на них возлагается ответственность за политическое содержание приговоров.

В-третьих, «Основами» разрешается в благоприятную сторону контроверза о презумпции невиновности обвиняемого. Сущность ее заключалась в следующем. В 1945 г. проф. Строгович одобрительно высказался об англо-американском праве, которое целиком эту презумпцию признает. Его тотчас обвинили в низкопоклонстве перед Западом, при чем некоторые критики заявили, что в действительности там эта презумпция только провозглашается, но не осуществляется, тогда как она полностью проводится в советской практике; а другие стали доказывать, что в советском государстве этой презумпции быть не может: раз человека обвиняет советский прокурор, то презумпция за то, что он виновен! «Основы» презумпцию невиновности прямо провозглашают: согласно ст. 43, обвинительный приговор постановляется лишь при условии, если в ходе судебного заседания виновность подсудимого доказана; а по ст. 14, суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, не вправе перелагать обязанность доказывания на подсудимого.

Далее, внесено изменение в порядок предания суду, в сущности упраздняющее эту стадию процесса. По действующему праву, предание суду по всем делам производится в распорядительном заседании. По «Основам», по общему правилу, народный судья будет решать вопрос единолично, обращая дело на рассмотрение распорядительного заседания только, если есть основания сомневаться в правильности и полноте произведенного следствия, или если судья не соглашается с выводами обвинительного заключения, или если необходимо изменить меру пресечения.

По двум вопросам, усердно обсуждавшимся советскими юристами за последние годы, «Основы» не произвели ожидавшихся изменений. Согласно ст. 22 «Основ», защитник допускается к участию в деле с момента объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявления ему всего производства. Так было и по действующему праву. Странным образом, как докладчик Расулин, так и депутат Горкин заявили, что по проекту, ставшему законом 25-го декабря, участие защиты допущено на предварительном следствии. Одно из двух — или вышеназванные товарищи не прочитали текста, по поводу которого они ораторствовали, или текст был изменен в последнюю минуту, без ведома Верховного Совета.

С другой стороны, следователь остался, как был, в полном подчинении прокурора. Правда, по данному вопросу «Основы» противоречат сами себе. Согласно ст. 30, все решения следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора. Но по ст. 31 указания прокурора обязательны для следователя. А по ст. 30 (ч. 2), в случае несогласия следователя с указаниями прокурора по определенным поводам, он может представить дело вышестоящему прокурору, который или отменяет указания нижестоящего прокурора, или поручает производство следствия по этому делу другому следователю. Ясно, что следователь находится в полном подчинении у прокурора, на которого он может жаловаться его начальнику; иными словами, следователь составляет низшее звено в бюрократическом аппарате прокуратуры; никакой самостоятельности на деле у него нет.

Совокупность этих реформ, единым взмахом произведенных в советском уголовном правосудии 25-го декабря 1958 г., несомненно свидетельствует о желании власть имущих несколько смягчить произвольный и террористический характер режима. В известных случаях, вероятно, почувствуется некоторое облегчение. Но существенной перемены в личной и общественной жизни эти реформы принести не могут.

Н. С. Тимашев

Е. Д. КУСКОВА

(1869 — 1958)

То, что мне хочется сказать о Екатерине Дмитриевне, будет иметь в значительной мере личный характер. Так же было и с большинством тех, что до сих пор о ней писали. Возможно, что это неизбежно. Для имевших счастье знать Екатерину Дмитриевну пока еще трудно отнестись к ней «объективно», с «исторической точки зрения»: слишком еще свежо острое ощущение понесенной нами личной потери. Но может быть не в этом только дело. Может быть было что-то и в самой Екатерине Дмитриевне, что делает такой подход к ней естественным и закономерным. В ней действительно очень трудно отделить частное от общего, личное от общественного. Соединение того и другого было характерно для всей ее общественной и политической деятельности — и притом часто с акцентом на личное. Этим я конечно не хочу сказать, что она руководилась своекорыстными личными мотивами или личными предубеждениями. Я имею в виду нечто совершенно другое — ее способность видеть за общественно-политическим «лесом» составляющие его живые «деревья», вносить в политику столь сильно в ней развитый интерес к людям, внимание к отдельной человеческой личности, и этим политику очеловечивать. То же можно сказать и про ее публицистику. Она тоже часто имела очень личный характер — и по содержанию и по форме. Как часто ее статьи исходили либо из лично ею пережитого опыта, либо из вычитанных ею в советских газетах, иногда очень мелких, бытовых подробностей, говоривших ей о том, как живут сейчас в России отдельные люди. И в каком непринужденном, разговорном, личном тоне излагала она свои наблюдения и размышления!

В этом было ее своеобразие и я сказал бы — ее сила. Но очевидно это же вело и к тому, что до значительной части читателей шарм ее своеобразия не доходил, а ее непринужденная литературная манера их раздражала, скорее чем привлекала. Я много раз думал о том, что в литературе можно найти мало примеров такого несоответствия между подлин-

ным человеческим обликом писателя и тем представлением о нем, какое составляли себе многие из его читателей, как это было в случае Е. Д. Кусковой. Все мы помним многочисленные на нее нападки в эмигрантской прессе — в разные времена и по разным поводам. К сожалению, как у нас водится, дело не всегда ограничивалось критикой ее взглядов, а довольно часто сопровождалось заподазриванием ее мотивов и моральным ее осуждением. Когда-то довольно давно, вероятно еще в двадцатых годах, я видел в каком-то советском издании каррикатуру на Е. Д., изображавшую ее в виде светской дамы, с пышной и замысловатой прической и с лорнетом в руках, через который она с брезгливым выражением лица, взирала на окружающую ее действительность. Должен сказать, что в мифическом образе Е. Д., возникшем в сознании некоторых ее эмигрантских оппонентов, было нечто общее с этой каррикатурой и ничего общего с ее оригиналом. Даже полемическое обозначение Е. Д., как «госпожи Кусковой» (как известно в русской публицистике слова «господин» и «госпожа» приобрели почему-то оскорбительный характер) или еще более ядовито — «мадам Кусковой», звучало для лично знавших Е. Д., как нечто совершенно к ней не подходящее. В ней было очень много женского, но абсолютно ничего «дамского».

Ее обвиняли в догматизме в то время, как на самом деле трудно было представить себе человека менее догматического. Ее упрекали за схематизм, тогда как на протяжении всей своей жизни она отталкивалась от отвлеченных схем в попытках почувствовать и познать конкретную реальность.

В ее отношении к советской власти усматривали соглашательство, не ощущая органической для нее невозможности примириться с каким бы то ни было режимом, построенном на насилии и фанатизме.

Но прямо чудовищным для всех знавших Е. Д. звучали обвинения ее в равнодушии к страданиям русского народа. Если бы только ее обвинители знали, как тяжело она эти страдания переживала и как неутомимо старалась облегчить участь хотя бы отдельных жертв большевистской революции! Упомяну только об одном хорошо известном мне случае. Мне пришлось быть посредником между Е. Д. и одним бывшим участником белого движения, ныне уже покойным, который обратился к ней с просьбой помочь ему вызволить из Советской России сына-подростка, оставшегося на руках у престарелой бабушки (мать его была расстреляна как заложница). Я знаю сколько сил и времени было затрачено Е. Д. прежде чем ей удалось исполнить

просьбу этого лично ей неизвестного и политически несозвучного человека. Но ведь это только один случай, который надо умножить я не знаю во сколько раз, чтобы получить представление об объеме этой, проходившей совершенно незаметно, гуманитарной работы Екатерины Дмитриевны.

Я написал о «гуманитарной работе» Е. Д. и сейчас же подумал, что в применении к ней эти слова звучат слишком формально. То, что она в этой области делала, вытекало не из каких-либо отвлеченных принципов, а из ее ненасытного интереса и неоскудевающего сочувствия к людям. Не знаю, встречал ли я в своей жизни другого столь же о б щ и т е л ь н о г о, в лучшем смысле этого слова, человека. При общей одаренности Е. Д., которая всегда бросалась в глаза при встречах с ней, звучала в ее разговорах, чувствовалась в ее писаниях, самым большим ее даром всё-таки был дар общения с людьми. Диапазон ее личных отношений был необычайно широк. Я имею в виду не просто знакомства (людей с многочисленными знакомствами не так уж мало), а отношения более или менее близкого, дружественного характера. Я говорю о числе людей, судьбой которых Е. Д. живо интересовалась, с которыми она поддерживала более или менее постоянный контакт — если не личный, то путем переписки (ее эпистолярное наследство должно быть колоссальным!)

В ответ на этот интерес и это сочувствие люди инстинктивно тянулись к Екатерине Дмитриевне — и кого только среди этих ее «близких знакомых» не было! В области человеческих отношений для Е. Д. не существовало никаких искусственных преград — ни политических, ни социальных, ни расовых, ни национальных, ни религиозных. Своего агностицизма Е. Д. не скрывала, но боевой догматической атеисткой она не была: она понимала психологию верующих людей и относилась к ней с уважением. Приходится еще раз пожалеть о том, что столь многие из ее читателей не могли — хотя бы путем своего рода «духовной телевизии» — увидеть за ее писаниями личность их автора.*

---

* О том, как личное соприкосновение с Е. Д. мгновенно рассеивало сложившиеся насчет нее предубеждения, недавно очень хорошо рассказал Г. А. Андреев в небольшой заметке, посвященной ее памяти. В заметке этой, появившейся в мюнхенском журнале «Свобода» и перепечатанной «Новым Русским Словом», автору удалось дать необыкновенно живой портрет Е. Д.

Только в самом конце ее жизни личный образ Е. Д. стал приоткрываться для широкой читательской аудитории. Это произошло в связи с появлением в печати ее воспоминаний. Сама Е. Д. была несколько удивлена этим сочувственным интересом к ее личности, выразившимся в ряде полученных ею от читателей писем, в которых почти всегда ее просили писать побольше о «личном». Очень жаль, что Е. Д. так поздно начала писать воспоминания. Когда-то, лет семь тому назад, она составила подробный их проект и из него видно, что она успела написать лишь очень небольшую их часть. Тогда она думала о возможности их издания издательством имени Чехова. Но по какому-то недоразумению она вдруг решила, что, предложив этому издательству свои воспоминания, она может затруднить появление в печати двухтомной книги С. Н. Прокоповича о народном хозяйстве Советской России и отказалась от своего намерения. Ее преданность покойному Сергею Николаевичу была беспредельной и столь же велико было ее уважение к его научной работе, ради успеха которой она всегда готова была принести любую жертву.

Надо признать, однако, что отчасти сама Екатерина Дмитриевна была виновата в возникшей вокруг ее писаний атмосфере непонимания, а иногда и враждебности. В какой-то мере этому содействовала ее импрессионистическая литературная манера. Е. Д. почти никогда не излагала своих мыслей в систематической форме, не давала ясного логического обоснования своим положениям. Вместе с тем она часто утверждала их с большой горячностью, чем придавала им излишнюю заостренность и категоричность. Она писала так, как если бы вела разговор с собеседником. Но в живой беседе всегда можно взять назад неосторожно вырвавшееся слово, уточнить свою мысль, внести оказавшиеся нужными оговорки. В печатных произведениях этого к сожалению сделать нельзя — во всяком случае немедленно. Что написано пером — а потом еще и напечатано! — того не вырубишь топором.

Помимо того Е. Д., конечно, бывала и по существу неправа, что неоднократно признавали даже очень ее ценившие люди. Но мне кажется, что ошибки ее всегда были только тактического характера. Могут сказать, что в политической деятельности тактические проблемы имеют первостепенное значение. Я сомневаюсь, однако, можно ли назвать Е. Д. практическим политиком. Недаром она никогда не могла себя прочно связать ни с одной из существовавших в России политических партий. Более того — я рискую утверждать, что в ее «тактических

ошибках» почти всегда можно найти зерно более широкой, так сказать, «над-тактической» истины. Возьмем некоторые из ее утверждений, в разное время вызывавшие более или менее широкий отпор в политических кругах русской эмиграции. Начнем с пресловутого «засыпания рва гражданской войны». Если отвлечься от тех непосредственных тактических выводов, которые Е. Д. в свое время из этого положения делала, то что предосудительного можно найти в самой идее, вложенной в эти слова? Всякая война есть зло и бедствие, а гражданская война есть несомненно худший вид войны. В России гражданская война вспыхнула сразу же после окончания первой мировой войны, и из этого двойного испытания страна вышла разоренной, искалеченной, нуждавшейся прежде всего в передышке, которая дала бы ей возможность хоть несколько оправиться. Нисколько не сомневаюсь, что именно забота о такой передышке, связанная с тревогой о самом существовании русского народа лежала в основе выдвинутого Екатериной Дмитриевной «тактически ошибочного» лозунга. За последние годы особенно много возражений вызывали высказыванья Е. Д. по двум вопросам — об ответственности русского народа за советский режим и о революционных перспективах в России. Позиция Е. Д. в первом из этих вопросов неоднократно воспринималась чуть ли не как отождествление народа с режимом, что конечно было искажением ее точки зрения — вольным или невольным. Многое из того, что она говорила, позволяло, однако, видеть в ней сторонницу известной формулы — «всякий народ заслуживает того правительства, которое он имеет». Но ведь и эта формула становится одиозной только в том случае, если воспринимать ее, как утверждение солидарности народа с режимом. Если же понимать ее в более широком смысле, то в ней конечно есть значительная доля истины. Народ может быть настроен резко отрицательно по отношению к существующему режиму и всё же быть за этот режим и с т о р и ч е с к и ответствен — ответствен за то, что он либо своими ошибочными действиями, либо своим бездействием позволил этому режиму утвердиться, и ответствен за то, что он слишком долго его терпит. Именно так понимаю я позицию Е. Д. в этом вопросе. Возможно, что она недооценивала при этом роковое значение всех особенностей современного тоталитарного режима. Но и тогда за ней останется заслуга настойчивого напоминанья о нашей коллективной ответственности за всё, что случилось с нашей родиной.

Приблизительно так же обстоит дело и с высказываниями

Е. Д. по вопросу о возможности революции в Советской России. Как известно, Е. Д. относилась с большим скептицизмом к наличию «непосредственной революционной ситуации» внутри Советского Союза и с еще большим скептицизмом — к попыткам вести революционную борьбу с советской властью из-за границы. Возможно, что и в этом случае она иногда высказывалась с излишней остротой и категоричностью, но даже ее преувеличения служили полезным коррективом к мало на чем основанному и потому фактически безответственному «революционному оптимизму», присущему некоторым кругам нашей эмиграции. В позиции Е. Д. сказался не только ее здравый смысл, но и вынесенное из всего ее жизненного опыта отрицательное отношение к «революционному романтизму», к идее революции, как панацеи, способной излечить все болезни народного и государственного организма. Меньше всего была Е. Д. готова принять внешне эффектную, но внутренно бессодержательную бакунинскую формулу о «страсти разрушения», которая будто бы есть в то же время и «страсть созидательная». Последняя в Екатерине Дмитриевне была очень сильна, страсть же разрушительная оставалась ей предельно чуждой.

В начале прошлого года Екатерина Дмитриевна перенесла тяжелую и длительную болезнь, заставившую ее друзей опасаться за ее жизнь. У нее было воспаление обоих легких и она пролежала в постели около двух месяцев. Но так велик еще был запас ее жизненных сил и так еще она была крепка духом, что ей удалось преодолеть этот кризис и на время вернуться к своим занятиям и к литературной работе. Даже, когда она еще лежала в постели, измученная и ослабленная долгим недомоганием, она сохраняла свой интерес к жизни и потребность в общении с людьми. Ее друзья получали от нее в это время написанные явно дрожавшей рукой небольшие записочки, в которых, несмотря на их вынужденную краткость, она умудрялась делиться с ними своими мыслями о международных событиях или впечатлениями от прочтенных ею книг. Одна из этих записок в особенности меня поразила. В ней Екатерина Дмитриевна высказывала свое негодование по поводу появления в печати интимных писем З. Н. Гиппиус, как ей казалось бросавших тень на память «бедной Зинаиды Николаевны», и выражала сожаление, что слабость не позволяет ей выступить с протестом по этому поводу. При этом

надо принять во внимание, что Е. Д. не только никогда не была близка с З. Н. Гиппиус, но политически и литературно была с ней скорее во враждебных отношениях. В этом эпизоде для меня отразились все те свойства души Екатерины Дмитриевны, которые делали ее таким необыкновенно привлекательным человеком. В сочетании с ее умом и талантом эти же свойства сделали ее одним из наиболее примечательных и своеобразных явлений в истории русской общественной культуры.

М. Карпович

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Н. МУРОМЦЕВА-БУНИНА. ЖИЗНЬ БУНИНА. 1870-1906. Париж 1958.

Этот труд Веры Николаевны Буниной прочтется с большим интересом всяким любящим русскую литературу и особенно теми кому дорого творчество И. А. Бунина. В. Н. проделала большую работу, как для будущих исследователей творчества Бунина, так и для будущих его биографов. В своем предисловии автор предупреждает: «я не могу назвать эту книгу биографией, я рассказываю жизнь Бунина, как ее знаю». Но именно в этом — в непосредственности рассказа — и есть ценность книги. «Жизнь Бунина» хорошо написана. К тому же, в ней впервые опубликованы заметки и дневниковые записи И. А. детских и юношеских лет.

Для бунинистов эта книга представит большой интерес и тем, что в ней много «параллельного» материала, комментирующего произведения И. А., и особенно его «Жизнь Арсеньева». «Некоторые критики, — пишет В. Н., — к большому возмущению Ивана Алексеевича (он выступал даже по этому поводу в печати) называли и называют его роман «Жизнь Арсеньева» автобиографией». Оспаривает это и В. Н., давая интересные указания, как был деформирован художником материал подлинно пережитого в детстве, юности и в зрелые годы.

Хорошо описана В. Н. жизнь мелкопоместной, бедной дворянской семьи Буниных в их деревне, и в ней — маленький Ваня. Прекрасно показана буйная, бесшабашная и трагическая фигура отца, страдавшего запоем, и доведшего всю семью до нищеты. Интересно свидетельство В. Н., что Бунин до последних дней своей жизни «вспоминал отца с несказанной любовью, восхищался его образным языком, считал, что он унаследовал от него свой художественный талант, повторял часто его слова: 'Всё в жизни проходит и не стоит слёз'...». Сам Бунин (в этой книге) об отце говорит так: «Я многое кровно унаследовал от отца, например, говорить и поступать с полной искренностью, в том или ином случае не считаясь с последствиями, нередко вызывая этим злобу, ненависть к себе. Это от отца. Он нередко говорил с презреньем к кому-то, утверждая свое право высказывать мнения... идущие враз-

рез с общепринятыми: 'Я не червонец, чтобы всем нравиться!' — Он ненавидел всякую ложь и особенно корыстную, прибыльную; говорил брезгливо: 'Лгут только лакеи!'». Всё, что в книге рассказано об отце писателя, ярко. В частности, беспутный отец был виноват в том, что всё образование И. А. окончилось тремя классами гимназии. В. Н. пишет: «Отец думал: 'Зачем ему амаликитяне?' А во хмелю кричал на сына — 'Недоросль!' — а позже — 'Неслужащий дворянин!'». Но в сердце и в стихах Бунина остался другой отец, тот, который, сильно выпивши, брал гитару и пел песни, то протяжно-укоризненно, то с печальной удалью — «Что ты замолк и сидишь одиноко — Дума лежит на угрюмом челе?».

Хорошо дан образ и другого человека оказавшего на юного Бунина сильное влияние, но уже иного, духовного порядка. Это — старший брат Юлий, математик с высшим образованием, позднее учившийся и на юридическом факультете, революционер-народоволец. Запоминаются и другие люди, окружавшие в детстве и юности Бунина: его учитель Ромашков, человек с большими странностями, мещанин Бякин, у которого маленьким гимназистом Бунин жил на квартире, родственники Пушешниковы, первая отроческая любовь Бунина — Эмилия, с которой он неожиданно встретился будучи уже в эмиграции, на своем литературном вечере и которую, как пишет В. Н., «вспоминал незадолго до смерти».

Интересно всё о начальных литературных шагах Бунина, о появлении его первого стихотворения в журнале «Родина» и о первом в жизни Бунина отзыве о его поэзии. Отзыв этот был — их кучера, везшего с почты журнал и по дороге прочитавшего стихотворение Бунина. Отзыв был положительный. Для меня было ново узнать о самом раннем сборнике стихов Бунина, вышедшем в издании газеты «Орловский Вестник» «за 100 рублей в количестве 500 экземпляров». В. Н. пишет: — «и как потом всю жизнь до самой смерти сокрушался он о своем поступке; многое бы дал, чтобы эта книжка сгинула с лица земли».

Рассказано в книге о неудачной, трагической любви Бунина к В. В. Пащенко, в которой многие видели Лику, героиню «Жизни Арсеньева». Хорошо знавшая Пащенко, В. Н. опровергает это и приводит запись самого Бунина: «Лика вся выдумана». Другая любовь Бунина (и тоже неудачная) — к гречанке Цакни. На ней Бунин женился, но они быстро разошлись. От Цакни у Бунина был любимый сын, умерший в раннем детстве.

Вторая часть книги В. Н. описывает жизнь Бунина в Москве и Петербурге, когда он стал уже признанным писателем. Тут, конечно, много уже известного материала. Но всё же в рассказе В. Н. много новых деталей и по новому освещенных событий. Говорит

В. Н. об известных телешевских «Средах». Много о Куприне, сначала бедном, которому Бунин достает в газете аванс для того, чтоб купить башмаки, а после — богатом и знаменитом. Хороша глава, посвященная знакомству Бунина с Чеховым и дальнейшему их общению.

Заканчивается «Жизнь Бунина» моментом встречи Веры Николаевны Муромцевой с И. А. Буниным. Они встретились, пишет В. Н., у В. А. и Б. К. Зайцевых 4 ноября 1906 г. Это было началом долгой любви. «Прожила, — пишет В. Н., — сорок шесть с половиной лет с человеком ни на кого не похожим, что меня особенно пленило». В следующей книге В. Н., готовящейся к изданию, будут напечатаны ее воспоминания об И. А. за всё время их совместной жизни с 1906 г. по 1952 г. Хочется пожелать В. Н. поскорее выпустить эту новую работу, которая несомненно будет большим вкладом в литературу об И. А. Бунине.

Роман Гуль

М. АЛДАНОВ. САМОУБИЙСТВО. Издание Литературного Фонда. Нью Йорк, 1958. Printed by Rausen Bros.

Этот — последний — роман М. А. Алданова несомненно связан с той своего рода исторической эпопеей, которая состоит из ряда его предыдущих произведений, в совокупности своей покрывающих период от второй половины восемнадцатого века до нашего времени. В «Самоубийстве» можно найти все отличительные черты этих более ранних произведений: сплетение исторических судеб с личными, появление исторических персонажей наряду с вымышленными человеческими образами, частое перенесение действия из России в Западную Европу и обратно и, наконец, наличие некоторого историко-философского комментария, либо вложенного в уста того или другого действующего лица, либо исходящего непосредственно от автора.

Хронологически «Самоубийство» является промежуточным звеном между «Истоками» и «Ключем». В историческом аспекте это самоубийство «старой Европы», Европы девятнадцатого века, кончившейся в 1914 г. Самоубийством для этой Европы была первая мировая война. М. А. Алданов делает совершенно ясным, что никакой «закономерности», никакой абсолютной неизбежности он за этой войной не признает. «Еще за год до войны, — пишет он, — ее по-настоящему никто, кроме полоумных, не хотел — и все к ней бессознательно мир подталкивали, совершенно не подозревая о том, на кого в действительности работают». «Все» — это в первую очередь правители европейских государств и их дипломаты. С явного одоб-

рения автора одно из действующих лиц романа, молодой русский дипломат Тонышев говорит: «Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну... Наша единая задача ,даже наше ремесло, в том, чтобы предотвращать войны». Но наперекор этой единой задаче дипломатии действовала «злосчастная идея престижа, наделавшая столько бед человечеству» (здесь уже автор говорит от себя). В результате погибла старая Европа, при всех своих недостатках «всё же гораздо лучшая чем та, что пришла ей на смену».

Помимо этого коллективного самоубийства в романе есть и самоубийства личные — Саввы Морозова и, среди неисторических действующих лиц романа, супругов Ласточкиных. Из исторических лиц главным, конечно, является Ленин. Роман начинается с его появления на Брюссельском съезде 1903 года и кончается его смертью. При всём том Ленин отнюдь не доминирует над романом — особенно в первой его половине. С правильным историческим чутьем и с большим художественным тактом М. А. Алданов не позволяет фигуре Ленина занимать слишком много места на авансцене пока речь идет о том времени, когда еще никто и предвидеть не мог его будущей роли и значения. В своем предисловии к посмертному изданию романа Г. В. Адамович говорит, что М. А. Алданов признавал за Лениным «острую политическую прозорливость» и «редчайшее сочетание ума и воли в какой-то идеальной дозировке». Но может быть с этим следует сопоставить то, что автор «Самоубийства» говорит от себя, комментируя октябрьский переворот: «Ленин очень кратко сказал: 'революция есть искусство'... Если тут и есть некоторая правда, то во всяком случае это искусство элементарное». И дальше: «Можно сказать, и сто раз говорилось, что Ленин гениально прозрел путь, по которому, в силу своих законов, пойдет история (почему-то прозрел в отношении России и совершенно не прозрел в отношении западного мира). Но нет ничего обманчивее ученых слов, особенно пышных».

Кроме Ленина и Саввы Морозова из исторических лиц на страницах романа появляются еще Муссолини, Эйнштейн («редкий пример ограниченной гениальности»), Витте (один из немногих, понимавших всю опасность общеевропейской войны), Франц-Иосиф, Берхтольд и Вильгельм II. Особенно запоминается превосходно написанный портрет Франц-Иосифа. Из отдельных событий особое внимание уделено знаменитой тифлисской экспроприации, произведенной под руководством Сталина. Событию этому автор уделил больше половины четвертой части романа, и оно изображено им очень ярко, во всех его драматических подробностях.

Здесь я чувствую потребность сделать небольшое отступление, за которое, надеюсь, читатели на меня не посетуют. Рассказывая о

том, как после экспроприации похищенные деньги временно хранились в квартире заведующего обсерваторией, М. А. Алданов замечает: «Очевидно, заведующий обсерваторией сочувствовал экспроприаторам. Впрочем мог, хотя это маловероятно, и не знать, что́ находится в новом тюфяке его дивана». Директор тифлисской обсерватории С. В. Гласко-Гласек был близкий друг моего отца, и я его хорошо знал. Это был человек большой культуры и высоких душевных качеств. Могу поручиться, что экспроприаторам он никоим образом сочувствовать не мог. Совершенно несомненно, что всё было сделано без его ведома. Мне не хотелось бы, чтобы на его памяти оставалась хотя бы тень подозрения.

Среди неисторических персонажей романа главное место занимают супруги Ласточкины. Прав Г. В. Адамович, называющий их трагический конец «центральным, важнейшим эпизодом в книге». Я бы добавил, что мало к кому из своих героев М. А. Алданов проявил такое сочувственное, я бы сказал даже — любовное внимание. Никакой идеализации этой супружеской пары в романе нет: автор, с присущей ему зоркостью, отлично видит все их слабости и недостатки. И тем не менее на протяжении романа они неизменно вызывают симпатию со стороны читателя, и тем острее воспринимает он их гибель. Посвященные им страницы принадлежат к числу лучших, написанных Алдановым. Трудно воздержаться от искушения придать этой гибели символическое значение — увидеть в ней гибель всего того общественного и культурного слоя, к которому принадлежали Ласточкины. Если это так, то особое значение получают размышления Ласточкина об ответственности за общерусскую катастрофу. Он признает, что у людей его круга были ошибки, была своя фальшь, но всё же «большого, основного заблуждения» в своем духовном наследстве не находит. Напротив, «основная наша ценность — свобода — никак не была ценностью фальшивой. И уж от нее-то я не откажусь никогда... Настала катастрофа, нам больше как будто не на что надеяться, и всё же я думаю, что наше поколение было *только* несчастно».

Думаю, что «Самоубийство» можно назвать одной из лучших вещей Алданова. Не всё в этом романе равноценно (Люда и Джамбул, например, не очень убедительны как члены большевистской партии), но от начала до конца роман читается с неослабевающим интересом. Надо надеяться, что книга эта получит в русской эмигрантской читательской среде широкое распространение. Она заслуживает этого и по своим высоким внутренним достоинствам, и потому, что весь доход с ее продажи поступает в пользу Литературного Фонда. Это последнее обстоятельство позволяет мне заключить свою рецен-

зию напоминанием, что книгу можно приобрести, обратившись в книжный магазин «Нового Русского Слова», 243 West 56th Street, Нью Йорк, 1958.

М. Карпович

THE WAIST-HIGH CULTURE by THOMAS GRIFFITH. — Harper. New York. 1959. Pp. 275. — $4.00

«Культура-недоросль» — книга, только что вышедшая под этим вычурным названием, заслуживает внимания как по своему содержанию, так и по тому, как она написана и кем. Ее автор — Томас Гриффит, сравнительно молодой человек, сорока трех лет, сделавший головокружительную карьеру журналиста. Необеспеченный и заброшенный отцом-вдовцом, он выбился всё же в люди: получил среднее и высшее образование и избрал журнализм своей профессией. Начал он с полицейского репортажа в провинциальном Сиаттле. Но уже через семь лет попал в редакцию нью-йоркского еженедельника «Тайм», где через два года вошел в состав так называемых старших редакторов: первые годы он заведовал в «Тайм» отделом внутренней политики США, а последние восемь лет — иностранным отделом. Содержание книги — Соединенные Штаты Америки, их прошлое и настоящее: пресса, суд, конгресс, партии и политика (внутренняя и внешняя), культура, наука, искусство, нравы. Но автор не только рассказывает, но и оценивает, защищает дорогую ему Америку или критикует, осуждает ее.

Самокритика дана путем общих рассуждений и на основании личных наблюдений и сравнения американской жизни с не-американской — в Европе и Азии. Автор побывал в сорока семи штатах Америки и, приблизительно, в тридцати иностранных государствах. Он видел и слышал многое и многих. Перед ним, как одним из старших редакторов «Тайм», были открыты двери, которые для других путешественников, как правило, закрыты. То, что Гриффит знал по наслышке или из книг, он имел возможность проверить.

Книга интересна и по форме — изобилует образами, метафорами, афоризмами. Но главное, чем она привлекает, это — честность автора с собой и читателем. Своей привязанности и чувств к родной стране он не скрывает, — читателю легко внести поправку в этот естественный и законный субъективизм. Но рядом с этим автор не скрывает и не замалчивает отрицательных сторон Америки, не пытается их оправдать, — разве только сопоставляет их с отрицательным в других, более «культурных» странах.

Самое название книги подчеркивает отношение автора. «Я не хотел хвалить того, за что хвалить Америку нельзя... Столь критикуемые американцы нуждаются скорее в справедливости, нежели в милости. Если они виновны, они виновны не в том, в чем их обвиняют... Виновны, но не чертовски (*darn awful*) виновны». Автор осуждает те стороны американской жизни, которые поражают и воображение иностранцев. Он восстает против «однообразия» американского уклада жизни, против постоянных поисков материальной выгоды, против «групп, желающих не изменить мир, но продавать ему», против огромных прожорливых акул, промышленных и торговых, кишащих вокруг острова Манхатэна, против того, что за деньги можно найти оправдание многому; что «за последнее время стало модным не осуждать наши грехи, а отрицать их», — «мы больше не мечтаем, как придется, — мы приемлем; мы не ставим больших вопросов, — мы избегаем их; мы не обвиняем, кого по справедливости следует, мы от этого уклоняемся». «Мы продвигаемся вперед с двойной скоростью звука и с половинной скоростью здравого смысла».

Т. Гриффит ни в какой мере не социалист. Он голосует за кандидатов демократической партии, но ее политику часто не одобряет. Однако, у него «открытый ум», как говорят американцы, у него нет фетишей, и он избегает предвзятости. Политика «*laisser faire*», или свободной игры интересов и не-контролируемой конкуренции, его никак не увлекает. Его «самокритика» может не понравиться американцам, а не-американцам показаться слишком снисходительной и недостаточной. Тем не менее, помимо отвлеченного интереса, эта самокритика имеет и общественно-политическое значение.

Ксенофобия — застарелый и общераспространенный недуг. Люди и народы разнятся лишь в степени и форме своего отталкивания от чужаков — инородцев, иноверцев, людей другого цвета кожи, строения черепа, носа, привычек. Европейцы и азиаты осуждают американцев так же, как последние осуждают их. Кто бы ни был *более* прав или неправ, — правы и неправы те и другие. В этом смысле всякая самокритика, даже неполная, благотворна: свидетельствуя об относительной правоте противной стороны, она способствует прояснению сознания: сказанное своим, а не чужаком, выигрывает в убедительности.

При всех положительных сторонах «Культуры-недоросля», в книге немало дефектов. Она, как говорят американцы, плохо «организована». Не автобиография, не дневник, не история, не социологический очерк, книга вместе с тем и то, и другое, и третье, и четвертое.

Автор хотел дать «образ Америки» и одновременно — «обследовать американский опыт». Он отказывался придать книге научный, академический характер. Она написана импрессионистически. В этом ее слабость, но это же делает ее более занимательной и доступной. Автор сам решительно отказывается от «увещаний», но то и дело сбивается на проповедь и увещания: «нам необходимо», «мы должны», «следовало бы». Метафоры и афоризмы придают изложению яркость, местами даже блеск, но это идет за счет систематичности и убедительности аргументации.

Многое, что автор говорит об американцах, относится не к ним одним, а к современному человеку вообще. Автора нельзя причислить к оптимистам. «Мы не можем полагаться на прогресс столь доверчиво, как это делали раньше». Он предостерегает против «мечтательного оптимизма, этого главного порока демократии», по его словам. Вместе с тем он отмежевывается и от безнадежного пессимизма, выраженного словами Горация: «Отцы наши были гнуснее дедов, нас родили еще более гнусными, а мы произведем еще более вырождающееся потомство». Автор подходит к жизни реалистически, принимает ее со всей ее пестротой — с ужасами и провалами, с красотой и любовью. И всё же укорененное в американцах благодушие (наследство просвещенного 18-го века) дает себя знать, — особенно резко и пагубно в том, что Гриффит говорит о коммунистической диктатуре.

Автор высказывает ряд правильных замечаний. «Мы вовлечены в игру в покер, в которой, мы, как демократия, должны играть со всеми открытыми картами, тогда как русские не должны их показывать полностью». Или — «марксизм может не достичь цели, но тирания достигает». Можно считать правильным и утверждение: «нет оснований для уверенности в том, что лже-научный закон истории может сделать тиранию постоянной». Или — «если русская марксистская диктатура действует удачно как полицеское государство, она еще не показала способности пойти навстречу нуждам народа». Но эти правильные замечания в значительной мере утрачивают силу в общем контексте.

Автор рекомендует «не ожидать какого-либо смягчения или перемены внутреннего отношения кремлевского руководства: мы должны признать, что всякое происходящее в России смягчение есть результат напряжения в системе, которое можно умиротворить или которому можно оказать противодействие, но которое нельзя отрицать». Свои расчеты — или надежды — автор строит на троякого рода основаниях: 1. на борьбе за власть внутри компартии; 2. на новой технической элите, которая знает, что в ней нуждаются, и потому надолго не примирится с лишениями и принуждением, а

сама заставит смягчить систему; и 3. на том, что и коммунисты не разрешили проблемы преемства власти лучше, чем какая-либо иная авторитарная система.

Надо ли подчеркивать, что все эти основания действовали и раньше, а коммунистическая диктатура продолжает не только здравствовать, но и распространяться и торжествовать, несмотря на временные неудачи и местные провалы. Если за полтора поколения указанные Гриффитом факторы не дали желанного результата, почему можно расчитывать, что в новой, гораздо более благоприятной для компартии международной и внутренней обстановке, те же факторы дадут желанный результат?

Борьба за власть в компартии длится все годы, что она владеет государственной властью. Техническая элита сложилась уже в годы НЭП-а. Хозяйственным технократам, выдвинувшимся еще при Сталине, стали приписывать руководящую роль при Маленкове и Булганине. А где эта руководящая «элита» сейчас? Чего она добилась после того, как «манием руки» Хрущев ликвидировал ряд хозяйственных министерств в центре, создал «Совнархозы», а членов элиты разослал «по местам», более или менее отдаленным от центра?

Наконец, — преемство власти. Юридически смена власти не оформлена, но фактически диктатура уже четырежды успешно для себя разрешала эту проблему. После смерти Ленина выход ощупью — или «интуитивно» — нашел Сталин; после смерти Сталина — Берия вкупе с Молотовым и Маленковым; а после убийства Берия и смещения Маленкова — Хрущев сначала с Булганиным, а потом и без него. Можно с нетерпением — и волнением — ждать, как разрешится вопрос о смене власти после Хрущева, но не от отсутствия кандидатов в диктаторы можно ждать упразднения или хотя бы смягчения диктатуры.

Т. Гриффит приводит совет мудрого Конфуция: «Если у вас план на один год, сажайте рис; на десять — сажайте деревья; на столетие — воспитывайте людей». И Гриффит призывает заниматься древонасаждением и перевоспитанием людей. Этот призыв находится в полном согласии и с умозаключением автора: «единственное соревнование, которое должно для нас, как нации, иметь значение, это соревнование не с коммунизмом, а с лучшим, что может быть в нас самих».

И призыв, и умозаключение представляются более чем рискованными — отзвуками, как уже упоминалось, 18-го века. Передовые люди той эпохи, с французскими энциклопедистами во главе, держались мнения, что убеждением и воспитанием можно переродить человечество. Французская революция 1789 г. разбила эти иллюзии

— показала на трагических фактах, что с перевоспитанием людей запоздали, сроки пропущены. В России в том же направлении шла проповедь или, если хотите, учение Льва Толстого. Революция 1905 г. показала, что и России история не отпустила сроков нужных для перевоспитания и мирного переустройства. И сейчас, когда судьбы мира под постоянной угрозой водородной бомбы и баллистического снаряда, заниматься древонасаждением или рассчитывать на результаты перевоспитания, которые могут сказаться через сто лет, — утопия, чреватая последствиями, которые нельзя заранее ни предусмотреть, ни учесть. Надо в спешном порядке сосредоточиться на посадке риса.

Коммунистическая диктатура и русская «загадка» издавна составляют «узкое» — и легко уязвимое — место в сознании иностранцев. И «Культура-недоросль» не является в этом отношении исключением. Это не отнимает у нее указанных выше положительных качеств.

М. Вишняк

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» КНИГА 55-я

Содержание: ПРОЗА: Бор. Зайцев — Разговор с Зинаидой. *Н. Берберова* — Мыслящий тростник. *Л. Ржевский* — Рябиновые четки. *Н. Ульянов* — Солнца свет. *Г. Андреев* — В дни короткого отпуска. *СТИХИ: Георгий Иванов* — Посмертный дневник. *Ирины Одоевцевой, А. Величковского, Ивана Елагина, Д. Кленовского, Вл. Корвин-Пиотровского, Н. Туроверова. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: Роман Гуль* — Победа Пастернака. *М. Коряков* — Термометр России. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Письма М. Горького к Л. Андрееву. А. Седых* — Бальмонт. *А. Алексеев* — В Толстовском доме. *Вяч Новиков* — Мои адвокатские воспоминания. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Ю. Денике* — Политический кризис Франции. *М. Вишняк* — Устои демократии в свете новой французской конституции. *С. Волин* — Смоленские документы. *Д. Шуб* — Бакунин, Нечаев и Ленин. *Г. Аронсон* — Из истории фальсификаций в СССР. *БИБЛИОГРАФИЯ: М. Карпович* — С. Л. Франк. Этюды о Пушкине. *Н. Ульянов* — С. Н. Плаутин. Слово о полку Игореве. *С. Зеньковский* — **Georg von Rauch. A History of Soviet Russia.** *Роман Гуль* — Александр Галин. Израиль. *Петр Ершов* — **V. Zavalishin. Early Soviet Writers.** *Б. Прянишников* — Н. Хохлов. Право на совесть. *П. Шпилевой* — **Soviet Espionage. By D. Dallin.** *Ю. Трубецкой* — С. Прегель. Встреча. — *Книги для отзыва.*

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1943-1958

СТИХИ

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА

к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**

Издание «Нового Журнала» Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» Цена 2 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать
в редакции «Нового Журнала»

В редакции можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 1 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. (10 центов пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1959 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 100 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня